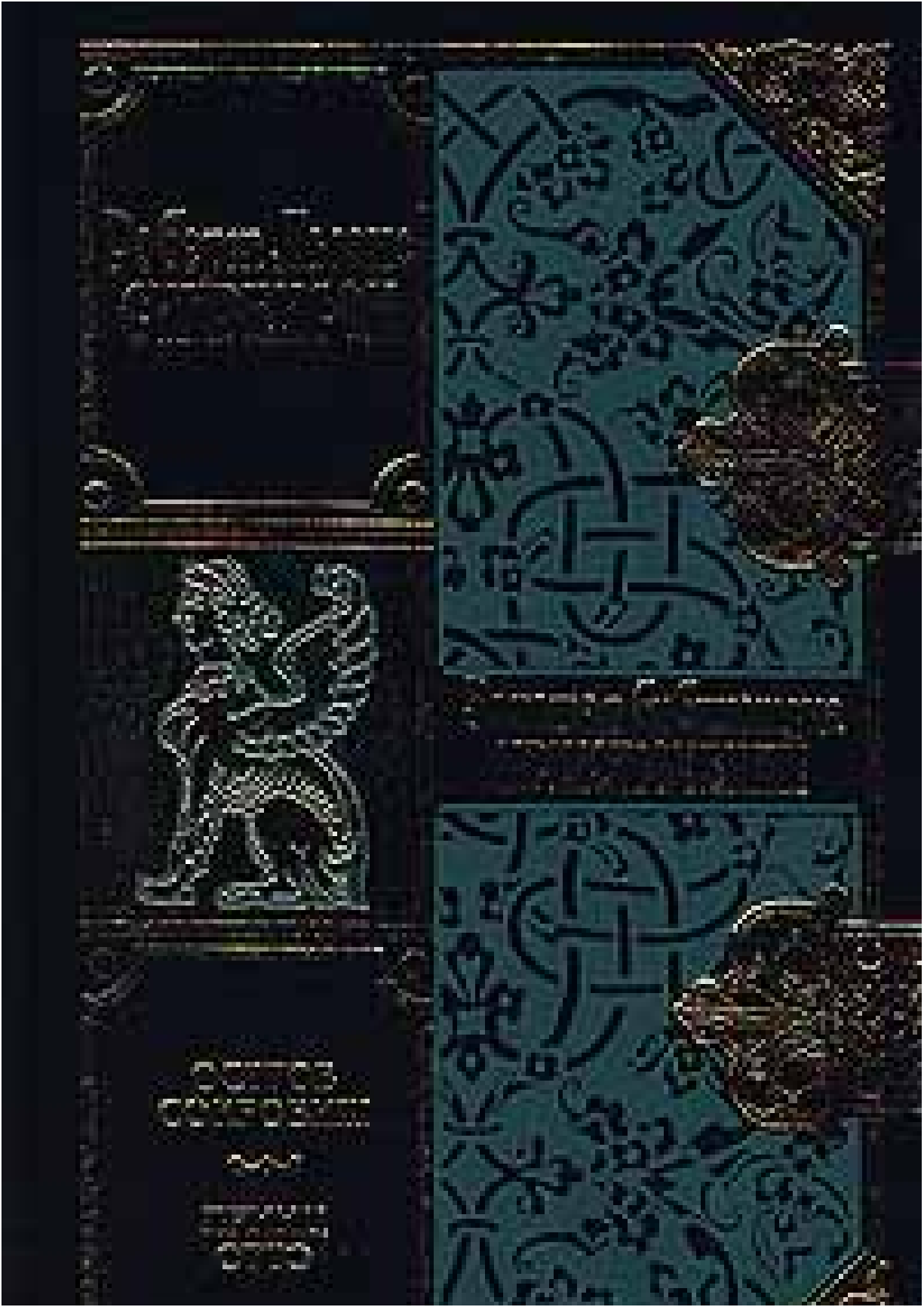


THE
MUSEUM
OF
ART
AND
ARCHITECTURE





Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Роберт Луис Стивенсон

Принц Отто

ЧАСТЬ I

I. В которой принц отправляется искать приключений

Вы напрасно стали бы искать на карте Европы исчезнувшее с лица земли маленькое государство Грюневальд, независимое княжество, минимальнейшую частичку Германской Империи, игравшее в продолжение нескольких столетий свою маленькую роль в раздорах Европейских держав и в конце концов, когда пробил его час, благодаря умствованиям нескольких лысых дипломатов, исчезнувшее бесследно, как ночной призрак поутру. Менее счастливое, чем Польша, оно не оставило по себе ни славы, ни сожалений, и даже сами границы его стерлись и забылись.

Эта была страна холмистая, почти сплошь поросшая густым зеленым лесом. Многие реки брали здесь свое начало. В зеленых долинах Грюневальда они вращали множество мельниц для счастливых жителей этой страны, в которой был всего только один город и множество живописных деревень, селений и деревушек, раскинувшихся повсюду, по долинам и по холмам, сползая по их крутым скатам так, что крыши домов громоздились одна над другими в несколько ярусов. Сообщение между городом Миттвальденом и многочисленными деревушками и селениями поддерживалось с помощью высоких крытых мостов, перекинутых через большие, глубокие и бурливые потоки и реки. Шум водяных мельниц, плеск и рокот стремительно бегущих вод, живительный запах свежих сосновых опилок, тихий шелест и аромат, приносимый на крыльях легкого ветерка, дувшего между рядов бесчисленной армии горных сосен, догорающий костер, разведенный охотниками, глухой стук топоров дровосеков, работающих в лесу, непроездные дороги и свежая форель, только что пойманная в реке на ужин, и этот ужин в пустынной, опрятной, но несколько темной зале деревенской гостиницы, несмолкаемый щебет и пение птиц и тихий вечерний звон колоколов деревенских церквей, — вот те воспоминания, какие увозил

из Грюневальда путешественник, побывавший в этом лесистом уголке Европы.

И к северу, и к востоку холмы Грюневальда разнообразными мягкими скатами и живописными уступами спускались в большую беспредельную, казалось, долину соседних государств: Грюневальд граничил со многими мелкими немецкими княжествами и герцогствами, в том числе и с безвременно угаснувшим великим герцогством Герольштейн. С юга же Грюневальд соприкасался с землями сравнительно сильного и могущественного королевства Приморской Богемии, славившейся своими цветами и горными медведями и населенной народом, отличающимся странной, удивительной простотой и нежностью сердечной. Целый ряд перекрестных браков сблизил и сроднил царствующие роды Грюневальда и Приморской Богемии, и последний принц Грюневальда, историю которого я намереваюсь рассказать в этой книге, происходил от Пердиты, единственной дочери короля Флоризеля I-го Богемского. Эти частые перекрестные браки несомненно смягчили характер, нравы и вкусы грубой мужественной породы первых властителей Грюневальда, и это возбуждало неодобрение всего населения. Горные угольщики, дровосеки, пильщики, обладатели широких топоров и широких ртов, жившие среди темных, могучих сосен грюневальдских лесов, гордившиеся своими жилисто-мозолистыми руками, здоровыми кулаками и мощными плечами, а также и своим грубым невежеством, которое они считали древней мудростью, смотрели с нескрываемым презрением на мягкость характера, на деликатную сдержанность и ласковость обхождения представителей их царствующего рода и питали затаенное озлобление против своих государей.

В каком именно году христианской эры начинается наш рассказ, я предоставляю догадаться читателю; что же касается времени года, что в данном рассказе является несравненно более важным, чем точность даты, то я скажу, что весна шагнула уже так далеко вперед, что горные жители Грюневальда, слыша с раннего утра и до поздней ночи звуки охотничьих рогов в северо-западной части княжества, говорили:

— Верно, сегодня принц Отто и его охота выехали в последний раз в поле до наступления осени.

На северо-западной границе Грюневальда горы и холмы круто обрывались в долину и местами представляли собой совершенно неприступные скалы и утесы. Эта дикая местность являлась резкой противоположностью с прекрасной, тщательно обработанной равниной, лежащей у подножия этих гор. В ту пору в этой местности пролегали всего две дороги; одна из них — имперский тракт, полого спускавшийся по самым отлогим скатам, идущий прямо на Бранденау в Герольштейн, другая, пролежавшая по самому гребню гор, извивавшаяся между скал, спускавшаяся местами в глубокие ущелья и овраги, местами вся мокрая от брызг бесчисленных мелких водопадов и то тут, то там пересекающих ее ручьев. Эта дорога вела мимо большой старинной башни или замка, стоящего высоко на горе, на самом краю высокого скалистого утеса, с которого открывался обширный вид на всю пограничную линию Грюневальдских владений и на кипящую трудовой жизнью равнину Герольштейна. Фельзенбург, так звался этот замок или башня, временами служил тюрьмой и местом заточения, а временами мирным охотничьим замком. Несмотря на то, что он стоял так уединенно среди диких неприступных скал, затерянные в глуши бюргеры Бранденау со своей обсаженной липами террасы, куда они выходили гулять по вечерам, могли с помощью небольшой подзорной трубы счесть окна в этом замке.

В той части лесистых холмов Грюневальда, которая врезалась клином между двух дорог, весь день не переставая трубили рога, слышался лай собак и звуки голосов, внося шум и оживление в лесные чащи этих зеленых холмов. Но когда солнце начало клониться к горизонту, торжествующие, радостные крики возвестили о том, что, наконец, охотникам удалось затравить зверя. Спустя некоторое время охотники, стоявшие на номерах первой и второй, удалившись от места сборища, с вершины небольшого пригорка стали внимательно вглядываться вдаль во всех направлениях. Чтобы лучше видеть, они прикрывали глаза рукой, защищая их от солнца, которое теперь опустилось уж совсем низко и светило им прямо в лицо. Впрочем, на этот раз величественный закат дневного светила казался более бледным сквозь частую сетку ветвей еще обнаженных, не одевшихся листвой тополей, и сквозь облака дыма, медленно струившегося из печных труб жилых домов, в которых теперь всюду готовили ужин, и сквозь прозрачную дымку вечерних паров, подымавшихся от полей. И

на фоне этой прозрачной дымки и бледного заката крылья ветряной мельницы, стоящей на вершине одного из холмов, двигались бесшумно и лениво, как сквозь сон, точно длинные уши мула или осла. Тут же подле мельницы, точно шрам по лицу зеленых холмов, тянулась прямая, как струна, широкая проезжая дорога прямо в направлении низко опустившегося солнца.

Есть в природе еще одна, многим людям знакомая песня, которую они еще до сих пор не переложили на свою музыку, — это песнь, манящая человека странствовать по свету, песнь, так властно звучащая в душе цыган и некогда громко звавшая наших отдаленных предков вечно кочевать и искать новые страны. В этот момент и в это время дня, и в это время года весь окрестный пейзаж и все в природе трогательно сливалось в один общий призывный аккорд. Высоко в воздухе плавно неслись на север и на запад стаи перелетных птиц; они пролетали над Грюневальдом целыми роями черных точек, едва уловимых для глаза там, в вышине, а тут внизу туда же в неизвестную, беспредельную даль бежала и широкая, ровная, бесконечная, как казалось, дорога.

Но двум всадникам, остановившимся на вершине пригорка, эта песня была не слышна; может быть, потому, что оба они были чем-то, видимо, сильно озабочены. Они внимательно вглядывались в каждую ложбинку между холмов, в каждую просеку или прогалину в лесной чаще, и при этом их лица и движения выражали не то гнев, не то досаду и нетерпение.

— Воля твоя, но я нигде его не вижу, Куно! — сказал первый охотник. — Он даже следа не оставил; ну хоть бы волос из хвоста его белой кобылы!.. Как видно, выждал удобную минутку, да и утек!.. А теперь ищи ветра в поле! Его теперь с собаками не сыщешь!..

— Может быть, он домой уехал, — заметил Куно, но в его тоне не было уверенности.

— Домой! — воскликнул первый охотник. — Полно! Можешь благодарить Бога, если он через двенадцать суток домой вернется! Нет, брат, раз уж это у него началось, так уж верно то же самое будет, что три года тому назад, перед его женитьбой. Запропадет Бог весть куда, с собаками не найдешь, словно цыган какой: позор, да и только! И это прирожденный принц! Прирожденный самодур какой-то, прости Господи!.. Глянь, вон оно, наше правительство-то! Мчится на своем

белом коне прямо через границу!.. Впрочем, нет, я, кажется, ошибся!.. Да все равно, только тебе мое слово, что я дал бы больше за английскую гончую, или хорошего полукровка мерина, чем за твоего принца Отто!

— Да он вовсе не мой Отто, — пробурчал Куно.

— Если так, то я, право, не знаю, чей он! — возразил насмешливо собеседник.

— Полно, ты положил бы за него руку в огонь, — сказал Куно.

— Я?! — воскликнул первый охотник. — Я желал бы увидеть его на виселице! Я грюневальдский патриот, я числюсь в рядах территориальной армии и имею медаль, и чтобы я встал на защиту Отто! Никогда! Я стою за свободу.

— Да, да... это мы знаем, — сказал Куно. — Но скажи при тебе кто-нибудь другой то, что ты сейчас сказал, ты бы упился его кровью — и ты это отлично знаешь.

— У тебя все только он на уме, — огрызнулся собеседник. — Да вон он скачет! Смотри!

Действительно, на расстоянии мили от холма спускался под гору всадник на белом коне. Он быстро проскакал по открытому месту и минуту спустя скрылся из вида в густой чаще по другую сторону оврага.

— Через четверть часа он будет по ту сторону границы, в Герольштейне, — сказал Куно... — Как видно, он неизлечим!

— Но если он загонит эту кобылу, я ему этого никогда не прощу! — сердито заявил первый охотник, подбирая поводья.

В тот момент, когда они оба повернули своих коней и стали спускаться с пригорка с тем, чтобы присоединиться к остальным товарищам-охотникам, солнце окончательно скрылось за горизонтом и леса мгновенно как бы потонули в серой мгле наступающей ночи.

II. В которой принц разыгрывает Гаруна-аль-Рашида

Ночь окутала своей мглой леса и застигла принца в то время, как он пробирался по поросшим травой тропинкам той части леса, что раскинулась в долине. Хотя звезды одна за другой зажигались у него над головой, и при их трепетном свете стали ясно видны бесконечные ряды верхушек высоких сосен, ровных и темных, как могильные кипарисы, слабый свет мигающих звезд не мог принести большой пользы запоздалому путнику в густой чаще леса, и принц поскакал вперед наугад. Мрачная красота окружающей его природы, неизвестный исход его пути, открытое звездное небо над головой и свежий лесной воздух восхищали и веселили его как вино; а глухой плеск реки влево от него звучал в его ушах, как тихая мелодия.

Было уже больше восьми часов вечера, когда старания его выбиться на дорогу увенчались, наконец, успехом, и он выехал из леса на прямую, белую, большую проезжую дорогу. Дорога впереди спускалась под гору, слегка уклоняясь на восток и как бы светясь между темными чащами кустов и деревьев. Отто придержал коня и стал глядеть на дорогу; она уходила, миля за милей, все дальше и дальше, все такая же белая, ровная и прямая; ее пересекали или к ней подходили еще другие такие же дороги, и так до самого края Европы, где извиваясь по самому берегу моря, где пролегая через залитые светом многолюдные города. И бесчисленная армия пеших и конных путников вечно двигается по ним то в том, то в другом направлении, во всех странах, как будто все они движимы одним общим импульсом, и в данный момент все они, все эти путники, точно по общему уговору, спешат или плетутся к дверям гостиниц и ищут приюта для ночлега. Целые вереницы подобных картин роем зарождались и мгновенно исчезали в его воображении; то был прибой искушения. Кровь прилиwała к голове, и как будто что-то могучее, манящее подымалось в нем, в его груди или в его душе, — он не мог разобраться, — и толкало его всадить шпоры в бока скакуна и нестись вперед, к неизведанному, вперед без оглядки. Минута, и это настроение прошло; голод и усталость давали себя чувствовать, и привычка к полумерам во всех

наших действиях и поступках, эта посрединность во всем, если можно так выразиться, которую мы, обыкновенно, величаем здравым смыслом или рассудительностью, взяли верх, предъявив свои права и в данном случае, и принц не без удовольствия остановил свой взгляд на двух светившихся среди мрака, влево от него, между дорогой и рекой, освещенных окнами какого-то жилья.

Принц свернул на проселок и спустя несколько минут уже стучал рукояткой своего хлыста в дверь большого двухэтажного дома фермера; целый хор свирепо залаявших собачьих голосов был ответом на его стук. Затем в приотворившейся двери показался и вышел на крыльцо очень высокий седовласый старик с зажженной свечой, которую он заслонял от ветра рукой. Видно было, что в свое время он обладал недюжинной силой, и был весьма красивый и видный из себя человек; но теперь он немного сгорбился и вообще подался; зубов у него совершенно не было, а голос его, когда он говорил, часто ломался и звучал фальцетом.

— Простите меня, — сказал Отто, — я путешествую, и места эти мне совсем незнакомы; я заблудился, как видно, потому что сбился в потемках с дороги.

— Вы сейчас у Речной Фермы, сударь, может быть, вы слышали, а ваш слуга покорный, что стоит теперь перед вами, Киллиан Готтесхейм, готов служить вам чем возможно, — степенно проговорил старик своим дрожащим голосом. — Мы здесь находимся в шести милях как от Миттвальдена в Грюневальде, так и от Бранденау в Герольштейне; дорога в обе стороны превосходная, но на всем этом протяжении вы не встретите ни одной корчмы или пивной лавчонки, и вам придется воспользоваться моим гостеприимством на эту ночь. Не могу вам предложить ничего достойного вас, сударь, но то, чем я богат, я предлагаю вам от души, потому что у нас говорят: «Гость в доме, Бог в доме!» — И при этом он почтительно поклонился своему гостю, предлагая ему войти.

— Аминь, — произнес Отто, отвечая на поклон старика, — сердечно благодарю за радушие.

— Фриц, — кликнул старик, обращаясь к кому-то в горнице, — отведи лошадь этого господина в конюшню, а вы, сударь, благоволите войти.

Отто вошел в большую просторную комнату, занимавшую почти весь нижний этаж дома; вероятно, она некогда была разделена на две комнаты, потому что пол одной ее половины значительно возвышался над полом другой половины, так что ярко пылавший в камине огонь и накрытый белой скатертью стол, на котором был приготовлен ужин, находились как бы на эстраде. Кругом по стенам стояли темные дубовые с медными скрепами и скобами шкафы и комоды; темные дубовые полки были уставлены старинной глиняной и фаянсовой посудой; под ними красовались развесистые олени рога, охотничьи ножи и ружья; картины на сюжеты старых баллад в рамках висели тут и там на стенах; высокие часы в ящике, с розами на циферблате, стояли гордо между двух комодов, а в одном из углов заманчиво приютилась на своих дубовых подставках бочка с вином, сияя своими медными обручами. Все в этой большой горнице с низким темным потолком было уютно, красиво, оригинально и до чрезвычайности опрятно.

Рослый, здоровый парень поспешил заняться кровной кобылой гостя, а Отто после того, как старый Готтесхейм познакомил его со своей дочерью Оттилией, также прошел в конюшню взглянуть на свою лошадь, как и подобает, хотя не принцу, но каждому хорошему наезднику. Когда он вернулся обратно, прекрасная дымящаяся яичница и изрядное количество больших ломтей копченой баранины ожидали его; затем последовало вкусное заячье рагу и сыр. Только после того, как гость утолил свой голод, все маленькое общество перешло к камину и расположилось у огня, в приятной компании стакана доброго виноградного вина, изысканно любезный и благовоспитанный хозяин позволил себе, наконец, обратиться с вопросом к своему гостю.

— Вероятно, вы едете издалека, сударь? — спросил он.

— Да, я проехал немало миль сегодня, — сказал Отто, — и, как вы видели, проголодался порядком. Я съел почти все, что было на столе, и, можно сказать, вполне оценил превосходную стряпню вашей дочери.

— Я полагаю, что вы едете из Бранденау? — продолжал старик.

— Да, совершенно верно, — подтвердил Отто, — и если бы я не проблуждал так долго в лесу, я, вероятно, ночевал бы сегодня в Миттвальдене, — добавил он, приплетая клочок истины ко лжи, как это делают почти все лжецы.

— Вы, вероятно, едете по делу в Миттвальден? — последовал новый вопрос.

— Нет, я еду просто из любопытства, — я никогда еще не бывал в княжестве Грюневальд.

— Приятная, сударь, прекрасная страна! — воскликнул старик, одобрительно кивая головой. — Прекрасная природа и превосходная порода и сосен и людей. Мы здесь считаем себя тоже как бы грюневальдцами, потому что живем, так сказать, на самой границе; и вода у нас в реке настоящая грюневальдская, и воздух у нас тоже грюневальдский, лесной. Да, сударь, прекрасная эта страна, доложу вам, и народ какой богатырский! Ведь любой грюневальдец шутя станет вертеть над головой тот топор, который многие герольштейнцы и поднять-то не в силах будут! А леса-то какие! Сосны-то!.. В этом маленьком государстве этих чудесных сосен больше, чем людей на целом белом свете. Уже лет двадцать прошло с тех пор, как я в последний раз был по ту сторону границы, ведь в старости-то все мы становимся домоседами. Но я, как сейчас помню, что на всем протяжении пути отсюда до самого Миттвальдена, куда ни глянь, по обе стороны дороги все сосны да сосны, все лес да лес! А воды-то сколько! Речки и потоки на каждом шагу!.. Мы вот здесь как-то продали небольшой клочок леса, тут у самой дороги, и я, глядя на грудку чеканной монеты, полученной мною за этот лес, мысленно стал прикидывать, сколько можно было бы выручить денег за все сосны Грюневальда, если бы их продать...

— А принца Грюневальдского вы, я полагаю, никогда не видите? — заметил Отто.

— Никогда, — ответил за старика молодой парень, — да мы и не желаем.

— А почему? Разве он до такой степени нелюбим? — спросил Отто.

— Не то, чтобы нелюбим, — сказал старик, — а презираем всеми.

— В самом деле? — с усилием выговорил принц.

— Да, сударь, эта суцая правда, и я добавлю, справедливо презираем! — Ведь ему так много всего дано, а что он со всем этим делает? Охотится, да рядится как кукла, — что для мужчины вовсе даже и не прилично. Еще в комедиях участвует, а если он еще что-нибудь кроме этого делает, — то о том до нас слухи не доходят.

— Но ведь все это в сущности невинные удовольствия, — заметил Отто; — что же вы хотите чтобы он делал? Воевал, что ли?

— Нет, сударь, — возразил старик. — Вот я пятьдесят лет как поселился на этой ферме, и я работал здесь изо дня в день; я пахал и сеял, и собирал, и вставал до света, и ложился темно, и вот, все эти годы ферма эта кормила меня и мою семью и была моим лучшим другом, если не считать мою покойную жену. А теперь, когда мое время прошло, я передам ее другому, в лучшем виде, чем я ее принял. И так всегда бывает, если человек усердно делает свое дело; он зарабатывает себе кусок хлеба, и Господь благословляет его труд, и все, за что он берется, преуспевает. И мне думается, что если бы принц захотел трудиться, сидя на своем троне, как я трудился у себя на ферме, то и он увидел бы преуспевание и благоденствие своей страны и заслужил бы любовь своего народа.

— И я так думаю, — сказал Отто, — но сравнение ваше не совсем правильно, потому, что жизнь фермера простая, натуральная, а жизнь принца всегда искусственная и чрезвычайно сложная. Не трудно поступать хорошо, будучи фермером, но очень трудно не поступать дурно, будучи принцем. Предположим, что ваши всходы побил градом, — вы набожно склоните голову и скажете: такова воля Божья! И всякий вас похвалит за это; но если принца в чем-либо постигнет неудача, то всякий будет порицать его за неудавшуюся попытку. И мне думается, что если бы все государи Европы ограничивались одними безобидными развлечениями, то их подданным от этого жилось бы не хуже, а даже лучше.

— Э, да ведь вы, пожалуй, правы! — воскликнул Фриц. — И я вижу, что вы, как и я, добрый патриот и враг всех принцев.

Подобный вывод несколько изумил Отто, и он постарался перевести разговор на другую тему:

— Вы меня очень удивили тем, что я слышу от вас об этом принце; я слышал о нем лучшие отзывы от других; мне говорили, что он добр и мягок, и справедлив, и что если он делает кому зло, то разве только самому себе.

— Да так оно и есть! — горячо воскликнула девушка. — Он такой красивый, такой приятный принц; и я знаю, что есть такой человек, который готов пролить на него свою последнюю каплю крови!

— Этот глупец и невежда Куно! — фыркнул Фриц.

— Да, конечно, Куно, — сказал старик. — Этот Куно, один из егерей принца, и если это вас интересует, — обратился он к гостю, — я могу рассказать вам эту историю, потому что вы здесь человек чужой и никому об этом передавать не станете. Куно человек грубый, невожатанный и невежественный, словом, настоящий грюневальдец, как мы здесь говорим! Мы его знаем хорошо, потому что он не раз заезжал сюда разыскивать своих собак после охоты, а я, сударь, охотно принимаю у себя всех людей без различия их состояния, положения и национальности. К тому же между Грюневальдом и Герольштейном так давно царит мир, что граница между ними существует лишь на бумаге, на самом же деле путь из одного государства в другое открыт для каждого, как двери моего дома, и люди обращают здесь столько же внимания на эту границу, как те птицы, что летят по небу высоко над землей.

— Да, — сказал Отто, — мир между этими соседями длится уже многие века.

— Именно века, как вы изволили сказать, — подтвердил старик; — вот потому-то было бы еще более обидно, если бы этот мир вдруг оказался нарушен. Но я начал рассказывать о Куно. Этот Куно как-то раз провинился, и Отто, который очень горяч и вспыльчив, схватил хлыст, да и давай его хлестать. Проучил он его порядком. Куно, конечно, терпел сколько мог, но, наконец, его прорвало, и он крикнул принцу, чтобы он бросил хлыст и померился бы с ним силой в рукопашном бою! Мы все здесь страстные борцы, и борьбой мы решаем, обыкновенно, все наши распри. И что же вы думаете, сударь? — Отто его послушался; но так как он тщедушное, изнеженное существо, то где же ему было справиться с этим парнем, и егерь, которого он только что хлестал арапником, как какого-нибудь невольника-негра, сразу перекинул его через голову и заворотил ему салазки!

— Говорят, что Куно сломал ему левую руку, а другие, что он переломил ему нос. Ну и поделом ему! — крикнул Фриц. — Как сошлись они один на один в равном бою, так сразу видно стало, который из них двоих лучше!

— Ну, и что же дальше было? — спросил Отто.

— Куно бережно отнес его домой, и с той поры они стали друзьями. Заметьте, что я отнюдь не говорю, что в этой истории есть

что-нибудь постыдное для принца, но она забавна, а это главное! Только мне кажется, что прежде чем начать бить человека, ему следовало подумать. Сразиться в честном бою один на один, как сказал мой племянничек, вот что называлось в доброе старое время помериться силой и что давало человеку настоящую оценку в глазах остальных.

— Да, так было прежде, но теперь людей ценят не за силу в кулачном бою, и если бы вы спросили моего мнения, я сказал бы вам, что в данном случае победил принц.

— И вы, пожалуй, правы, сударь. Перед лицом Божиим оно, конечно, так, но здесь люди смотрят на дело иначе, они смеются над принцем Отто, которого победил его егерь, — сказал Готтесхейм.

— Про это даже песню сложили, — вставил Фриц — я только не припомню сейчас, как она начинается.

— Вот как, — промолвил Отто, не имевший ни малейшего желания слышать эту песню. — Но ведь принц еще молод, он может стать другим человеком, может сознать свои недостатки.

— Ну, не так уж молод, позвольте вам заметить, — крикнул Фриц, — ему уж под сорок лет!

— Тридцать шесть, — поправил его Готтесхейм.

— О! — воскликнула Оттилия, видимо разочарованная, — это уже человек средних лет! А мне говорили, что он такой красивый, такой молодой!

— Он лысый! — злобно вставил Фриц.

При этих его словах Отто невольно провел рукой по своим густым кудрям. Он чувствовал себя далеко не счастливым в этот момент, и даже скучные, тоскливые вечера во дворце в Миттвальдене казались приятными по сравнению с настоящими минутами.

— Тридцать шесть лет, это еще не так много, — запротестовал он. — В эти годы мужчина еще не стар. Мне тоже тридцать шесть лет.

— Я полагал, что вам больше, сударь, — сказал старик. — А если так, то вы ровесник с «господином Оттохен», как его зовет народ. Но я готов поставить крону, что вы за свою жизнь больше служили на пользу людям, чем он. Хотя ваши года можно еще, пожалуй, считать молодыми, особенно по сравнению с людьми моих лет, но все же это уже порядочный этап на пути человеческой жизни. В это время уже пройдена значительная часть дороги, и только дураки пустоголовые

думают, что в эти годы можно начинать жизнь! Начинать тогда, когда они уже начинают чувствовать усталость и скуку и смутную угрозу близящейся старости. В тридцать шесть лет настоящий человек, живущий по-божески, должен иметь свой очаг, должен иметь определенную профессию или занятия, должен составить себе известную репутацию, заслужить уважение сограждан, быть чем-нибудь настоящим и иметь чем жить и чем содержать семью. В эти годы он должен уже иметь жену и, если Бог благословит его союз, детей, и слава дел его должна следовать за ним.

— Что ж, принц жену имеет! — крикнул Фриц и громко расхохотался при этом.

— Почему же вам это кажется столь забавным? — спросил Отто.

— Да неужели же вы и этого не знаете? Я думал, что об этом вся Европа знает! — воскликнул молодой крестьянин.

— Да, сударь, сейчас видно, что вы нездешний, — сказал старик, — иначе вы бы знали, как это знают все кругом, что вся эта княжеская семья и весь двор развратники и бездельники, каких хуже нет! Живут они в праздности и сытости, и естественным следствием того и другого является распутство. Принцесса обзавелась любовником, который именуется себя бароном. Это какой-то выходец из Восточной Пруссии. А принц на все закрывает глаза и, как говорят, даже потекает ей. Ну, разве это муж! Разве это мужчина!.. И это еще не все. Хуже всего то, что этому чужеземцу и его возлюбленной предоставлено вершить все государственные дела, а принц берет с народа деньги и дает всему пропадать. Поверьте мне, не добром все это кончится; придется ему держать ответ за свои дела, и хотя я стар, а, пожалуй, и я еще доживу до этого времени.

— Нет, дядюшка, насчет Гондремарка ты не прав! — воскликнул Фриц, проявляя сильное возбуждение. — Во всем остальном я с тобой вполне согласен, ты говоришь как настоящий патриот. Что же касается принца, то если бы он взял и задушил свою жену, — то я бы многое простил ему за это!

— Нет, Фриц, — возразил старик, — это значило бы прибавить несправедливость ко всему остальному; потому что, видите ли, сударь, — пояснил он, обращаясь снова к своему гостю, — этот Отто сам во всем виноват. Он взял себе молодую жену и унаследовал от отца это княжество, и дал клятву любить и беречь и жену, и свое

государство, а вместо того он предоставил и жену и страну какому-то авантюристу!

— Что из того, что он клялся перед алтарем! — грубо вмешался Фриц. — Верьте принцам! Разве они держат свои клятвы!

— Он так мало оберегает бедняжку, что отдал ее на произвол всяких случайностей и соблазнов; поэтому она, не видя в нем поддержки и опоры, падает все ниже и ниже, так что самое имя ее вошло в поговорку в грязных шинках и распивочных. А ей еще и двадцати лет нет! И страну свою он позволяет обременять налогами и поборами, истощать вооружениями и довести до войны.

— До войны? — невольно воскликнул Отто.

— По крайней мере так говорят, сударь, те, кто следит за тем, что там делается. Ну, скажите сами, сударь, разве все это не печально? Разве не обидно, что эта бедняжка по его вине попадет в ад кромешный, да еще при жизни люди станут поносить и проклинать ее; и разве не печально, что такая славная, счастливая страна так дурно управляется и клонится к гибели своей? И заметьте, все вправе жаловаться, только не Отто, потому что он что посеял, то и пожал! Но пусть Господь Бог сжалятся над его грешной душой, потому что много он зла и бед натворил на своем веку.

— Он не сдержал своей клятвы, значит, он клятвопреступник; он берет от государства деньги, а обязанностей своих не несет; дела своего не делает, а деньги берет. Это все равно что их крадет! — крикнул Фриц.

— А теперь рассудите сами, государь, — продолжал старик фермер, — справедливо ли люди так дурно думают об этом принце. В частной жизни человек должен быть честен и богобоязнен, а кроме того, наряду с этим, есть еще и общественные доблести; но если человек не обладает ни теми, ни другими, то, прости его Господи, какой же он после этого человек! Даже этот Гондремарк, о котором Фриц такого высокого мнения...

— Да, — вмешался Фриц, — Гондремарк настоящий человек! Как раз такой, каких нам надо. Я желал бы, чтобы у нас в Герольштейне выискался такой человек.

— Нехороший он человек, — сказал старик, качая головой, — дурной, скверный человек, скажу я, и никогда еще не было положено доброе начало нарушением заповедей Божьих. Но в этом я с тобою

согласюсь, Фриц, — это человек, который работает не покладая рук, и не даром берет то, что имеет.

— Говорю вам, что в нем вся надежда Грюневальда! — заявил Фриц. — Он, быть может, не удовлетворяет некоторым вашим старозаветным, строгим требованиям, потому что он вполне современный человек, человек просвещенный, человек прогресса! Кое в чем он, конечно, поступает не так, как следует. Но кто же не бывает не прав? Не только интересы народа близки ему; он во всем стоит за народ и его права! И заметьте, сударь, вы, который, как я вижу, тоже либерал и враг всяких ихних правительств, вспомните мое слово, — настанет день, когда из Грюневальда прогонят этого пустоголового бездельника и лентяя принца и эту пухлолицую Мессалину принцессу, и выпроводят их задом наперед через границу, на все четыре стороны, а барона Гондремарка провозгласят президентом. Я был на митинге в Бранденау, и миттвальденские делегаты говорили это от лица пятнадцати тысяч грюневальдских граждан. Пятнадцать тысяч человек зарегистрированных, сформированных в бригады и все с медалями на шее в качестве знака объединения, и все это, можно сказать, создал Гондремарк...

— Да, сударь, теперь вы сами видите, к чему это ведет. Сегодня безумные речи, а завтра безумные действия и поступки! — сокрушенно проговорил старик. — Несомненно одно, что этот Гондремарк стоит одной ногой при дворе, на дворцовой задней лестнице, а другой в масонских ложах и выдает себя за то, что в наше время называют «патриотом». И этот выходец из Восточной Пруссии слывет грюневальдским патриотом!!

— Выдает себя! — воскликнул почти свирепо Фриц. — Нет, он и есть патриот на самом деле! Он сложит с себя титул, как только будет провозглашена республика! Это он заявил всем, как я слышал на митинге.

— Да, он сложит с себя баронство, чтобы принять президентство, — пробормотал старик; — царь-бревно и царь-аист в лягушечьем царстве! Ты больше моего проживешь на свете, ты еще увидишь плоды всей этой затеи.

— Батюшка, — прошептала Оттилия, дергая старика за рукав, — наш гость, как видно, нездоров.

— Бога ради, простите меня, сударь, я вижу, вам не по себе... Не могу ли я предложить вам чего-нибудь? — спросил хозяин.

— Нет, благодарю вас; я только страшно утомлен, — ответил Отто; — я слишком понадеялся на свои силы, как я вижу, и буду вам очень признателен, если вы дадите мне где-нибудь постель, чтобы переночевать.

— Оттилия, дай свечу! — скомандовал Готтесхейм. — Вы в самом деле очень бледны, сударь; быть может, вы бы выпили немного подкрепительного на ночь? Нет? Ну, в таком случае, потрудитесь следовать за мной, я проведу вас в комнату для гостей. Вы будете не первый, хорошо проспавший ночь под моим кровом, — продолжал словоохотливый старик, подымаясь по лестнице впереди своего гостя; — видите ли, добрый ужин, стаканчик доброго вина и спокойная совесть да задушевная беседа с добрыми людьми на сон грядущий стоят всяких аптекарских снадобий, могу вас уверить. А вот вы и у пристани, сударь, — добавил хозяин, отворяя дверь в маленькую, чисто выбеленную спальню. — Комната не велика, но воздуха в ней много, белье на постели чистое и хранится всегда в лаванде, а окно выходит прямо на реку, а журчанье речки, поверьте мне, лучше всякой музыки. Она напекает нам все одну и ту же песню, но песня эта никогда не приедается, как музыка любого скрипача. Под ее звуки мысли уносятся далеко и в конце концов действуют на человека так же успокоительно, как молитва. Итак, позвольте мне проститься с вами до завтра, сударь, и от души пожелать вам, чтобы вы проспали эту ночь, как принц.

И после двадцатого вежливого поклона старик наконец, удалился оставив своего гостя одного.

III. В которой принц утешает и старость, и красоту и преподает урок скромности в любви

На другой день принц поднялся рано и вышел из дома, когда птицы только что начали петь, когда воздух был чист и спокоен, а лучи солнца еще едва скользили вкось и по траве, и по деревьям, и тени были длинные, длинные и ложились далеко вперед по земле. После мучительно проведенной ночи прохлада раннего утра действовала успокоительно и живительно. Украсть часок у своих спящих собратьев, быть, так сказать, Адамом нарождающегося дня, вносило радость и бодрость в душу принца, который теперь дышал глубоко полной грудью, шагая по мокрой от росы траве рядом со своей тенью и останавливаясь, чтобы впивать в себя аромат раннего утра. Огороженная изгородью дорожка вела вниз под гору к потоку. Этот поток был бурливой горной речкой, которая подле самой фермы низвергалась с небольшого обрыва бурным водопадом вниз, в большую лужу или бассейн, где она бурлила и клочотала и расходилась кругами. Из середины этого самородного бассейна или лужи торчал, словно зуб изо рта, наклонный утес, врезающийся мысом в самую середину бассейна; сюда-то и взобрался Отто, сел и погрузился в свои мысли.

Вскоре солнце поднялось выше и, пробиваясь сквозь паутину ветвей и мелких листочков, склонившихся над водопадом, наподобие воздушной зеленой арки деревьев, озолотило и испестрило своими бликами это своеобразное седалище. Те же золотые лучи проникали глубоко в стремительно низвергающуюся водяную струю и зажгли на вершине ее светящуюся и сверкающую как алмаз точку или искру. Начинало становиться жарко там, где сидел Отто; десятки светящихся точек зажглись теперь и в бурлящей и крутящейся луже или бассейне у подножия скалы, и дрожали и плясали на воде, как светящиеся мухи; но брызги водопада освежали воздух, как колышущийся занавес.

Отто, который устал от волнений и был измучен осаждавшими его со всех сторон призраками раскаяния и ревности, сразу влюбился в этот испещренный солнцем, неумолчно говорливый уголок. Он стоял и

смотрел на этот водоворот, как сквозь сон дивясь и любясь, размышляя и теряясь в своих мыслях, расплывчатых и смутных, как эти круги на воде. Ничто так близко не олицетворяет в наших глазах свободную волю, как бессознательно рвущаяся вперед и мечущаяся в водовороте порогов река, в сущности, покорно следующая своим законам, в силу которых вода в том или ином месте обходит или побеждает препятствия, встречающиеся на ее пути. Мы видим в ней как бы борьбу человека с его судьбой, и по мере того как Отто, всматриваясь в эти встречные противоположные течения, вслушивался в этот непрерывный шум воды, он становился все сонливее и уходил все глубже и глубже в себя. Этот водоворот и он был одинаково бесполезны и никому не нужны, этот водоворот и он одинаково прикованы неосязаемыми влияниями, невидимыми узами к этому уголку вселенной. И он, и этот водоворот несли одно проклятие, разделяли одну судьбу!

Вероятно, он уснул, потому что его пробудил чей-то голос.

— Сударь, — окликнула его дочь старика Готтесхейма, — и при этом она, казалось, сама смутилась своей смелостью и делала ему какие-то знаки с берега. Это была простая, здоровая и счастливая девушка, добрая и чистосердечная, обладающая той особой деревенской красотой, которую создают довольство, беззаботность и здоровье; но на этот раз ее смущение придавало ей особую прелесть и привлекательность.

— С добрым утром, — сказал Отто, идя к ней навстречу. — Я встал рано, пришел сюда помечтать и задремал.

— Ах, сударь, — воскликнула она, — я хочу просить вас пощадить моего отца; я уверяю ваше высочество, что если бы он знал, кто вы, он скорее откусил бы себе язык! И Фриц тоже; как он раскипятился! Только у меня зародилось маленькое подозрение и, встав поутру, я пошла в конюшню и там увидела корону вашего высочества на стременах у вашего седла. Но, сударь, я уверена, что вы простите их, потому что они перед вами ни в чем неповинны.

— Милая, — сказал Отто, которого это забавляло и которому льстило доверие девушки, — во всем этом виноват я; мне не следовало скрывать своего имени и вызывать их на этот разговор обо мне; и теперь я должен просить, чтобы вы сохранили мою тайну и не выдали меня, и чтобы вы простили мне мой маленький обман. А что касается

ваших опасений, то ваши друзья здесь в полной безопасности, в своем Герольштейне, и даже на моей земле, потому что вы слышали вчера, как мало я значу у себя в княжестве.

— Ах, сударь, — воскликнула она, приседая, — я бы этого не сказала; я знаю, что егеря все до единого рады были бы умереть за вас!

— Счастливый принц! — воскликнул саркастически Отто. — Но хотя вы из вежливости не хотите сознаться, вы много раз имели случай слышать, что я — одна только личина принца. Еще вчера мы это слышали здесь. Вы видите вон эти тени, что дрожат там на утесе среди водоворота; так вот, принц Отто — эта колеблющаяся тень, а та несокрушимая скала — Гондремарк! Да, если бы они напали вчера так на Гондремарка, дело было бы плохо; но к счастью для него, молодой парень его ярый приверженец и почитатель, а что касается вашего отца, то он человек разумный и превосходный собеседник, и я готов чем угодно поручиться, что он человек честный и правдивый.

— О, да, ваше высочество, он честный и справедливый! — воскликнула девушка. — И Фриц тоже честный, — добавила она, — а относительно того, что они вчера говорили, то все это была одна пустая болтовня и глупости. Когда деревенские люди начнут болтать, так они сами не знают, что болтают, лишь бы только болтать себе и другим на потеху; они даже не думают о том, что они говорят; и если вы доедете до ближайшей фермы, то, наверное, услышите все такое же про моего отца.

— Нет, нет, — возразил Отто, — в этом вы заходите слишком далеко, — потому что все, что было сказано про принца Отто...

— Было возмутительно! — воскликнула девушка.

— Не возмутительно, а справедливо, — сказал Отто. — Да, справедливо; — я действительно таков, как они говорили, и даже хуже!

— Никогда! — горячо запротестовала Оттилия. — Так вот вы как это принимаете! Ну, из вас никогда бы не вышло доброго солдата. Если меня затронут, то я вскочу и дам сдачи! Да еще как! Я себя в обиду не дам, я стану защищаться! Ни за что я не допущу, чтобы другой человек мне на мою вину указывал, даже и тогда, когда бы эта вина у меня на лбу была написана! И так должны поступать и вы, если вы хотите пережить все это. Но, право, я никогда еще не слыхала ничего глупее! Мне думается, что вам было стыдно за себя! Так вы лысый, не правда ли? А?

— О, нет, — сказал Отто и весело рассмеялся. — В этом я могу оправдаться; лысым я еще никогда не был.

— Красивый вы и хороший, — убеждала его девушка — Ведь вы знаете, что вы добрый и хороший, и я заставлю вас самого сказать это всем в лицо! Простите меня, ваше высочество, но это не из неуважения к вам, вы это знаете, и вы знаете тоже, что вы хороший.

— Ну что же я по вашему должен сказать? — спросил Отто. — Я вам скажу вот что: вы повариха, вы прекрасно готовите, пользуюсь случаем поблагодарить вас за превосходное вчерашнее рагу; но скажите мне, разве вам не случалось видеть, как прекраснейшая провизия до того изгаживается неумелыми стряпухами, что блюда в рот взять нельзя? То же самое можно сказать и про меня; я, быть может, хорошая провизия, но блюдо из меня получилось никуда негодное! Я все равно, что сахар в салате! Короче говоря...

— Мне все равно, я знаю, что вы хороший, — проговорила Оттилия, слегка вспыхнув, потому что не поняла его сравнения.

— Хорошая вы, а не я, — сказал Отто.

— Ах, это все про вас говорят, что язык у вас такой льстивый, что вы хоть кого обойдете, — укоризненно промолвила она. — Нехорошо это!

— Вы забываете, что я человек средних лет, чуть ли не старик, — засмеялся принц.

— А если сказать вам правду, когда вас слушаешь, то можно подумать, что вы еще мальчик; и хоть вы принц, но если бы вы пришли мешать, когда я стряпаю, я пришила бы салфетку к вашим фалдам! Да! Боже мой, простите меня, ваше высочество, но у меня что на уме, то и на языке! Я ничего поделывать с собой не могу! — добавила девушка, застыдившись.

— И я также! — воскликнул принц. — И на это именно все они и жалуются.

Они походили на двух влюбленных; хотя шум водопада, походившего на хвост белого коня, заставлял их говорить громче обычного шепота влюбленных, но тем не менее для ревнивого глаза, который мог бы видеть их сверху, их веселые лица, шутливый тон и близость могли показаться подозрительными. И чей-то грубый голос из-за кустов терновника стал звать Оттилию по имени. При этом она вдруг изменилась в лице.

— Это Фриц! — сказала она. — Мне надо идти.

— Идите, милая, идите с миром и будьте спокойны; надеюсь, вы успели убедиться, что при ближайшем знакомстве я не грозен и не свиреп, — сказал принц и красивым жестом руки милостиво отпустил свою собеседницу.

Оттилия вскарабкалась вверх по берегу водопада и скрылась в кустах, но перед тем еще раз остановилась, обернулась назад и, вся зардевшись, сделала торопливый книксен; зардевшись, потому что она за это время забыла и опять припомнила о высоком сани гостя.

Отто вернулся на свое прежнее место на утесе, но настроение его теперь было совсем иное. Солнце светило сильнее на разлив, и на его волнующейся и крутящейся поверхности голубое небо и зеленая листва, отражаясь, дрожали и рябили как причудливые арабески. Маленькие крутни и ворота теперь как будто повеселели и смеялись, глядя на небо; красота самой долины прельстила принца; это чудесное местечко было так близко от его границы и все же за пределами. Его никогда не радовало обладание тысячами прекрасных вещей, принадлежавших ему, а теперь он сознавал, что завидует тому, что принадлежит другому. Правда, это была улыбающаяся, любительская зависть, но все же это была зависть. Это была в миниатюре зависть Ахава к винограднику, и он почувствовал положительное облегчение, когда увидел приближающегося Киллиана Готтесхейма.

— Надеюсь, сударь, что вы хорошо почивали под моим кровом, — сказал старый фермер.

— Я люблюсь этим прекрасным местечком, где вы имеете счастье жить, — заметил Отто, избегая прямого ответа.

— Дико здесь и по-сельски просто, — отозвался старик, осматриваясь кругом с видимым умилением. — Хороший уголок, — продолжал он, — и земля превосходная, жирный чернозем, глубокий чернозем. Вам бы следовало посмотреть мою пшеницу; у меня там десять акров полей. Ни одна ферма в Грюневальде или в Герольштейне не сравнится с «Речной Фермой». Здесь земля родит сам 60, сам 70; — ну, конечно, это отчасти и от обработки зависит.

— А в реке вашей есть рыба? — спросил Отто.

— Настоящий рыбный садок, сударь! — ответил фермер. — Что и говорить, хорошее местечко; здесь даже хорошо тому, у кого есть свободное время, посидеть и послушать, как шумит поток, и

посмотреть, как крутится водоворот в разливе, — а зеленые ветки деревьев сплетаются над водопадом, да вот как сейчас; когда солнце в них ударяет, самые камни на дне превращаются в самоцветные алмазы! Однако вы уже в таких годах, извините меня, когда надо остерегаться ревматизма, остерегаться, чтобы он как-нибудь не пристал к вам; между тридцатью и сорока годами, говорят, время посева всяких недугов, а место здесь сырое и холодное, особенно ранним утром, да еще на пустой желудок. С вашего разрешения, я бы посоветовал вам уйти отсюда.

— С большой охотой принимаю ваш совет, — отозвался Отто. — Так вы прожили здесь всю жизнь? — спросил он, идя рядом с фермером.

— Да, сударь, здесь я родился, — ответил старик, — и я желал бы иметь право сказать, что здесь я и умру. Но не мы, а судьба вертит колесо нашей жизни; говорят, что она слепа, но я думаю, что она дальновиднее нас. Мой дед и мой отец и я, мы ведь пахали эти поля один за другим; все наши три имени вырезаны там на садовой скамье; два Киллиана, один Иоганн. Да, могу сказать, в этом моем саду хорошие люди готовились перейти из этой жизни в новую жизнь. Я отлично помню отца, в его шерстяном вязаном колпаке, бродящим по всему саду в последний день своей жизни, желая еще раз увидеть все эти места. «Киллиан, сказал он мне, видишь ты этот дым моей трубки? Ну так вот — такова и жизнь человека» — и это была его последняя трубочка, и я полагаю, что он это знал. И странное это дело, думается мне, расставаться со всеми этими деревьями, которые он насадил, с полями, которые он вспахал, с сыном, которого он боготворил и даже с этой старой фарфоровой трубкой с головой турка, изображенной на ней, которую он всегда курил с тех самых пор когда был еще молодым парнишкой и ухаживал за девушками. Но здесь на земле нам не дано пребывать вечно, а там в небесах нам засчитываются все наши добрые дела, — и присчитывается даже больше, чем у нас их было; и это ваше утешение. А все же, вам трудно будет представить себе, как мне горько думать, что мне придется умирать в чужом месте.

— Но почему же вам это придется? Какие на то причины? — спросил Отто.

— Причины? Причина та, что эта ферма будет продана; продается она за три тысячи, — продолжал старик; будь это всего третья часть

этой суммы, то я не хвастаясь могу сказать, что с моим кредитом и моими маленькими сбережениями я бы мог собрать эти деньги и приобрести эту землю в собственность; но три тысячи крон, — это выше моих сил, и если мне не привалит особое счастье, и новый владелец не согласится оставить за мной право обрабатывать эту землю, — мне не остается ничего больше, как собрать свои пожитки и убраться куда глаза глядят.

Слыша это, желание обладать этой фермой еще более возросло у принца, и к нему присоединилось еще и другое чувство. Если все, что он слышал, правда, то Грюневальд становился ненадежным для него местом, и на всякий случай не мешало приготовить себе убежище; а если так, то где мог он найти более очаровательное местечко для своего отшельнического житья? Кроме того старик Готтесхейм возбудил в нем чувство сожаления к себе, и каждый человек в глубине души не прочь при случае разыграть роль Провидения, хотя бы театрального. А помочь горю старого фермера, так жестоко и беспощадно отчитавшего его вчера в своей беседе, разве это не являлось благороднейшею платой добром за зло? При этом мысли Отто как-то прояснились, и он стал смотреть на себя с большим уважением, чем вчера.

— Я думаю, что могу подыскать покупателя, который продолжит вам срок аренды и будет и впредь пользоваться вашими трудами для обработки фермы, — сказал он.

— В самом деле! — воскликнул старик. — Если так, я вам буду очень признателен, потому что, видите ли вы, сколько бы человек ни приучал себя к безропотной покорности в течение всей своей жизни, как и к лекарствам, он все же под конец жизни не полюбит ни того, ни другого.

— Составляя запродажную запись, — сказал принц, — вы можете вставить в нее условие насчет оставления за собою права пожизненной аренды этой фермы.

— Может быть, ваш покупатель, сударь, не будет ничего иметь против перенесения этого права аренды на моего племянника? Фриц хороший работник.

— Фриц молод, — сказал сухо принц, — он сам должен заработать, что ему нужно, а не наследовать готовое.

— Он долго работал на этой ферме, сударь, — настаивал старик, — а в мои преклонные годы, — мне уже 78 лет было прошлой осенью, — владельцу фермы пришлось бы думать о том, кем меня заменить, когда меня не станет. Прямой расчет обеспечить себя готовым работником, и я полагаю, что пожизненный срок аренды мог бы прельстить Фрица.

— У этого молодого человека очень шаткие взгляды, как я мог заметить, — так же сухо отпарировал принц.

— Но, быть может, покупатель... — начал было Готтесхейм.

Яркие пятна гневного румянца вспыхнули на щеках Отто.

— Покупатель я! — подчеркнул он.

— Я мог бы это сразу предположить, — промолвил старик с почтительным, степенным поклоном старого человека. — Вы осчастливили старика, сударь, и я могу сказать, что, сам того не зная, я принял ангела в свой дом, и если бы великие мира сего, я понимаю под этим людей, занимающих высокое положение, если б они обладали таким же добрым сердцем как вы, как бы много добра они могли сделать для бедных, и какую любовь к себе они зажгли бы в их сердцах.

— Я бы на вашем месте не судил их так строго, — сказал Отто, — мы все имеет свои слабости.

— Ваша правда, сударь, — отозвался старик. — Не соблаговолите ли сказать мне, как я должен именовать моего благодетеля и будущего владельца фермы?

Под впечатлением воспоминаний об англичанине путешественнике, которого он на этих днях принимал у себя при дворе, и о другом старом шутнике англичанине, которого он знал в своей юности, принц назвал себя «Трансом».

— Я англичанин, досужий путешественник, — сказал он. — Сегодня у нас вторник; в четверг, перед полуднем, деньги будут приготовлены, и мы с вами встретимся в Миттвальдене, в гостинице «Утренняя Звезда». Будьте аккуратны, я вас буду ждать.

— Я во всем верен, сударь, и всегда к вашим услугам, — сказал фермер. — Англичане великие путешественники, что мы все знаем, но в почве ваша милость знает толк?

— Я когда-то прежде интересовался этим, — сказал принц, конечно, не в Герольштейне, но судьба, как вы сказали, вертит колесо нашей жизни, и я хотел бы быть предусмотрителен.

— Вы совершенно правы, сударь, — одобрил его Киллиан Готтесхейм. — Желаете взглянуть на поля?

Они шли не спеша, но тем не менее подошли уже к самому дому, и подымались по огороженной изгородью дорожке на равнину, где расстилались луга. Несколько впереди их слышались голоса, которые теперь по мере их приближения, становились громче и отчетливее с каждым их шагом. И в тот момент, когда они поднялись на уровень дома, они увидели Фрица и Оттилию в некотором расстоянии от себя. Он был мрачен, и лицо его пылало гневом, а слова свои он выкрикивал хриплым от раздражения голосом, и как бы подчеркивал их, ударяя кулаком одной руки по ладони другой. Она стояла поодаль, покрасневшая, негодующая.

— Боже мой! — сказал старик и сделал вид, будто собирается свернуть в сторону. Но Отто пошел прямо на ссорившихся, полагая, что он отчасти причастен к их ссоре. Как только Фриц увидел принца, он тотчас же принял еще более грозный и вызывающий вид.

— А, тут вы и есть! — крикнул он, когда Отто подошел достаточно близко, для того, чтобы можно было свободно разговаривать. — Вы мужчина и вы должны мне ответить. Что вы там делали? О чем вы двое шептались там в кустах? И подумать только, — вскрикнул он, обращаясь в сторону девушки, — что я тратил свое чувство на такую, как ты?

— Прошу прощения, — вставил Отто, — вы, кажется, обращались ко мне. По какому праву, позвольте вас спросить, требуете вы от меня отчета в поведении этой девушки. Что вы ей — отец, брат, супруг?

— Эх, сударь, вам прекрасно известно, что мы с ней дружим, — заявил молодой крестьянин. — Я ее люблю и она на пути к тому, чтобы полюбить меня; но всему этому я положу конец, все пойдет насмарку! Пускай она это знает, потому что у меня тоже есть своя гордость.

— Как я вижу, молодой человек, мне приходится объяснить вам, что такое есть любовь, — сказал Отто. Любовь — это чувство меры, нежность и доброта. Весьма возможно, что у вас есть своя гордость, но почему же вы не допускаете, что и у нас она тоже есть? Я не говорю о себе, но, вероятно, если бы кто-нибудь вздумал так страстно отнестись к вашим собственным поступкам, вы бы тоже нашли лишним отвечать на подобные вопросы.

— Все это отговорки и увертки! — воскликнул Фриц. — Вы прекрасно знаете, что мужчина — это мужчина, а женщина, — всего только женщина! И это во всем свете так. Я теперь спрашиваю вас — спрашиваю еще раз и как видите, стою и жду ответа.

— Я уверен, что когда вы основательнее изучите либеральные доктрины, и лучше поймете это учение, — сказал принц — вы в значительной мере измените свои понятия. У вас, мой юный друг, нет чувства меры и сознания своих и чужих прав; вы установили какие-то особые для принцев, и другие для фермеров. Вы невыразимо строги и беспощадны к принцу, который небрежно относится к своей жене, — но почему же вы миритесь тогда с влюбленным, который оскорбляет свою возлюбленную? Вы употребили слово «любовь», но мне кажется, что эта молодая особа была бы вправе просить вас избавить ее от подобной любви, — потому что если я, чужой человек, позволил бы себе десятую долю той грубости и невежества, какие вы себе позволили по отношению к ней, вы были бы вправе проломить мне за это голову; это было бы даже вашей обязанностью, так сказать, оградить и защитить ее от подобной грубости и дерзости. А теперь вы должны прежде оградить ее от вас самих.

— О, — вмешался Готтесхейм, стоявший все время и слушавший, заложив руки за спину, — да ведь это святая истина! Против этого ничего сказать нельзя.

Даже Фриц был смущен этим невозмутимым спокойствием и благородством манер принца и в нем мелькнуло сознание своей виновности, а упоминание о либеральных доктринах совершенно обезоружило его.

— Пусть так, я был груб и сознаюсь в этом, — сказал Фриц. Я не хотел ничего дурного, и не сделал ничего такого, на что я не имел бы законного права, но я выше всех этих старых предрассудков, и если я был резок в разговоре с ней, я прошу ее простить меня.

— От души прощаю, Фриц, — сказала Оттилия.

— Но все это не есть ответ на мой вопрос! — крикнул Фриц. — Я спрашиваю, о чем вы двое там беседовали? Она твердит, что обещала не говорить. Пусть так, но я все-таки намерен узнать. Вежливость вежливостью, но я не желаю быть одураченным, я имею право на справедливость, раз я состою членом общества.

— Если вы спросите господина Готтесхейма, — сказал Отто, — то вы узнаете, что я не даром потратил время сегодня утром; я за это время, после того как встал и обошел эти места, решил купить вот эту ферму. Вот все, что я считаю возможным сказать вам, чтобы удовлетворить ваше любопытство, которое я считаю неприличным и предосудительным.

— Ну, если это было по делу, то и говорить не о чем, — отозвался Фриц. — Хотя я не могу понять, почему вы этого сразу не могли сказать. Но раз вы заявляете, что покупаете эту ферму, — то мне ничего больше говорить не остается.

— Ну, конечно! — убежденно и веско поддержал его в последнем старый фермер.

Оттилия же была гораздо смелее.

— Ну вот видишь! — торжествующе воскликнула она. — Я тебе говорила, что я за вас ратовала, — ну теперь ты и сам убедился! Стыдись своего подозрительного нрава! Ты бы должен был теперь на коленях просить прощения у этого господина и у меня, вот что я тебе скажу, да!

IV. В которой принц попутно собирает мнения

Незадолго перед полуднем принц Отто путем целого ряда ловких маневров ухитрился незаметно покинуть ферму, избавившись таким образом от полновесных благодарностей старого фермера и от конфиденциальных благодарностей славненькой Оттилии. Но от Фрица не так-то легко было отделаться. Этот молодой политикан, обдавая его таинственными многозначительными взглядами, предложил проводить его до большой дороги, и Отто, из опасения новой сцены ревности для бедной девочки, не решился отказать ему в этом, но вместе с тем поглядывал на своего спутника не совсем спокойным взглядом и в душе желал, чтобы все это поскорее кончилось. Некоторое время Фриц шел подле его коня молча, пока отошли уже более половины предполагаемого расстояния. Тогда Фриц, слегка покраснев, поднял на него глаза и заговорил.

— Скажите, вы не то, что принято называть социалистом? — спросил он принца.

— Нет, я не совсем то, что принято называть этим именем. Но почему вы спрашиваете меня об этом? — удивился Отто.

— Я сейчас скажу вам почему, — ответил молодой парень. — Я сразу же увидел, что вы «красный» и «прогрессист» и что вы только из опасения перед стариком сдерживались: и в этом вы были совершенно правы; старые люди всегда трусы! Но в настоящее время столько образовалось различных групп, что очень трудно сказать, до какого предела способен пройти данный человек, и потому я не был уверен, что вы один из ясно свободомыслящих людей, до того момента, пока вы не намекнули о равноправии женщин и о свободной любви.

— В самом деле? — удивился еще раз Отто. — Но я, насколько помню, не говорил ни слова о подобных вещах.

— Ну, конечно! — воскликнул Фриц. — Вы никогда не скажете ни одного слова, которое могло бы выдать вас, вы, что называется, только посеяли засекали, почву зондировали, как говорит наш президент, — но меня трудно провести, потому что я знаю всех агитаторов и все их приемы, и знаю все новейшие доктрины; но между нами говоря (и при

этом он понизил голос), я сам состою в союзе. — Да, я член тайного общества, и вот вам в доказательство и моя медаль. И он вытащил из-за ворота зеленую ленту, висевшую у него на шее, — и протянул Отто оловянную медаль с изображением горящего легендарного Феникса, и надпись «Libertas». — Теперь вы видите, что можете мне довериться, — добавил Фриц. — Я отнюдь не трактирный краснобай, который только языком мелет, я убежденный революционер — И он умильно взглянул на Отто.

— Я вижу, что вам это доставляет большое удовольствие, — сказал принц. — Но я вам скажу, что самое важное для блага нашей страны, это чтобы вы прежде всего были хорошим человеком. В этом вся сила. А что касается меня, то хотя вы и не ошиблись, полагая, что я причастен к политике, но по натуре своей я непригоден для роли руководителя, и боюсь, что я был предназначен для роли подчиненного. Тем не менее, каждому из нас приходится кое над чем повелевать, хотя бы над своими собственными чувствами и порывами. Молодой человек и мужчина, собирающийся жениться, должен внимательно следить за собой. Положение мужа, как и положение принца, — весьма затруднительное положение; и поверьте мне, как в том, так и в другом, очень трудно быть всегда добрым и хорошим. Понимаете вы меня?

— О да, я вас прекрасно понимаю, — отозвался Фриц уныло, опечаленный полученными им сведениями; но затем он снова повеселел и расхрабрился и спросил: — Это вы для арсенала, т. е. для склада оружия покупаете эту ферму?

— Ну, это мы еще увидим, — невольно засмеялся принц. — Но мой вам совет, не слишком усердствовать, и, будь я на вашем месте, я бы до поры до времени никому ничего не говорил об этом.

— О, положитесь на меня в этом отношении! — воскликнул Фриц, опуская в карман полученную крону. — Да вы себя и не выдали ничем! Я заподозрил вас с первого взгляда и ни минуты не сомневался относительно вас. И прошу вас не забыть, что когда вам понадобится проводник, то я к вашим услугам! Я здесь каждый куст, каждую тропинку знаю!

— Не забуду, — сказал Отто и поскакал вперед, внутренне смеясь. Этот разговор с Фрицем чрезвычайно забавлял его; притом он остался весьма доволен и своим поведением во время пребывания на ферме.

Многие на его месте, вероятно, не сумели бы так сдержаться себя при подобных условиях, и это сознание радовало Отто, а в довершение всего и воздух, и погода, и сама дорога были прекрасны.

То подымаясь в гору, то спускаясь под гору, широкой белой лентой пролегла между лесистыми живописными холмами ровная, проезжая дорога, ведущая в Грюневальд. По обе стороны дороги стояли красивые ровные сосны, стройные, с молодыми побегами, весело оживляющими их темные ветви, с светлым зеленым мхом около пней и, хотя одни были широкие и раскидистые, а другие тонкие и стройные, все они стояли словно выстроившиеся на смотре солдаты, взявшие все разом на караул. На всем своем протяжении дорога пролегла в стороне от сел и городов, оставляя их то вправо, то влево. Там и сям, в глубине зеленых долин виднелись группы крыш и домов, или же высоко над дорогой на каком-нибудь выступе горы ютилась хижина мельника или угольщика. Дело в том, что дорога была международным предприятием и имела в виду только более крупные центры, и с мелкими, частными нуждами скромного населения не считалась, вследствие чего и была особенно безлюдна. Только у самой границы Отто встретил отряд своих собственных войск, медленно двигавшихся по пыльной, залитой солнцем дороге. Солдаты узнали и довольно вяло приветствовали в то время, когда он проезжал мимо них. После того он долгое время ехал в полном одиночестве среди пустого зеленого леса.

Мало-помалу его радостное настроение начинало ослабевать; но собственные мысли стали одолевать его, как туча назойливых жужжащих насекомых; вчерашний разговор приходил ему на память, вызывая тяжелое, щемящее чувство. Он смотрел и вправо и влево, ища развлечения, и вот немного впереди круто спускался с холма узкий проселок, выходящий на большую дорогу, и по этому проселку ехал, осторожно спускаясь под гору, всадник. Звук человеческого голоса и близость постороннего человека являлись в данный момент для принца как бы живительным источником в пустыне; он придержал коня и подождал незнакомца. Этот последний оказался краснорожим, толстогубым крестьянином, с парой туго набитых вьюков у седла и большой глиняной флягой у пояса. Он радостно отозвался на оклик принца непомерно густым и сильным басом, и при этом так сильно покачнулся в седле, что принцу стало ясно, что фляга уже пуста.

— Вы едете в направлении Миттвальдена? — спросил Отто.

— До поворота на Таннебрунн, — ответил незнакомец. — Вы ничего не имеете против компании?

— Я даже очень рад, — ответил Отто, — я поджидал вас в расчете найти в вас попутчика.

Тем временем желанный спутник подъехал почти вплотную и поехал рядом с принцем. Прежде всего его внимание привлекла лошадь Отто, и он удивленно и восторженно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Важная под тобой кобыла, приятель! — и, удовлетворив свое любопытство по отношению к главнейшему, он перенес свое внимание на совершенно второстепенное для него, на лицо своего спутника. И вдруг совершенно опешил. — Принц! — воскликнул он и, желая поклониться снова, так сильно покачнулся в седле, что чуть было не вылетел из него на землю. — Прошу простить меня, ваше высочество, что я не сразу признал вас, — пробормотал он.

Принц до того был огорчен этим, что на минуту утратил свое самообладание.

— Раз вы знаете меня, — сказал он, — то нам нет смысла дальше ехать вместе. Я проеду вперед, если вы ничего не имеете против. И он собирался пришпорить своего коня, когда полупьяный попутчик схватил его лошадь за повод.

— Послушай, ты! — крикнул он дерзко. — Принц или не принц, а так нельзя себя держать человеку с человеком! Как? Вы желали ехать со мной инкогнито, когда я не знал, с кем я имею дело, потому что рассчитывали заставить меня проболтаться, чтобы выведать что-нибудь, а раз я вас знаю, так вы проедете вперед, если я ничего не имею против? Шпион! — И весь красный от вина и оскорбленного чувства самолюбия, он чуть не плюнул это слово в лицо принцу.

Страшное смущение овладело в этот момент принцем. Он понял, что поступил грубо, невежливо, рассчитывая на свое привилегированное положение, а кроме того, к его досадливому сожалению, может быть, бессознательно примешивалось и легкое чувство физической робости при виде этого крупного, сильного детины, да еще в таком полусознательном, почти невменяемом состоянии.

— Уберите вашу руку! — сказал Отто достаточно уверенным тоном, чтобы внушить к себе повиновение, и когда тот к немалому его

удивлению покорно исполнил его приказание, добавил: — Вы должны были бы понять любезный, что если я был рад ехать с вами и беседовать с разумным человеком и выслушать его беспристрастное мнение, то с другой стороны, мне было бы весьма неинтересно услышать от вас пустые и лживые речи, которые вы могли бы преподнести принцу.

— Так вы думаете, что я стал бы лгать ради вас? — крикнул крестьянин, багровея еще более от возмущения.

— Я уверен, что да, — сказал Отто, вполне вернув себе свое самообладание. — Вы наверное не показали бы мне, например, той медали, которая надета у вас на шее. — Небольшой кончик зеленой ленты торчал из-за ворота у его спутника, и принц сразу заметил его.

Перемена в его лице при словах Отто произошла разительная; его красная пьяная рожа покрылась желтыми пятнами, дрожащие мясистые пальцы ухватились за упомянутую ленточку.

— Медаль! — воскликнул он сипло, мгновенно протрезвившись. — Нет у меня никакой медали.

— Позвольте, — сказал принц, — я могу даже сказать вам, что у вас изображено на этой медали: — «Горящий Феникс» и под ним слово «Libertas».

Озадаченный спутник не в состоянии был вымолвить ни слова, и принц продолжал:

— Удивительный вы, право, человек, — и он презрительно усмехнулся, — вы возмущаетесь невежливостью человека, которого вы замышляете убить.

— Убить! — запротестовал крестьянин. — Нет, никогда! Я ни за что не пойду на что-нибудь преступное.

— Вы, как видно, очень плохо осведомлены, — сказал Отто. — Участвовать в заговоре уже само по себе преступно, и карается смертной казнью. А кроме того, в данном заговоре замышляется моя смерть, за это я вам поручусь. Но вам нет надобности так ужасно волноваться, ведь я не должностное лицо. Я только скажу вам, что те, кто вмешивается в политику, должны всегда помнить, что у каждой медали есть еще и оборотная сторона.

— Ваше высочество... — начал было рыцарь бутылки.

— Глупости! — оборвал его довольно резко Отто. — Вы республиканец, какое вам дело до титулов и до всяких высочеств? Но

поедем вперед, коли вы так этого желаете, что пытались даже силой удержать меня; у меня не хватает духа лишить вас моего общества, да и, кстати, я желал поставить вам один вопрос: почему вы, будучи столь многочисленны, — я знаю, что вас очень и очень много, пятнадцать тысяч человек, да и то еще цифра эта, вероятно, ниже настоящей, — не так ли? Как видите, я не дурно осведомлен...

Спутник его молчал; у него словно что-то стояло в горле.

— Почему, спрашиваю я, — продолжал принц, — будучи столь многочисленны, вы не явитесь прямо ко мне и не выскажете мне смело ваших нужд и желаний? — Нет, что я говорю! — ваших требований и приказаний, — насмешливо покривился он. — Разве я слышу за человека, страстно привязанного к своему престолу, цепляющегося за него всеми силами, за властолюбца?.. Ну, так придите же ко мне, докажите мне, что вы большинство, и я тотчас же покорюсь вам. Передайте это вашим единомышленникам и уверьте их от моего имени в моей полной готовности повиноваться их желаниям; заверьте их, что какого бы они не были обидного мнения о моих слабостях и недостатках, они во всяком случае не могут считать меня более неспособным для роли правителя, чем я сам считаю себя. Я охотно признаю, что я один из худших государей во всей Европе. Что же они могут еще к этому добавить?

— О, я далек от мысли... — начал было крестьянин.

— Смотрите, вы сейчас начнете защищать мое правление! — воскликнул Отто. — На вашем месте я бросил бы всякие заговоры, — потому что, скажу вам откровенно, вы так же мало годитесь в заговорщики, как я в государи и правители страны.

— Одно только я хочу сказать вам, — вставил свое слово заговорщик. — Мы не столько недовольны вами, как вашей женой.

— Ни слова больше! — сказал принц и затем прибавил с еле сдерживаемым гневом: — Я еще раз советую вам бросить возиться с политикой, и в следующий раз, когда мне придется встретиться с вами, постарайтесь быть трезвым. Человек, пьяный уже с утра, менее всего может быть судьей даже и худшего из государей.

— Я действительно выпил шкалик, но я не упивался, — сказал крестьянин, торжественно подчеркивая разницу. — А если бы даже я и напился, что из того? Никому от этого плохо не будет. Но вот моя мельница стоит без дела, и в этом виновата ваша жена. И разве я один

обвиняю ее? Обойдите-ка вы кругом, да поспрошайте, где все мельницы? Где все молодые ребята, которые должны были бы работать на земле? Где торговые обороты? Все, все решительно парализовано! И по чьей вине? По моей, что ли? Нет, сударь, это дело не ровное! Я страдаю за ваши вины, я расплачиваюсь за них из своего кармана. Я бедный крестьянин, а вы, разве вы страдаете из-за меня? Разве вы платите за мое вино? Пьяный ли или трезвый, я одинаково хорошо вижу, как моя родина гибнет, пропадом пропадает, и вижу также по чьей вине. Ну, а теперь я сказал свое слово, сказал, что у меня было на душе, и вы можете засадить меня в какую угодно гнилую тюрьму, мне все равно! Я сказал правду, и на этом я и буду стоять, а затем, не стану более утруждать ваше высочество своим присутствием.

И с этими словами он придержал свою лошадь, чтобы отстать от Отто и довольно неуклюже поклонился.

— Заметьте, я не спросил вашего имени и не знаю его, — сказал Отто. — Желаю вам приятного пути.

И, пришпорив коня, он помчался вперед во весь опор. Но как он ни старался заглушить бешеной скачкой впечатление от этой встречи с мельником, она стояла у него, точно кость в горле, которую он никак не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Прежде всего он получил упрек в невоспитанности и кончил тем, что потерпел поражение даже в логике, и то и другое от человека, которого он считал себя вправе презирать. И все его прежние тяжелые мысли снова нахлынули на него.

В три часа пополудни он доехал до перекрестка, где большую дорогу пересекала дорога, ведущая в Бекштейн. Отто решил свернуть на эту дорогу и спокойно пообедать в гостинице. Во всяком случае ничего не могло быть хуже, чем продолжать ехать дальше в подобном настроении.

Тотчас при входе в гостиницу он заметил за одним из столов интеллигентного молодого человека, обедавшего с книгой перед глазами. Так как для Отто поставили прибор почти рядом с этим молодым человеком, то принц, желая завязать знакомство, вежливо извинившись, осведомился у соседа, что он читает.

— Я читаю или, вернее, изучаю последний труд доктора Гогенштоквитца, кузена и библиотекаря вашего грюневальдского принца. Это человек с большой эрудицией и легким юмором.

— Я знаком с господином доктором, — сказал Отто, — но не успел еще познакомиться с его книгой.

— Это две вещи, в которых я не могу не позавидовать вам, — вежливо заявил молодой человек. — Вы имеете честь знать доктора и предвкушаете удовольствие ознакомиться с его замечательным трудом.

— Мне кажется, что господин доктор пользуется большим уважением за свои изобличения, не правда ли? — спросил принц.

— Да, отчасти, но главным образом потому, что он является представителем силы ума, — сказал незнакомец. — Кто из нас, из молодых людей, не причастных к придворным интригам, не интересующихся всем, что есть на свете выдающегося или замечательного, кто из нас, спрашиваю я вас, слышал что-нибудь о его кузене, о принце Отто, хотя он и царствующий государь и властитель судеб своего народа, и наоборот, кто не слышал или не знает о докторе Готтхольде, его скромном библиотекаре? Из этого мы видим, что из всех существующих в мире отличий только умственные качества человека являются нормальным и естественным отличием, которого никто не может оспаривать и против которого никто никогда не восстает.

— Вероятно, я имею удовольствие говорить с ученым и, быть может, даже с автором известных трудов? — высказал свое предположение принц.

— До некоторой степени я могу претендовать и на то, и на другое — сказал молодой человек, подавая принцу свою карточку. — Я лицензиат Редерер, автор нескольких трудов по теории и практике политики.

— Признаюсь, вы меня чрезвычайно интересуете, — сказал принц, — тем более, что мы здесь в Грюневальде, по-видимому, накануне революции, и так как политика является специальным вашим предметом изучения, то я попросил бы вас высказаться на этот счет. Предвещаете вы успех этому движению в данном случае или нет?

— Вы, как я вижу, сударь, совершенно незнакомы с моими политическими трудами и с моими теориями и взглядами, — несколько кисло заметил молодой ученый. — Я убежденный сторонник единоличной власти и не разделяю никаких утопических иллюзий, которыми эмпирики ослепляют себя и доводят до безумия и

до отчаяния всяких невежд. Поверьте мне, что время революционных идей прошло или, во всяком случае, проходит.

— Но когда я смотрю вокруг себя... — начал было Отто.

— Когда вы смотрите вокруг себя, — перебил его собеседник, — то вы видите прежде всего людей невежественных; но в лаборатории разумных и обоснованных мыслей, при свете лампы трудолюбия мы начинаем уже видеть иное течение; мы отбрасываем эти элементы и возвращаемся к естественному, природному порядку вещей, к тому, что назвал бы, пользуясь языком терапевтов — «выжидательным лечением заблуждений». Надеюсь, вы понимаете меня? Мы, конечно, безусловно осуждаем такой порядок в стране, какой мы застаем в настоящее время в Грюневальде, и такого принца, как этот принц Отто, потому что они отстали от века; но средство помочь горю я вижу не в грубых конвульсиях революции, всегда пагубно отзывающихся на организме государства и страны, а в естественном замещении мирным путем нынешнего правителя другим более способным монархом. Вероятно, я вас очень удивлю, — добавил, улыбаясь, лицензиат, — если выскажу вам мое представление об идеальном монархе; мы, кабинетные ученые, не предназначаем себя в настоящее время для активной службы одному какому-нибудь народу, потому что новые пути, проводимые нами в жизнь, еще не согласуются с настоящей действительностью, а потому я не желал бы видеть на троне ученого, но я желал бы видеть такого подле трона в качестве постоянного советника. Я предложил бы государя со средними умственными способностями, но живого, восприимчивого и чуткого, не столь глубокомысленного, сколько догадливого и сметливого; человека с приятной, предупредительной манерой, приветливого, ласкового и обаятельного, обладающего одновременно способностью внушать к себе любовь и повиновение, умеющего и повелевать и завлекать. Все это время, с того момента, как вы вошли, я не переставал наблюдать вас, и вот, что я вам скажу, сударь мой: будь я гражданином Грюневальда, я молил бы небо, чтобы оно вручило правление этой страной именно вот такому человеку, как вы!

— Черт возьми, я уверен, что вы бы это сделали! — воскликнул принц, смеясь.

И лицензиат тоже сердечно рассмеялся.

— Я полагал, что я вас этим очень удивлю, — сказал он. — Заметьте, что это отнюдь не общераспространенный взгляд, во всяком случае не взгляд большинства.

— О, конечно, нет! Могу вам это подтвердить, — сказал Отто.

— По крайней мере не в настоящее время, — подчеркнул молодой ученый; но настанет час, когда эти идеи в свою очередь возьмут верх и станут преобладающими, за это я вам ручаюсь!

— В этом я позволю себе усомниться, — сказал принц.

— Скромность, конечно, всегда достойна похвалы, — прохихикал теоретик, — но могу вас уверить, что такой человек, как вы, имея постоянно под рукой такого человека как, ну скажем для примера — доктор Готтхольд, — был бы во всех отношениях идеальный правитель для любой страны.

Таким образом, время шло довольно незаметно и не без приятности для Отто, но, к сожалению, лицензиат решил почивать в Бекштейне, в той гостинице, где он находился, потому что был чувствителен к тряске на седле и пристрастен к частым остановкам. В качестве конвоя или попутчиков до Миттвальдена принцу приходилось удовольствоваться обществом компании лесопромышленников, прибывших сюда из разных концов Германии и шумно угощавшихся здесь же за крайним столом, в конце горницы.

Уже совсем стемнело, когда они выехали из ворот гостиницы; принц хотел только одного, — уйти от своих собственных мыслей, и потому предпочитал какое угодно общество полному одиночеству. Лесоторговцы были весьма шумны и веселы; у всех у них были лица, напоминавшие луну во время полнолуния; они шлепали по крупам коней ближайшего соседа, и, хотя все это были пожилые люди, баловались и забавлялись между собой, как парнишки, под влиянием выпитого пива и вина; они пели песни то по одиночке, то хором, то совершенно забывали о своем спутнике, то вдруг вспоминали о нем, и благодаря этому Отто совмещал общество с одиночеством; он то слушал их нестройные песни и несвязный бессодержательный разговор, то прислушивался к тихим звукам словно зачарованного леса. Звездный полумрак ночи, наполненный ароматами воздух леса, звук копыт скачущих лошадей, — все это вместе сливалось в один общий аккорд настроения, действующего успокоительно на его нервы. Он чувствовал себя совершенно благодушно настроенным и

уравновешенным, когда вся маленькая кавалькада выехала на вершину холма, с которого открывался вид на Миттвальден.

Там внизу, в котловине, поросшей лесом, светились огни города, расположенные правильным рисунком скрещивающихся и пересекающихся улиц; несколько в стороне, вправо, совершенно отдельно светился дворец как какая-нибудь фабрика.

Один из лесопромышленников был уроженец Грюневальда, но Отто он в лицо не знал.

— А это, — сказал он, указывая своим хлыстом на дворец, — это корчма Иезавели!

— Как вы назвали это здание? — с громким смехом переспросил его другой.

— Да так оно и зовется! — ответил грюневальдец. — А вот послушайте и песенку, что о ней поется, — добавил он и запел полупьяным сиплым голосом песню, которую дружно стали подтягивать и остальные, тоже, по-видимому, уже раньше слыхавшие ее, образуя громкий разноголосый хор.

Героинею этой песни являлась ее светлость Амалия Серафина принцесса Грюневальдская, а героем постыдной баллады являлся Гондремарк. Краска стыда бросилась в лицо Отто, а в ушах его болезненно раздавались оскорбительные, позорящие его честь слова песни; он резко осадил коня и остался стоять на месте, сидя в седле, как будто его оглушили ударом по голове, в то время как спутники его, продолжая горланить свою песню, уже спускались с горы без него.

Песня эта пелась на крикливый и наглый народный мотив, и еще долго после того, как слова песни перестали слышаться, каданс напева ее все еще звучал в ушах принца. Он хотел бы бежать от этих звуков, но звуки эти преследовали его. Сейчас вправо от него пролегала дорога, ведущая прямо ко дворцу через густолиственные тенистые аллеи старого парка, и он поехал этой дорогой. В жаркое летнее время после полудня этот парк бывал модным местом, где встречались друг с другом местные бюргеры и двор и обменивались взаимными поклонами, но в этот ночной час здесь было темно и безлюдно; только птицы, гнездившиеся на деревьях, не покинули парка, но и те притихли теперь; только зайцы продирались в чаще, шелестя кустами, да там и сям, точно привидения, стояли белые статуи, застывшие в своей неизменной позе; пробуждалось чуткое эхо в каком-нибудь

павильоне, являющемся подражанием языческому храму, и, вторя звуку копыт, заставляло нервно вздрагивать пугливую кобылу принца. В десять минут Отто доехал до заднего конца своего интимного дворцового сада, куда выходили конюшни и службы, и выехал на мост, ведущий в парк. Часы во дворе били десять, и большие башенные часы на одной из башен дворца вторили им; там дальше, в самом городе, на городской ратуше и церковных колокольнях тоже били часы. Здесь, у конюшен, все было тихо, слышался только топот коней в конюшне и лязг цепей у привязей. Принц соскочил на землю, и вдруг ему вспомнились слухи о вороватых грумах и конюхах, некогда дошедшие до него и затем давно позабытые, о грумах, крадущих его овес и продающих по дешевой цене, и при этом воспоминании он перешел мост, ведя под уздцы своего коня, подошел к одному из окон, в котором еще виднелся огонь в флигеле, занимаемом конюхами, и постучал шесть или семь раз равномерными ударами с особой расстановкой, лукаво улыбаясь про себя. На его стук почти сейчас же открыли форточку, и из нее высунулась чья-то мужская голова.

— Сегодня нет ничего, — проговорил таинственно голос.

— Принеси фонарь, — сказал принц.

— Господи Боже милостивый... да кто же это?! — воскликнул грум.

— Это я, принц Отто, — отозвался принц. — Принеси фонарь, уведи мою лошадь ипусти меня в калитку сада.

Но злополучный грум стоял, не трогаясь с места и, не издав ни звука, продолжал держать голову высунутой в форточку.

— Его высочество! — пролепетал он наконец. — Почему ваше высочество изволили так странно стучать? — осмелился он спросить.

— Почему? Потому что здесь, в Миттвальдене, существует поверье, что это удешевляет цену на овес, — сказал Отто.

Грум издал какой-то звук, похожий на рыдание, и скрылся. Когда он вернулся с фонарем, то даже при свете бледность его бросалась в глаза, и руки его сильно дрожали, когда он распутывал поводья, чтобы отвести лошадь в конюшню.

— Ваше высочество, — начал он снова молящим голосом, — Бога ради... — и он не договорил, подавленный сознанием своей вины.

— Бога ради, что? — спросил весело Отто. — Бога ради позвольте нам дешево продавать овес?.. Да?.. Ну, а пока покойной ночи! —

сказал он и, приперев за собой калитку, пошел садом ко дворцу, оставив грума совершенно ошеломленным и недоумевающим.

Сад в этом месте спускался рядом каменных террас к рыбному пруду, а по ту сторону его снова подымался полого кверху, где над купами кустов и деревьев возвышались крыши и башни дворца. Украшенный колоннами фасад, бальные залы и громадная библиотека, а также и апартаменты их высочеств с высокими, ярко освещенными окнами, были обращены в сторону города и выходили на большую дворцовую площадь, сюда же в сад выходила старинная часть здания с небольшими окошками, и весь этот фасад тонул во мраке; только кое-где в разных этажах скромно светились несколько окошек. Сюда выходила и высокая старая башня дворца, суживавшаяся кверху с каждым этажом, наподобие огромного телескопа, и на ее верхушке неподвижно висел на высоком флагштоке большой флаг, казавшийся теперь черным. Сад тонул во мраке, только на лужайках звездный свет проливал свое трепетное сияние; в воздухе пахло дикими фиалками, и кусты как будто толпились под темными арками высоких деревьев. По правильно распланированным террасам и вниз по мраморным ступеням лестниц быстро сбегал принц, как бы убегая от своих собственных мыслей. Но увы, от них он нигде не мог укрыться, нигде не мог найти спасения. И теперь, когда он был уже на половине спуска, до него стали доноситься порывами отдаленные звуки танцевальной музыки из большого бального зала, где теперь веселился двор. Звуки музыки доносились сюда слабыми обрывками мотивов, но они будили в нем воспоминания, и между этими звуками бальной музыки, заглушая ее по временам, в его ушах звучали звуки той возмутительной песни лесоторговцев. И вдруг у него на душе стало так беспросветно темно, так горько, что он на мгновение остановился и не знал, идти ли ему дальше или нет. Вот он возвращается домой; жена его танцует, а он, муж, шутил злую шутку со слугой и все как будто благополучно, а между тем, они успели стать притчей во языцех для своих подданных, и никто не обратится к нему не только с любовью, но даже и с уважением! Такой принц, такой муж, такой человек, как этот Отто! И он невольно ускорил шаги, словно хотел укрыться от всех этих упреков за крепкими стенами своего дворца.

Несколько ниже он наткнулся на часового, но тот его пропустил, не заметив его. Зато еще немного дальше другой часовой его окликнул; а

когда он переходил мост, перекинутый через рыбный пруд, офицер, обходивший караулы, еще раз остановил его. Ему показалось, что видимость караульной службы была на этот раз более подчеркнутая, чем обыкновенно, но всякое чувство любопытства совершенно умерло теперь в его душе и все эти задержки только раздражали его. Сторож у заднего входа дворца пропустил его и, по-видимому, был удивлен, увидя его столь расстроенным; но принц торопливо взбежал по черной лестнице и по задним коридорам и ходам добрался никем незамеченный до своей спальни. Здесь он сбросил с себя платье и бросился на постель, не зажигая огня. А бальная музыка продолжала играть в веселом живом, темпе, и за этими звуками ему все еще продолжали слышаться звуки ненавистой песни лесоторговцев и стук копыт их коней, спускавшихся под гору.

ЧАСТЬ II. О ЛЮБВИ И ПОЛИТИКЕ

I. О том, что произошло в библиотеке

На следующее утро, без четверти шесть, доктор Готтхольд уже сидел за своим бюро в библиотеке; подле него стояла чашка черного кофе, а взгляд его блуждал временами по бюстам писателей, украшавшим библиотеку, и по корешкам бесчисленных книг, в остальное же время он внимательно просматривал то, что было написано им накануне. Это был человек лет сорока, со светлыми, как лен, волосами, тонким, несколько истомленным лицом и умным, блестящим, но несколько потускневшим взглядом. Ложась рано и вставая рано, он посвящал свою жизнь двум вещам: эрудиции, т. е. науке, и рейнвейну. Между ним и Отто существовала старинная тайная дружба; они редко встречались, но когда это случалось, всегда встречались, как старые близкие друзья. Готтхольд, девственный служитель и жрец науки, завидовал своему двоюродному брату всего в продолжение каких-нибудь полусуток, — в тот день, когда тот женился, но никогда не завидовал его престолу, его положению и его привилегиям.

Чтение было весьма малопринятое при местном Грюневальдском дворе развлечение, а потому длинная, широкая, светлая, залитая солнцем галерея, уставленная бесчисленными шкафами и полками книг и бюстами великих людей, именовавшаяся дворцовой библиотекой, в сущности была частным рабочим кабинетом доктора Готтхольда, где ему никто никогда не мешал. Но в среду утром недолго ему пришлось посидеть над своими манускриптами, так как едва он успел углубиться в свою работу, как отворилась дверь, и в библиотеку вошел принц Отто. Доктор смотрел на него в то время, как он шел по длинной зале, и лучи солнца, падая в каждое из высоких сводчатых окон, поочередно обдавали его своим светом и сиянием. Отто казался таким веселым, походка его была такая легкая, красивая, одет он был так безукоризненно, так вылощен, вычищен, изящно причесан, весь такой показной, такой царственно элегантен, что в душе его кузена-отшельника даже шевельнулось какое-то враждебное чувство к этой изящной кукле.

— С добрым утром, Готтхольд, — сказал Отто, опускаясь в кресло подле рабочего стола доктора.

— С добрым утром, Отто, — ответил библиотекарь, — я не подозревал, что ты такая ранняя пташка. Что это, случайность, или же ты начинаешь исправляться?

— Пора бы, кажется, — ответил принц.

— Не могу тебе ничего сказать на это, — отозвался доктор, — я и слишком большой скептик, чтобы давать этические советы, а что касается благих намерений, то в них я верил только, когда был очень молод; ведь они обыкновенно бывают цвета радужной надежды.

— Если обсудить хорошенько, — сказал Отто, преследуя свою мысль, — я не популярный монарх, — при этом он взглянул в окно и спросил: — ведь так? Не популярный?

— Не популярный? — повторил за ним доктор. — Ну, тут я делаю некоторое различие. Видишь ли, по-моему, есть несколько видов популярности, — при этом он откинулся на спинку своего кресла и свел руки так, что концы пальцев одной руки коснулись концов пальцев другой — во-первых, есть книжная популярность, совершенно безличная и столь же нереальная, как ночной кошмар или видение; затем, есть политическая популярность; это нечто смешанное, и, наконец, есть твоя популярность — самая личная из всех, и самая реальная! В тебя влюбляются все женщины, ты всем им нравишься, тебя боготворят все твои конюхи и лакеи. Зная тебя сколько-нибудь, любить тебя так же естественно, как естественно приласкать хорошенькую комнатную собачку, видя ее подле себя. Если бы ты был хозяином лесопильного завода или трактирщиком, ты, наверное, был бы самым популярным гражданином в целом Грюневальде; но как принц ты, конечно, идешь не той дорогой, и то, что ты и сам это сознаешь, вероятно, достойно одобрения.

— Ты полагаешь, что это достойно одобрения? — спросил Отто.

— Да, вероятно, во всяком случае это по-философски.

— По-философски, но не по-геройски! — заметил Отто.

— Ну, как тебе сказать? Сознать свои ошибки, — это, пожалуй, своего рода героизм; но все же это не совсем то, что называлось геройским поступком у доблестных римлян, — усмехнулся доктор.

Принц Отто придвинул свое кресло ближе к столу и, опершись на него обеими локтями, уставился пристальным взглядом прямо в лицо доктора.

— Короче говоря, — спросил он, — ты хочешь сказать, что этого мало, что это еще не геройство?

— Ну, пожалуй, — согласился после некоторого колебания доктор Готтхольд, — если хочешь, да, это еще не геройство. Но ведь ты, кажется, никогда и не претендовал на это, никогда не старался выдавать себя за героя, и это именно та черта, которая мне особенно нравилась в тебе; то, чем я склонен был любоваться в тебе, именно это полное отсутствие в тебе всякого рода претензий. Дело в том, что сами названия различных добродетелей и достоинств звучат настолько заманчиво для большинства людей, что почти все мы пытаемся заявить свое право на обладание ими и стараемся уверить себя и других, что мы совмещаем в себе большинство, если не все, как бы противоречивы они ни были по отношению друг к другу. Почти все мы хотим непременно быть одновременно и отважны, и осторожны, и одновременно похваливаемся и своей гордостью, и своей скромностью и смирением. Почти все, но только не ты! Ты всегда без всяких компромиссов оставался самим собой, и это было прекрасно! Это отрадно было видеть, и я всегда говорил: «нет человека, более чуждого всякого рода претензий, чем Отто».

— И претензий, и условий! — воскликнул принц. — Я всегда был менее причастен к жизни, чем дохлая собака в своей будке! Но теперь я должен решить вопрос: может ли из меня при большом усилии и самоотречении выйти хотя бы только терпимый правитель и монарх? Да или нет?

— Никогда! — воскликнул доктор. — Брось ты совсем эту мысль! Да и кроме того, ведь ты же никогда не сделаешь этого большого усилия, дитя мое!

— Нет, Готтхольд, на этот раз ты от меня так легко не отвертишься, — сказал Отто; — пойми, что если я органически, по самому существу своему, не пригоден быть государем, то какое же право я имею на эти деньги, дворец, содержание и стражу? Ведь если так, то я чуть не вор! И могу ли я после того применять к другим людям карающий их проступки закон?

— Да-а... я не могу не признать в этом некоторой затруднительности твоего положения, — сказал Готтхольд. — Но ведь все это дело привычки, все это давно вошло в обычай...

— Но разве я не могу постараться стать настоящим правителем этой страны? Разве я не обязан хотя бы попытаться? И при твоём содействии, руководствуясь твоими разумными советами...

— Моими советами?! Что ты, Бог с тобой, Отто! — воскликнул доктор. — Боже упаси!

И хотя принцу Отто было теперь вовсе не до смеха, он все же улыбнулся и, смеясь, возразил:

— А вообрази себе, меня вчера уверяли, что такой человек, как я, в дружественном союзе с таким человеком, как ты, в качестве советника, могли бы вдвоем составить весьма удовлетворительное правительство.

— Нет, воля твоя, я не могу себе представить, в каком расстроенном воображении могла возникнуть и родиться на свет подобная нелепая, чудовищная мысль!

— Она родилась у одного из твоих братьев писателей, у некоего Редерера! — сказал Отто.

— Редерер! Этот молокосос, этот невежда!

— Ты неблагодарен, мой друг, — заметил принц. — Он один из твоих горячих и убежденных поклонников и ценителей.

— В самом деле? — воскликнул Готтхольд, видимо, обрадованный. — Во всяком случае, это хорошо рекомендует этого молодого человека; надо будет перечитать еще раз его галиматью. Это тем более делает ему честь, что наши взгляды диаметрально противоположны. Неужели мне удалось его переубедить! Но нет, это было бы положительно сказочно!

— Значит, ты не сторонник единовластия? — спросил принц.

— Я? Прости Господи, да никогда в жизни! — воскликнул Готтхольд. — Я красный! Я ярый красный, дитя мое!

— Превосходно! Это приводит меня как раз к моему очередному вопросу самым естественным путем. Если я так несомненно непригоден для своей роли, если не только мои враги, но и мои друзья тоже с этим согласны, если мои подданные требуют и желают моего низвержения, — сказал принц, — если в самый этот момент готовится революция, то не должен ли я выступить вперед и идти навстречу неизбежному? Не должен ли я избавить мою страну от всех этих ужасов и положить конец всем этим нелепицам и бессмыслицам? Словом, не лучше ли мне отречься от престола теперь же? О, поверь мне, — продолжал принц, — я слишком хорошо сознаю и чувствую

всю смешную сторону, всю бесполезность громких слов, — добавил он, болезненно морщась. — Но пойми, что даже и такой принц, как я, не может покорно ждать своей участи, что и у него есть непреодолимая потребность сделать красивый жест, выступить вперед, встретить опасность или угрозу грудью, с открытыми глазами, а не выжидать ее, прячась за углом. Отречение, добровольное отречение, это все же лучше низвержения.

— Да какая муха тебя сегодня укусила? — сказал Готтхольд. — Неужели ты не понимаешь, что ты грешной рукой касаешься святая святых философии — «святилища безумия!» Да, Отто, безумия, потому что в пресветлом храме мудрости высшее святилище, которое мы держим сокрытым под семью замками, полно паутины! Не ты один, а все люди, все решительно, совершенно бесполезны! Природа и жизнь теряют их, но не нуждаются в них, даже не пользуются ими; все это бесплодный пустоцвет! Все, вплоть до парня, работающего в лесу, все совершенно бесполезны! Все мы вьем веревки из песка и, как дети,дохнувшие на оконное стекло, пишем и стираем ненужные пустые слова! Так не будем же больше говорить об этом. Я уже сказал тебе, что отсюда недалеко до безумия.

Готтхольд поднялся со своего места и затем снова сел. Засмеявшись коротким, сухим смешком, он снова заговорил, но уже совершенно другим тоном:

— Верь мне, дитя мое, мы живем здесь на земле не для того, чтобы вступать в бой с гигантами, а для того, чтобы быть счастливыми, кто может, как пестрые цветики на лугу, радующиеся солнцу и росе, и ветерку, и дождю. Ты мог это, и потому, что ты умел быть счастливым, я втайне любовался тобой, восхищался тобой и радовался за тебя; продолжай же быть счастливым в своей беззаботности и ты будешь прав! Иди своим путем, твой путь настоящий, поверь мне. Будь весел, будь счастлив, будь празден, будь легкомыслен и отправь всю казуистику к черту! А государство свое и государственные дела предоставь Гондремарку, как ты это делал до сих пор. Он управлялся с ними довольно хорошо, как говорят, и его тщеславию льстит такая ответственность.

— Готтхольд! — воскликнул принц. — Что мне до всего этого? Не в том вопрос, могу ли я быть полезен или бесполезен, как все люди, а дело в том, что я не могу успокоиться от сознания своей

беспольности. У меня только один выбор: я должен быть полезен или быть вреден — одно из двух! Я с тобой согласен, что княжеский титул мой и самое княжество мое — чистый абсурд, одна сплошная сатира на правителя, правительство и государство, и что какой-нибудь банкир или содержатель гостиницы несет более серьезные обязанности, чем я; пусть так. Но вот когда я умыл руки от всех этих дел три года тому назад и предоставил все дела и всю ответственность, всю честь, а также и все радости правления, если таковые существуют, Гондремарку и Серафине, — он с минуту не решался произнести ее имени, а Готтхольд в это время как бы случайно отвернулся и смотрел в сторону, — так что из этого вышло? Налоги! Армия! Пушки! Да ведь все то княжество похоже на коробочку оловянных солдатиков! А народ совсем обезумел, совсем голову потерял, поджигаемый ложью и несправедливыми клеветами. Даже носятся слухи о войне!.. Война, в этом чайнике, подумай только! Какое страшное сплетение нелепиц и позора! И когда наступит неизбежный конец — революция, то кто будет отвечать за все это перед Богом? Кто будет позорно казнен общественным мнением современников и истории? Кто? Я! Принц-марионетка!

— Мне казалось, что ты всегда пренебрегал общественным мнением, — заметил доктор Готтхольд.

— Да, я им пренебрегал, — мрачно ответил Отто, но — теперь я не пренебрегаю больше. Я становлюсь стар. И, кроме того, тут идет речь о Серафине, Готтхольд. Ее так ненавидят, так презирают здесь в Грюневальде, куда я ее привез, и где позволил ей хозяйничать. Я предоставил ей это маленькое княжество, как игрушку, и она сломала ее, эту маленькую игрушку! Прекрасный принц и прелестная принцесса! Теперь я спрашиваю тебя: в безопасности ли даже самая ее жизнь?

— Сегодня она еще в безопасности, — ответил доктор, — но если ты спрашиваешь меня об этом серьезно, то я скажу тебе, что за завтра я не поручусь. У нее дурные советники.

— А кто они, эти дурные советники? Этот Гондремарк, которому ты предлагаешь мне предоставить эту страну! — воскликнул принц. — Мудрый совет, нечего сказать. Вот тот путь, по которому я шел все эти три последние года, и вот к чему он нас привел. Дурные советники! О, если бы только это одно! Но к чему нам играть друг с другом в прятки,

ты ведь знаешь, что о ней говорит молва? Ты знаешь, что это за скандал!

Готтхольд молча кивнул утвердительно головой, плотно сжав губы и нахмутив брови.

— Ну вот, ты не особенно восторженного мнения о моем поведении, как принца и главы государства, но скажи, исполнял ли я свой долг и обязанности, как муж? — спросил мрачно Отто.

— Нет, нет, уволь меня от этого! — горячо и мрачно запротестовал Готтхольд. — Как правитель, ты можешь быть подвергнут критике; это вопрос общественный, и это совсем другое дело. Я старый холостяк, монах, в супружеских делах я не советчик. Об этом я судить не могу!

— Да я и не нуждаюсь в совете, — сказал Отто, вставая, — я решительно говорю, что всему этому надо положить конец! — И он стал ходить большими шагами взад и вперед по комнате, заложив руки за спину.

— Ну, что же, Отто, помоги тебе Бог! — сказал Готтхольд после довольно продолжительного молчания. — А я ничего не могу, — добавил он, подавляя вздох.

— И что всему этому причиной? — снова заговорил принц, прерывая свое хождение. — Как мне назвать это? Недоверие к себе? Отсутствие веры в себя и в свои силы? Или страх быть смешным? Или ложная гордость, ложное самолюбие? Впрочем, дело не в названии, не все ли равно! Дело в том, что оно привело меня к тому, перед чем я теперь стою, едва смея поверить себе, своим глазам и своим ушам. Мне всегда было ненавистно суетиться, хлопотать и хорохориться по пустякам, это казалось мне смешным; я всегда стыдился моего игрушечного государства; я не мог примириться с мыслью, что люди могли себе вообразить, что я серьезно верил такому очевидному абсурду! Я не хотел ничего делать такого, что нельзя было делать с усмешкой, у меня было врожденное чувство юмора, мне казалось, что я должен был все понимать и все знать лучше других. То же самое было и с моим браком, — добавил он несколько более хриплым голосом, — я не поверил, что эта девушка могла любить меня, и я не захотел навязывать себя ей; я щеголял своим равнодушием! Что за жалкая картина!

— Э, да у нас с тобой несомненно родственная кровь, как я вижу, — вставил свое рассуждение доктор. — Ты здесь сейчас

нарисовал меткими чертами образ и характер прирожденного скептика, такого же, каков в душе и я.

— Скептика? Нет, труса! — крикнул Отто. — Малодушного труса! Вот как это называется.

И в тот момент, когда принц выкрикнул эти последние слова с необычайной силой выражения, маленький толстенький старичок, отворивший дверь за спиной доктора, так и застыл на пороге от испуга и неожиданности. С носом наподобие клюва попугая, с плотно сжатыми узкими губами, маленькими выпученными глазками, он казался воплощением формалистики, и в обычных условиях, следуя строго предписаниям своей корпорации, он производил известное впечатление своим видом замороженной мудрости и внушительной строгости в связи с чувством собственного достоинства, но при малейшем нарушении обычного порядка, он терялся, руки его начинали дрожать, голос тоже, и в каждом его жесте и движении сказывалась его жалкая беспомощность. А потому теперь, когда его здесь, в библиотеке Миттвальденского дворца, где обычно царил гробовая тишина и молчание, озадачила бурная речь принца, обращенная, правда, не к нему, он весь затрясся, вскинул руки вверх, как подстреленный, и вскрикнул от испуга, как старая женщина.

— О, ваше высочество! Приношу тысячу извинений. Но присутствие вашего высочества здесь, в такое раннее время, в библиотеке!.. Столь необычайного случая я никак не мог предвидеть, ваше высочество, никак не мог ожидать.

— Успокойтесь, господин канцлер, — сказал Отто, — ведь ничего особенного не случилось. Беды в том нет, что вы вошли сюда.

— Я зашел по делу всего на одну минуту; я оставил здесь у доктора вчера вечером кое-какие бумаги, — сказал канцлер Грюневальда. — Если господин доктор соблаговолит дать их мне, то я не буду долее досаждать вашему высочеству своим присутствием.

Готтхольд отпер один из ящичков своего бюро и, достав из него сверток рукописей, вручил его канцлеру, который собирался уже уйти, предварительно откланявшись с надлежащими церемониями, предписанными этикетом двора, когда принц остановил его.

— Раз уж случай столкнул нас, господин Грейзенгезанг, — сказал Отто, — воспользуемся им, чтобы поговорить.

— Я весьма польщен этой милостью вашего высочества, — залепетал искательно канцлер, — извольте приказывать!

— Прежде всего, скажите мне, все здесь было спокойно со времени моего отъезда? — спросил Отто, снова усаживаясь в свое кресло.

— Шли обычные дела, ваше высочество, — ответил Грейзенгезанг, — повседневные мелочи, весьма важные, если их упустить из виду, но совершенно незначительные, раз они приняты к сведению! У вашего высочества, благодарение Богу, усердные и ревностные слуги, свято вам повинующиеся.

— Повинующиеся? Что вы говорите, господин канцлер? — возразил принц — Да разве я когда-нибудь достаивал вас каким-нибудь приказанием? Уж скажите лучше, что эти ревностные слуги любезно замещают меня, это будет более походить на правду. Но, заговорив об этих повседневных мелочах, будьте любезны указать мне на некоторые из них, так, для примера.

— Да все это правительственная рутина, ваше высочество, от которой ваше высочество так разумно оградили свое время отдохновения, свои свободные часы... — начал было уклончиво Грейзенгезанг.

— Ну, мы пока не станем говорить о моем времени отдохновения и о моих свободных часах, господин канцлер, — сказал Отто, заметно хмурясь. — Потрудитесь перейти к фактам.

— Все обычные дела шли своим чередом, — продолжал сановник, видимо, встревоженный и оробевший.

— Положительно странно, господин канцлер, что вы так упорно избегаете отвечать на мои вопросы, — сказал принц, глядя на старика строго, почти гневно. — Вы вынуждаете меня предположить с вашей стороны известный умысел в вашей странной медлительности и туманности ваших слов. Я вас спросил, все ли здесь было спокойно в моем отсутствии, сделайте одолжение, потрудитесь ответить мне на этот вопрос.

— Совершенно спокойно, ваше высочество... о, совершенно спокойно! — выпалила старая придворная марионетка эту явную ложь.

— Я это запомню, господин канцлер, — сухо промолвил принц. — Итак, вы заверяете вашего государя, что со времени его отъезда здесь не случилось ничего такого, о чем вы должны были бы донести мне и о чем мне следовало бы быть осведомленным. Превосходно!

— Призываю ваше высочество и господина доктора в свидетели, что ничего подобного я не говорил! — воскликнул Грейзенгезанг. — Подобных выражений я не употреблял.

— Пойдите! — сказал принц и, минуту помолчав, продолжал: — Господин Грейзенгезанг, вы человек старый, вы много лет служили моему покойному отцу, прежде чем стали служить мне, и мне кажется совершенно несовместимым с чувством вашего достоинства и уважения к моей особе бормотать какие-то извинения и поминутно наткаться на ложь, как вы это сейчас делаете. Соберитесь с мыслями и затем сообщите мне ясно и категорически обо всем, что вам поручили скрыть от меня.

Готтхольд тем временем низко склонился над своим столом и, казалось, погрузился весь в свою работу, но временами плечи его приподнимались и колыхались, как от подавленного смеха. Принц Отто сидел спокойно, пропуская между пальцами кончик своего тонкого платка и терпеливо ждал.

— Ваше высочество, — начал старый канцлер, — я, право, не умею и не знаю, как вам изложить, так, своими словами, без всяких документов, на которые я мог бы сослаться или опереться, те, в некотором роде важные события, которые выяснились в эти последние дни. Я положительно затрудняюсь... для меня это совершенно невозможно, поверьте мне, ваше высочество, это выше моих способностей.

— Пусть так, — сказал принц, — я не стану осуждать ваш образ действий; я желаю сохранить между нами мирные, дружелюбные отношения, потому что я не забыл, что вы мой старый слуга, что с самых юных дней моих вы всегда хорошо относились ко мне, и затем, в течение нескольких лет верно служили мне. Помня все это, я готов оставить этот вопрос, на который вы так упорно уклоняетесь дать мне немедленный ответ, до другого времени. Но сейчас в ваших руках бумаги, и я полагаю, что вы, господин Грейзенгезанг, не можете отказать мне в разъяснении сути и содержания их.

— О, ваше высочество, — воскликнул старый канцлер, — это совершенно пустое дело, это в сущности просто полицейское дело, и дело чисто административного порядка, ничего общего с государственными делами не имеющее... Это бумаги конфискованные, то есть, отобранные у одного английского путешественника.

— Отобранные? — спросил Отто. — Каким это образом? Объясните, сделайте милость!

— Вчера вечером сэр Джон Кребтри был арестован, — подняв голову от своей работы, сказал Готтхольд.

— Верно это, господин канцлер? — спросил Отто, мрачно сдвинув брови. — Почему же вы не доложили мне об этом?

— Такая мера признана была необходимой, — уклончиво подтвердил Грейзенгезанг. — Приказ об аресте был формальный, скрепленный на основании полномочий, данных вашим высочеством, вашей властью и вашим именем. Я же в данном случае являлся только подначальным лицом и не имел полномочий препятствовать приведению в исполнение этого распоряжения.

— И мой гость был арестован? А что могло послужить поводом к этому аресту? Под каким предлогом прибегли к подобной мере? Потрудитесь ответить!

Грейзенгезанг мялся.

— Может быть, ваше высочество, найдете ответ в этих бумагах, — заметил Готтхольд, указывая концом ручки своего пера, на сверток в руках канцлера.

Отто взглядом поблагодарил кузена.

— Дайте мне эти бумаги! — приказал он, обращаясь к канцлеру, глядя на него строго и серьезно.

Но старый царедворец, видимо, колебался и не желал исполнить приказания своего государя.

— Барон фон Гондремарк, — начал он, — взял все это дело в свои руки и принял на себя всю ответственность за него. Я в данном случае не более как посланный и в качестве такового не облечен властью передать эти бумаги другому лицу. Эти документы доверены мне... я не вправе нарушить это доверие. Господин доктор, я убежден, что вы не откажетесь выручить меня в данном случае, и вы поддержите меня, не правда ли? Право, я не знаю... но я не имею на то разрешения.

— Признаюсь, я слышал много глупостей на своем веку, господин канцлер, — сказал Готтхольд, — и большую часть из них от вас. Но эта превосходит все остальные!

— Довольно, сударь! — крикнул Отто, встав со своего места и выпрямившись во весь рост. — Дайте сюда эти бумаги. Я вам

приказываю!

Канцлер покорно протянул принцу сверток.

— С милостивого разрешения вашего высочества, — залепетал канцлер, — повергая к стопам вашим мои нижайшие верноподданнические извинения, я прошу позволения удалиться и буду ожидать дальнейших приказаний вашего высочества в государственной канцелярии, где меня ждут.

— Видите вы это кресло, господин канцлер? — спросил Отто. — Вот на нем вы будете ожидать дальнейших моих приказаний. А теперь, ни слова больше! — крикнул он, видя, что канцлер опять раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и властным жестом принц заставил его замереть на месте.

— Вы в достаточной мере доказали свое усердие тому господину, которому вы служите, а мое долготерпение начинает уже утомлять меня, тем более, что вы, господин канцлер, слишком злоупотребляете им!

Маленький старичок как будто совсем съежился; он покорно побрел к указанному ему креслу и, не подымая глаз от пола, молча сел, как ему было приказано.

— А теперь, — сказал Отто, развертывая сверток бумаг, — посмотрим, что это такое; если не ошибаюсь, это походит на рукопись книги.

— Да, — сказал Готтхольд, — это и есть рукопись будущей книги путевых впечатлений и наблюдений.

— Вы ее читали, доктор Гогенштоквитц? — спросил Отто.

— Нет, но я прочел заглавный лист, так как бумаги эти мне были переданы развернутыми и при этом никто мне не сказал, что они секретные или представляют собою чью-либо тайну.

— Так, — сказал принц, устремляя на канцлера строгий гневный взгляд. — Но я того мнения, что в наше время отбирать рукопись у автора, накладывать арест на частные бумаги путешественника в таком незначительном, маленьком государстве как Грюневальд положительно смешно и постыдно! Я очень поражен, господин канцлер, что вижу вас при исполнении столь неблагоприятной обязанности; снизойти до того, чтобы принять на себя роль сыщика, воля ваша, этого я от вас не ожидал! А как же иначе прикажете вы мне назвать этот ваш поступок? Я уже не говорю о вашем поведении по

отношению к вашему государю, это мы пока оставим в стороне, я только говорю об этих бумагах, которые вы позволили себе отобрать у английского джентльмена, бумагах, представляющих собой частную собственность путешествующего иностранца, быть может, труд всей его жизни! Отобрать, вскрыть и прочесть! Да какое нам с вами дело до них? Мы не имеем, слава Богу, *index expurgatorius* в Грюневальде; будь еще это, мы представляли бы собою полнейшую пародию на государство, настоящее фарсовое королевство, какого лучше не сыскать на всем земном шаре!

И, говоря это, Отто продолжал разворачивать рукопись, а когда она, наконец, лежала раскрытой перед ним, взгляд его упал на заглавный лист, на котором красными чернилами старательно были выписаны следующие слова:

«Записки о посещении разных европейских дворов
Баронета сэра
ДЖОНА КРЕБТРИ».

Далее следовал перечень глав; каждая из них носила название одного из государств современной Европы и в числе других девятнадцати и последняя по порядку глава была посвящена Грюневальдскому двору.

— А-а, Грюневальдский двор! — воскликнул Отто. — Это должно быть весьма забавное чтение.

Его любопытство было задето за живое, но он не решался дать ему волю.

— Этот методический старый пес, англичанин, добросовестно писал и заканчивал каждую главу на месте! — заметил Готтхольд. — Я непременно приобрету его книгу, как только она выйдет в свет.

— Интересно было бы заглянуть в нее сейчас, — промолвил Отто нерешительно.

Лицо Готтхольда заметно омрачилось, и он отвернулся и стал глядеть в окно.

Но Отто, хотя и понял этот молчаливый упрек доктора, все же не мог устоять против соблазна.

— Я полагаю, — сказал он, неестественно усмехнувшись, — я полагаю, что могу так, вскользь, взглянуть на эту главу.

И с этими словами он поудобнее придвинул кресло к столу и разложил на нем рукопись англичанина.

II. «О Грюневальдском дворе» — часть рукописи путешественника

«Невольно напрашивается вопрос (так начинал англичанин свою девятнадцатую главу), почему именно я остановил свой выбор на Грюневальдском дворе из числа такого великого множества столь же мелких, столь же бесцветных и развращенных дворов второстепенных и третьестепенных государей Европы. Случайность, скажу я, чистейшая случайность; это вовсе не я выбирал, за меня выбрал случай. Но я не имею ни малейшего основания сожалеть о случившемся, потому что видеть это маленькое общество, изнуряющее себя, истощающее последние свои соки во славу самообмана и своих заблуждений, было, не скажу поучительно, но в высшей степени забавно. Благополучно или, вернее, неблагополучно царствующий принц Отто-Иоганн-Фридрих, молодой человек, неудовлетворительно воспитанный, сомнительной храбрости или мужества и без малейшей искорки способностей, допустил себя до полного презрения в общественном мнении. Я с большим трудом мог добиться свидания с ним, потому что он очень часто отлучается из дворца и от двора, среди которого его присутствие и отсутствие остаются одинаково незамеченными, где его роль состоит исключительно в исполнении обязанностей ширм для амурных дел его супруги. Но, наконец, при третьем моем посещении дворца мне удалось застать этого государя при исполнении его постыдных обязанностей, с супругой по правую руку и любовником супруги по левую его руку. Он не дурен собой, можно даже сказать красив, имеет золотистые волосы, вьющиеся от природы, и при этом большие темные глаза — сочетание, которое, насколько я мог заметить, всегда является признаком какого-нибудь врожденного недостатка, физического или морального; черты лица его не строго правильные, но приятные и привлекательные; нос прямой, красивый, но, может быть, немного более короткий, чем бы следовало, а рот несколько женственный. Манера его одеваться безукоризненна, точно так же как и манера держать себя; обращение его весьма приятное и располагающее и говорить он умеет превосходно, выражаясь красиво, элегантно и с большой точностью. Но если

заглянуть глубже под всю эту внешность, то наткнешься на полное отсутствие всяких положительных качеств; это какая-то полнейшая моральная распущенность и легкомысленность и та характерная непоследовательность и неустойчивость в намерениях и действиях, которые являются отличительными чертами периода упадка.

Этот принц хватался бесцельно то за одно, то за другое, но ничего не доводил до конца; он ничем не овладел вполне. «Мне скоро надоедает всякое дело или занятие», сказал он мне, смеясь; и можно было подумать, что он как будто даже гордится своею неспособностью к чему бы то ни было и хвастает своим полным отсутствием настойчивости и решимости. Результаты его вялого дилетантизма сказываются во всем; он плохо фехтует, он неважный наездник, второстепенный танцор, слабый музыкант и посредственный, или во всяком случае не первоклассный стрелок. Он и поет, я имел даже случай слышать его, но поет как ребенок, хотя голос у него мягкий и красивый; кроме того он еще пишет скверные стихи на весьма подозрительном французском языке. Словом, нет конца всему тому, что этот человек делает, и при этом он ничего не делает хорошо или хотя бы удовлетворительно. Единственное достойное мужчины пристрастие его, это охота. Но в общей сложности это «plexus» бессилия; это поющая на сцене горничная, выряженная в мужское платье и посаженная на цирковую лошадь. Мне случалось видеть этот бледный призрак принца, когда он выезжал один или с несколькими егерями на охоту, не возбуждая решительно ничьего внимания, всеми незамеченный, никому неинтересный и никому ненужный, и, признаюсь, мне стало даже жаль этого беднягу, влачащего такую пустую, ненужную и печальную жизнь или, вернее, такое жалкое существование! Вероятно, последний из Меровингов походил на него.

Принцесса Амалия Серафина, происходящая из дома великих герцогов Тоггенбург-Таннгейзеров, была бы столь же незаметной и незначительной особой, если бы она не была режущим орудием в руках честолюбца-авантюриста. Она значительно моложе принца, своего супруга, — ей всего двадцать два года, — но она заражена честолюбием, полна претензий, поверхностно умна, а на самом деле в высшей мере безрассудна и неразумна. У нее слишком большие, ярко-карие, очень подвижные глаза на сравнительно миниатюрном личике; глаза искристые, живые и в то же время злые и свирепые, высокий,

лоб, гладкий и белый, как алебастр, и стройная, несколько сутуловатая фигура. Ее манеры и разговор, густо уснащенный французскими словами и выражениями, ее вкусы и склонности — все у нее кажется заимствованным; и эта деланность и неестественность ее слишком заметны; вся она, можно сказать, ходульна; это какая-то дешевенькая комедиантка, разыгрывающая Клеопатру! Я бы сказал, что эта женщина совершенно неспособна быть правдивой. В частной жизни такие девушки вносят горе и беспорядок в семью, нарушают мир и спокойствие в доме, таскают за собой целый хвост мрачных ухаживателей и неизбежно проходят в жизни через один или два развода; это в сущности весьма распространенный и весьма малоинтересный, кроме разве только для циников, тип женщин; но на троне такие женщины, да еще если они находятся в руках такого человека как Гондремарк, легко становятся причиной серьезных общественных бедствий.

Гондремарк — действительный правитель Грюневальда, более сложная фигура; положение его в этой несчастной стране, где он является чужеземцем, крайне ложное, и уже одно то, что он удерживает за собой это положение фактического правителя страны, является, так сказать, чудом ловкости и наглости. Его речь, его внешность и его политика, все в нем двулично; то хвостиком виляет, то головкой кивает, а разобраться, где у него хвост и где голова, положительно, нельзя. И надо иметь большую смелость для того, чтобы сказать, что вам вполне удалось разгадать изнанку этого человека. Но я рискну высказать мое предположение: мне кажется, что служа двум господам, т. е. и правительству, и народу в одно и то же время, он придерживается выжидательной политики, нащупывая почву и тут и там, и ждет, когда судьба или случай укажет ему легким, едва уловимым намеком, в какую сторону должны посыпаться дары фортуны — намеком столь понятным для людей рассудительных и ловких.

С одной стороны, в качестве министра двора при совершенно неосведомленном и ничем не интересующемся принце Отто, пользуясь, с другой стороны, алчущей любви принцессой как орудием и как уздой и обманывая народ, он держится политики неограниченной власти и территориального расширения. Он призвал на военную службу все способное носить оружие мужские население

страны; призвал обманом, лживой приманкой; он накупил вооружения, сманил десятки выдающихся офицеров из иностранных армий, суля им золотые горы, и начинает уже в своих международных отношениях принимать аллюры хвастливого выскочки и смутно угрожающий тон забияки фанфарона. Идея о расширении территориальных владений Грюневальда может казаться абсурдом со стороны, но на самом деле это маленькое княжество лежит крайне благоприятно; все его соседи совершенно беззащитны, и если бы в любой момент раздоры более крупных государств нейтрализовали друг друга, активная политика Грюневальда могла бы легко удвоить и утроить как объемы, так и население маленького княжества. Во всяком случае, в подобную схему верят и ее поддерживают при Миттвальденском дворе, и даже я, со своей стороны, не считаю нечто подобное совершенно невозможным. Ведь разрослось же маркграфство Бранденбург из такого же игрушечного государства в весьма грозную державу, и хотя теперь несколько поздно для политики авантюристической, если можно так выразиться, и времена войн как будто миновали, все же не следует забывать, что слепая фортуна вертит колесо судеб и отдельных личностей, и целых народов. Согласно с этими военными приготовлениями и как неизбежное их следствие, являются непосильные налоги, обременяющие население; газеты закрываются из опасения, что они могут раскрыть кое-кому глаза на истинное положение дел, и страна, которая всего каких-нибудь года три тому назад была богатой и счастливой страной, теперь изнывает в вынужденном бездействии; в промышленности и торговле наблюдается полный застой; золото стало здесь давно невиданной редкостью, а бесчисленные мельницы на бурливых горных потоках стоят неподвижно, как заколдованные.

Но с другой стороны, в качестве народного трибуна, этот самый Гондремарк является воплощением свободных идей; он восседает во главе тайных обществ, являясь центральной фигурой организованного грандиозного заговора против правительства. Ко всякого рода освободительным движениям я смолodu питаю симпатии, и я очень бы не хотел сознательно произнести такое слово, которое могло бы повредить, затруднить или хотя бы отсрочить момент революции, но чтобы доказать, что все высказанное мною выше не голословно, что я доподлинно знаю то, о чем говорю, а не передаю репортерские

сплетни, я могу сказать здесь о том, что я сам лично присутствовал на одном очень многочисленном митинге, где обсуждались подробности республиканского государственного строя, и могу добавить, что этот Гондремарк не только играет во всем этом первенствующую роль, но что и все ораторы без исключения постоянно упоминали о нем как о главе движения, как о предводителе и как о безапелляционном судье в их спорах и разногласиях. Очевидно, что этот ловкий господин внушил одуроченным им людям, что его сила сопротивления воле принцессы имеет свои пределы и в сущности не особенно велика, и что во многом он должен подчиняться ей; но с другой стороны, при каждом новом взрыве народного негодования против нового проявления самовластия он убеждает народ новыми вескими доводами отсрочить еще на некоторое время момент восстания.

Как образец его двуличной и коварной политики, я упомяну тот факт, что он благополучно вывернулся и вышел сух из воды сам, и спас правительство от гибели после декрета о продлении срока военной службы, успокоив умы тем, что для успешного приготовления восстания необходимо основательное обучение и знание военного дела, и что таким образом этот декрет только инструмент на пользу революции, с которой ни в коем случае не следует спешить. И в другой раз, когда вдруг распространится слух, что собираются вынудить на войну одного из мирных соседей, великое герцогство Герольштейн, и когда я был уверен, что этот слух вызовет разом всеобщее восстание в стране, я положительно онемел от удивления, убедившись, что даже этот слух был умышленно подготовлен, и что и с этим население Грюневальда должно было примириться. Я обошел всех видных представителей либеральной партии, и все они одинаково были одурочены этой историей, все они были выдрессированы, вымуштрованы и одурочены теми же пустыми и лживыми аргументами и изворотами; «молодежи полезно было бы повидать настоящие сражения, понюхать пороху, — говорили они, повторяя слова своего руководителя, — да и кроме того, отчего не захватить Герольштейн? Ведь это даст нам возможность распространить и на них, на наших исконных друзей и соседей, блага свободы и независимости, которые мы приобретем для себя, вырвав власть из рук нашего правительства, а затем, увеличенная таким образом в своем объеме и населении республика, станет тем сильнее, на случай

самообороны, если бы государи Европы задумали действовать заодно и захотели вновь поработить нас». И слушая их, я положительно не знал, чему мне следует более дивиться — простодушию ли толпы или наглости этого авантюриста! Но таковы те хитрости и каверзные ухищрения и извороты, которыми он дурачит, осмеивает и ведет за собой, как послушное стадо, этот бедный народ. Сколько времени можно идти столь извилистым путем лжи и обманов, я не берусь угадать и не могу сказать, долго ли можно рассчитывать на свою безопасность при таких условиях; надо бы думать, что недолго, а между тем, этот авантюрист плетет эту хитрую паутину, запутывая все ее нити вот уже целых пять лет, и при этом его положение при дворе и его популярность в народе все возрастает.

Я уже раньше был с ним несколько знаком. Тяжеловатый и грубоватый, даже, можно сказать, неуклюже сложенный, нескладный и развинченный, он умел когда нужно было, подтянуться, подбодриться и вызывать даже некоторое восхищение в бальной зале. Как цвет его лица, так и самый его характер были явно желчные; взгляд у него был мрачный, лицо в тех местах, где он бреет, имеет темно-синеватый оттенок. Его смело можно причислить к разряду человеконенавистников, к убежденным мизантропам, презирающих все человечество. Но это не мешает ему быть заурядным честолюбцем, жадным до похвал и одобрений. В разговоре он особенно жаден до всякого рода сведений, и вообще, предпочитает слушать и получать всякие сведения, чем давать их кому бы то ни было; кроме того, он отличается здоровыми и прочными взглядами, и если судить по крайней недалёковидности большинства дипломатов и политических деятелей, то и замечательной способностью предвидеть грядущие события. Но все это в нем проявлялось без малейшей привлекательности или приятности, как-то мрачно и угрюмо, как-то особенно тяжеловесно. Во время наших многократных бесед с ним, хотя он всегда слушал меня с вниманием и известной почтительностью, я все время ощущал какое-то давящее чувство неискренности, коварства и задней мысли с его стороны, становившееся для меня нередко положительно невыносимым. Ни в каком отношении он не производил впечатления джентльмена и барина: напротив того, в нем сказывалась постоянно грубая, некультурная натура. Лишенный не только всякой привлекательности и приятности, но даже и обычной внимательности

и теплоты чувств в своем обращении, он производил скорее невыгодное для себя впечатление на людей высшего круга. Не говоря уже о том, что ни один джентльмен никогда не стал бы так афишировать свои отношения с принцессой, как он постоянно это делает; а еще менее, платить принцу, за его долготерпение и сдержанность, тем умышленно дерзким, вызывающим поведением, какое он себе позволяет по отношению к этому злополучному монарху, для которого он измышляет самые оскорбительные прозвища вроде: «Пустоголовый Принц», «Принц Бездельник» и тому подобные, и которые он потом пускает в толпу, где они начинают переходить из уст в уста во всей стране. Таким образом, в Гондремарке проявляются в довольно грубой форме многие отличительные черты так называемого «self made man'a», т. е. человека, выбившегося на дорогу собственными усилиями, наряду с необычайным, можно сказать чрезмерным, почти смешным чванством своим умом и происхождением, которое, однако, весьма туманно. Тяжеловесный, желчный эгоист, невоздержанный, он угнетает этот двор и страну, высасывает их соки и давит их, как кошмар, который душит человека ночью. Однако, по всем вероятностям, у него имеются про запас, на случай надобностей, и более мягкое обхождение и более сладкие речи. Я скажу даже более: несомненно, что этот холодный, бездушный, грубый политик обладает в высокой степени даром вкрадываться в расположение и втираться в милость и привлекать на свою сторону симпатии, и умеет угодить каждому, если считает это нужным, — хотя на себе я этого не испытал. Эта способность вкрадываться в расположение и это умение быть льстивым и заискивать там, где это нужно, быть может, дало повод к случаям, что в своей интимной жизни этот человек бесстыдный, грубый сластолюбец. Впрочем, ничего не может быть более непонятного и необычайного, чем характер его отношений к молодой принцессе. Гораздо старше ее мужа, несомненно безобразнее его, и согласно общепринятой, надо сказать, довольно слабой женской оценке, во всех отношениях, менее привлекательный и менее располагающий в свою пользу, он не только всецело овладел всеми ее мыслями и чувствами, не только во всем заставляет ее думать и поступать согласно его желанию, но еще навлек на нее позор и унижение в общественном мнении, заставляет ее в глазах у целого двора и народа играть унижительную и оскорбительную роль. Я уже не

говорю о том, что она принесла ему в жертву до последней крохи свою репутацию, свое доброе имя, и честь порядочной женщины, потому что — увы! — для очень многих женщин такие жертвы сами по себе представляются чем-то упоительным, дающим им особое, быть может, горькое наслаждение, в котором они находят известное удовольствие, — я говорю здесь о другого рода унижении, оскорбительном и обидном для каждой женщины, кто бы она ни была. Дело в том, что при Грюневальдском дворе есть одна особа, пользующаяся самой дурной репутацией, некая фон Розен, жена или вдова какого-то фантастического графа, которого никто никогда не видал и не знал, женщина даже не второй уже молодости, утратившая часть своих прелестей, и эта женщина явно занимает положение любовницы барона Гондремарка. Вначале я думал, что она не более как наемная соучастница, служащая ширмой или буфером для охранения более высокопоставленной грешницы, но после нескольких часов знакомства с госпожой фон Розен я навсегда распростился с этим предположением. Это женщина такого сорта, которая скорее создаст скандал, чем станет способствовать предотвращению скандала, и, кроме того, эта женщина ни во что не ставит все то, чем можно пользоваться, как орудием для подкупа; деньги, почести, положение, влияние, все что могло побудить ее принять на себя подобную роль покровительницы чужой любви, не имеет цены в ее глазах; она убеждена, что все это само собой приложится к главному, и предпочитает грешить сама, вместо того, чтобы покрывать чужие грехи. Признаюсь откровенно, что эта графиня даже понравилась мне; это во всяком случае крупная фигура при этом мелком Грюневальдском дворе, где она является, по-видимому, единственным вполне естественным существом, гордым и самоуверенным.

Власть Гондремарка над принцессой положительно не имеет границ и предела! Она принесла в жертву этому человеку не только свой брачный обет и всякую даже малейшую частицу своего самоуважения и чувства приличия, но также и свою женскую стыдливость. Мало того, она подавила в угоду этому поработившему ее человеку даже и чувство ревности, которое для женского сердца дороже чем неприкосновенность ее честного имени, дороже, чем внешнее к ней уважение.

И эта молодая, не лишенная известной красоты женщина (хотя я не назову ее привлекательной, но все же, несомненно, она видная женщина), принцесса по крови и по положению, покорно мирится с явно торжествующей над ней соперницей, подчас дерзкой до наглости, всегда к ней пренебрежительной женщиной, которая по годам могла бы быть ее матерью, а по положению стоит неизмеримо ниже ее. Вот чего я никак не могу себе объяснить. Вероятно, это одна из тайн человеческого сердца! Может быть, пламя запретной, незаконной, непозволительной любви доводит женщину до такого безумия, что, раз вступив на этот скользкий, опасный путь, ее чувство или страсть питается самоунижением и возрастает вместе с этим унижением. Для особы с характером и темпераментом этой несчастной молодой принцессы почти любая степень унижения, позора и падения возможна.

III. Принц и англичанин

Отто дочитал рукопись до этого места, стараясь подавлять в себе чувство глубокого возмущения и обиды, но теперь бешенство овладело им, и, не будучи долее в состоянии сдерживаться, он швырнул рукопись на стол и встал.

— Этот человек дьявол! — произнес он. — Что за грязное воображение! Что за жадный ко всему недостойному и злему слух! Что за коварство и едкая злобность речи! Право, читая эти страницы, кажется, что сам становишься похож на него. Это нечто превыше всякой меры возмутительное!.. Господин канцлер, где поместили этого человека?

— Его препроводили в замковую башню, ваше высочество, и поместили в апартаментах Гамиани, — отвечал Грейзенгезанг.

— Проводите меня к нему, — сказал принц, и вдруг ему как будто припомнилось что-то и он задумчиво добавил: — Так вот почему я застал вчера так много стражи в саду? Этот англичанин тому причина, не так ли?

— Об этом мне ничего неизвестно, ваше высочество, — отозвался канцлер, верный своей политике замалчивания, изворотов и уклонений. — Размещение стражи и караулов вне моего ведения и не входит в круг моих обязанностей.

Отто круто и сердито обернулся к старику, но, прежде чем он успел произнести хоть единое слово, Готтхольд осторожно дотронулся до его плеча; принц сделал над собой громадное усилие и поборол в себе злобное чувство возмущения и негодования.

— Прекрасно, — сказал он, беря со стола сверток рукописи, — следуйте за мной в флаговую башню.

Канцлер подобрался, подтянулся и почтительно последовал за принцем, хотя на лице его были написаны смущение и нерешимость. Это было довольно продолжительное шествие, можно сказать, целое странствие, потому что библиотека помещалась в одном из крыльев нового дворцового здания, тогда как башня, на которой развевался флаг, составляла часть старого замка, и выходила в сад, куда был обращен фасадом старый «Шлосс», т. е. прежний дворец. Перейдя множество переходов, коридоров и лестниц, они, наконец, очутились

на маленьком, усыпанном гравием дворике, высокая чугунная решетка отделяла его с одной стороны от сада, и зеленые деревья его, словно любопытные дети, заглядывали во дворик; высокие островерхие черепичные крыши вырисовывались на фоне ясного неба и темные мрачные стены старого замка чуть не со всех сторон обступили тесный двор, а флаговая башня, казалось, тянется к небу, взбираясь этаж за этажом все выше и выше, выше всех окружающих строений и там, на самой ее вершине, высоко-высоко над всем развевался по ветру большой желтый флаг.

У входа в башню часовой взял на караул, завидя принца; другой часовой расхаживал взад и вперед на первой площадке лестницы, а третий стоял у дверей, ведущих в комнаты, обращенные в импровизированную тюрьму.

— Мы охраняем эту гадину, как драгоценность, — злобно заметил Отто, подходя к комнатам Гамиани. Апартаментами Гамиани это небольшое помещение звалось потому, что их занимал когда-то итальянец Гамиани, доктор шарлатан, сумевший одурачить и вкратце в доверие одного из прежних Грюневальдских принцев. Помещение это состояло из нескольких комнат, больших, высоких, в которых было много воздуха и света, с окнами, выходившими в сад, но стены башни были толсты и прочны, как стены старой крепости, а в окнах были толстые железные решетки. Принц Отто в сопровождении канцлера, трусившего за ним рысцой, чтобы не отставать от крупношагавшего принца, быстро прошел по небольшой библиотеке и гостиной и, словно бомба, ворвался в спальню.

Сэр Джон в этот момент заканчивал свой утренний туалет. Это был человек лет пятидесяти, резкий, без компромиссов, человек способный, умный, наблюдательный, со смелым взглядом и крепкими здоровыми зубами, свидетельствовавшими о физическом здоровье, силе и смелости. Он совершенно спокойно и равнодушно отнесся к этому неожиданному вторжению принца, с которым он вежливо, но несколько насмешливо раскланялся без малейшего замешательства.

— Чему должен я приписать честь этого посещения? — спросил он.

Вместо прямого ответа на этот вопрос принц, гордо подняв голову и меряя англичанина гневным взглядом, сказал:

— Вы ели мой хлеб, вы жали мою руку, вы были приняты под моим кровом как уважаемый гость. Можете ли вы пожаловаться на то, что я не был любезен и внимателен к вам? Было ли что, в чем бы я отказал вам и в чем бы я погрешил против вас, как против своего гостя? И вот то, чем вы отплатили мне за мое гостеприимство и за мою ласку!

И при этом он выразительно ударил рукой по свертку рукописи

— Ваше высочество изволили прочесть эту рукопись? — спросил барон. — Я весьма польщен, конечно, но эти наброски весьма несовершенны, в них многого еще не достает, и мне теперь придется еще много добавить к тому, что я уже написал. Теперь я буду иметь возможность написать, что принц, которого я обвинял в лености и бездействии, ревностно работает в департаменте полиции, где он принял на себя самые неприятные обязанности полицейского сыска; я буду иметь возможность рассказать комический инцидент моего ареста и странное посещение, которым вы изволили удостоить меня в данный момент. Что же касается дальнейшего, то имею честь сообщить вам, что я успел уже снестись с нашим посланником в Вене, и, если только вы не имеете намерения умертвить меня, я в самом непродолжительном времени буду снова свободен независимо от того, желаете вы этого или нет, потому что я не думаю, что будущая Грюневальдская империя уже достаточно созрела для того, чтобы вступить в войну с Англией. Я полагаю, что мы с вами теперь даже несколько более квиты, и я не обязан давать вам никаких объяснений, потому что неправы вы, а не я. Мало того, если вы изволили прочесть мою рукопись с пониманием, то вы должны быть очень признательны и благодарны мне. А теперь, так как я еще не окончил своего туалета, то я полагаю, что любезность тюремщика по отношению к заключенному подскажет вам удалиться хотя бы в соседнюю комнату.

На столе лежал лист бумаги. Отто присел и написал пропуск на имя сэра Джона Кребтри.

— Приложите к этой бумаге печать, господин канцлер, — приказал он своим властным царственным тоном, вставая со своего места.

Грейзенгезанг достал небольшой красный сафьяновый портфель и приложил печать в виде весьма непоэтичного клейкого штампея, причем его смущенные неуклюжие движения отнюдь не способствовали умалению комизма этой операции. Сэр Джон смотрел

на все с лукавой насмешливой веселостью; по-видимому, вся эта процедура его очень забавляла, а Отто внутренне злился, сожалея уже, но, увы, слишком поздно, о ненужной величественности и царственности своего жеста. Наконец канцлер окончил свою партию комедии и, не дожидаясь приказа, поставил свою подпись под пропуском. Узаконенную таким образом бумагу он с почтительным поклоном вручил принцу.

— Вы теперь пойдете и распорядитесь, чтобы один из моих личных экипажей заложили, и затем лично посмотрите, чтобы в него были положены все вещи сэра Джона Крэбтри; вы прикажете кучеру через час подъехать к Фазаннику и ждать там. Сэр Джон едет сегодня в Вену.

Канцлер почтительно откланялся и вышел не торопясь, с соблюдением подобающего ему достоинства.

— Вот, сэр, ваш пропуск, — сказал принц, обращаясь к баронету. — Я от всей души сожалею, что вам пришлось испытать здесь эту неприятную задержку.

— Так значит, не будет войны с Англией! — шутливо отозвался сэр Джон.

— Нет, сэр, не будет, — сказал Отто, — но во всяком случае, вы должны соблюдать вежливость по отношению ко мне. Теперь, как видите, обстоятельства изменились, и мы стоим друг перед другом, как два джентльмена. Не я отдавал распоряжение о вашем аресте; я вернулся вчера поздно ночью с охоты и ничего не знал о случившемся, так что вы не имели основания быть на меня в претензии за ваш арест, но вы можете быть благодарны мне за ваше освобождение из-под ареста.

— А между тем, вы все-таки читали мою рукопись, — заметил путешественник язвительно.

— В этом я был, конечно, неправ, сэр, — ответил Отто с достоинством и совершенно спокойно, — я прошу у вас извинения. Вы едва ли можете оказать мне в этом, уже из простого чувства уважения к себе, по отношению к человеку, который, по вашему же собственному определению, является, ер1exus'ом (т. е. сплетением) слабостей». А кроме того, и вина в этом не всецело моя. Если бы эти бумаги ваши были просто невинной рукописью, это было бы с моей стороны, самое большее, нескромностью. Но сознание вашей

виновности превращает эту нескромность в обиду или оскорбление для вас.

Теперь сэр Джон смотрел на Отто одобрительно и на его слова ответил молчаливым поклоном.

— Ну, а теперь, сэр, когда вы свободны располагать собою по вашему усмотрению, я желал бы попросить вас об одном одолжении, если хотите, даже об одном снисхождении, — добавил Отто с горечью. — Я хочу просить вас, выйдите со мной в сад и побеседуем там с глазу на глаз после того, как вы окончите ваш туалет и сочтете это для себя удобным.

— С той минуты, как я свободен, — ответил сэр Джон на этот раз со всей подобающей вежливостью, — я всецело к услугам вашего высочества; и если ваше высочество простит мне мой, так сказать, бесцеремонный туалет, то я готов последовать за вами в том виде, как я есть, сию же минуту.

— Благодарю, — сказал принц и, повернувшись, направился к выходу.

Сэр Джон последовал за ним; так они спустились по лестнице башни на дворик и через калитку в решетке вышли в сад, залитый утренним солнцем, благоухающий свежим воздухом и ароматом, подымавшимся от цветочных клумб на террасах сада, мимо которых они шли. Они перешли мост через рыбный пруд, в котором жирные карпы прыгали и резвились, как пчелы в улье. Поднялись по нескольким мраморным лестницам, ведущим к восходящим террасам сада, усеянным, словно снегом, осыпавшимся белым цветом отцветающих плодовых деревьев, ступая под звуки утреннего пения целого хора веселых птиц. Принц Отто шел не останавливаясь до тех пор, пока они не вышли на самую высшую террасу сада; здесь была решетка, отделявшая сад от парка, и почти у самой решетки, в чаще лавров и туй, белела большая мраморная скамья, манившая отдохнуть. Отсюда открывался вид на целое море зеленых верхушек вязов, среди которых каркали и сутились грачи, а там дальше за этими деревьями виднелись крыши дворца, и надо всем развевался высоко над старой башней желтый флаг на фоне голубого неба.

— Прошу вас сесть, сэр, — сказал Отто, когда они подошли к скамье.

Сэр Джон молча исполнил его желание, а Отто в продолжение нескольких секунд ходил взад и вперед перед ним, не садясь и, по-видимому, занятый гневными мыслями. Птицы кругом щебетали и трещали вперегонку, без умолку. Наконец Отто заговорил, обращаясь прямо к англичанину.

— Сэр, вы совершенно чужой мне человек и кроме обычных, условных общественных данных мне ничего не известно о вас; я совершенно не знаю ни вашего характера, ни ваших намерений, но я знаю, что я никогда умышленно не сделал вам ничего неприятного и ничем не досадил вам. Я знаю, что между нами есть разница положений, но я желал бы не считаться с нею в данном случае. Я желал бы, — если вы еще считаете меня вправе на такую долю уважения, — я желал бы, чтобы вы смотрели на меня просто как на джентльмена. А теперь я скажу вам следующее: я безусловно поступил дурно, что заглянул в вашу рукопись, которую я теперь возвращаю вам, но если любопытство недопустимо, с чем я охотно соглашаюсь, то предательство одновременно и подло, и жестоко! Я развернул этот сверток и что я увидел в нем? Что я прочел там о моей жене? Ложь, — воскликнул он, вдруг повысив голос. — Все это ложь! Нет и четырех слов правды в вашем памфлете, в вашем непозволительном памфлете! И вы мужчина, вы старый человек; вы могли бы быть отцом этой молодой женщины! Вы джентльмен, человек образованный, культурный, получивший хорошее воспитание и, следовательно, благовоспитанный, и вы соскребли всю эту мерзость, всю эту грязь и гадость, все низкие сплетни и возмутительные слухи и намереваетесь напечатать это, вынести все это на суд публике, в книге, которая станет ходит по рукам! И это называется у вас рыцарским чувством?! Джентльменством?! Но, благодарение Богу, у этой несчастной принцессы еще есть муж. Плохой, дурной, не заслуживающий уважения муж, но все же муж! Вы сказали, сэр, что я плохой фехтовальщик, и я этого не оспариваю, и покорнейше прошу вас дать мне урок в этом искусстве, сейчас, здесь, за решеткой парка. Вот там Фазаний домик, у которого вы найдете ожидающий вас экипаж; если бы мне случилось пасть, то, — как вам хорошо известно, — вы даже написали об этом, — никто моего присутствия или отсутствия здесь при дворе не замечает, и я имею привычку постоянно исчезать из дворца и пропадать неизвестно где по несколько суток, так что в глазах

дворца это будет еще одним из моих обычных исчезновений, и задолго до того, как мое исчезновение будет замечено, вы успеете благополучно переехать границу.

— Я прошу вас заметить, — сказал сэр Джон, — что то, чего вы желаете, совершенно невозможно.

— Ну, а если я вас ударю?! — воскликнул принц с внезапно вспыхнувшим во взоре выражением угрозы и дрожью в голосе.

— Это был бы постыдный удар, так как он все равно ничего бы не изменил. Я не могу драться с коронованной особой.

— И этого человека, которому вы не смеее предложить и даже дать удовлетворения, когда он его у вас требует, вы позволяете себе оскорблять? — воскликнул Отто.

— Простите меня, — возразил путешественник, — вы неправы. Именно потому, что вы коронованная особа, я не могу драться с вами, как с равным себе, и по той же самой причине я могу критиковать вас, ваши действия и поступки, равно как и действия и поступки вашей жены. Вы во всех отношениях лицо официальное, человек общественный, а не частный; вы являетесь общественным достоянием, с головы до ног, со всеми вашими помыслами и деяниями. Вы имеете на своей стороне законы, войска с их оружием, и шпионов и сыщиков с их подпольным искусством, а мы частные люди, мы имеем только право громко говорить правду.

— Правду?! И ложь! — воскликнул принц, сдерживая гневное движение.

Наступило непродолжительное молчание.

— Ваше высочество, — сказал сэр Джон, — вы не должны требовать винограда от репейника; я старый циник, ни одна живая душа ни на грош не дорожит мной, и в целом свете, после сегодняшнего моего собеседования с вами, я не знаю человека, которого бы я больше любил, чем вас, ваше высочество! Как вы видите, я совершенно изменил свое мнение о вас и имею далеко не обычное мужество открыто признаться в этом. Все мною написанное я уничтожаю здесь, на ваших глазах, в вашем саду, и прошу у вас прощения, а также прошу прощения у принцессы. Мало того, я даю вам честное слово джентльмена, что, когда моя книга выйдет в свет, в ней не будет даже упомянуто о существовании Грюневальда. А между тем это была яркая, характерная глава! О, если бы ваше высочество

прочитали, что мною написано о других дворах! Я, видите ли, старый ворон, питающийся падалью, но в сущности ведь не я в том виноват, что свет такая омерзительная выгребная яма!

— Сэр, не виноват ли в том ваш желчный, злобный глаз?

— Что ж, это очень возможно! — согласился англичанин. — Я принадлежу к числу тех, которые ходят и разнохивают. Я не поэт, но я верю в лучшее будущее для человечества, и в то же время я безусловно не доверяю настоящему. «Тухлядь и гниль!» Вот основной припев моей песенки. Но, с другой стороны, поверьте мне, ваше высочество, что, когда мне случается повстречаться с чем-нибудь действительно хорошим и достойным уважения, я могу смело сказать, что никогда не отказываюсь признать это хорошее. И сегодняшней день я долго буду помнить и буду вспоминать о нем с чувством глубокой благодарности судьбе за то, что я имел счастье встретить монарха, не лишённого известных доблестей, и в первый раз в моей жизни я, старый радикал и ваш покорнейший слуга, имею честь просить вас искренно и чистосердечно дозволить мне поцеловать руку вашего высочества.

— Нет, сэр Джон, — сказал Отто, — лучше обнимите меня! — И растроганный принц заключил на мгновение в свои объятия старого англичанина.

— А теперь, сэр, — сказал Отто, — вот Фазаний домик, и за ним вы найдёте ожидающий вас экипаж, который я прошу вас принять от меня, равно как и пожелания вам приятного и счастливого пути до Вены.

— По свойственной молодости горячности, ваше высочество упустил из вида одно обстоятельство, — сказал сэр Джон, — а именно то, что я ещё не ел со вчерашнего дня.

— Простите, Бога ради, — улыбнулся Отто, — но теперь вы сам себе господин и потому можете ехать или оставаться, как вам будет угодно; только я считаю своим долгом предупредить вас, что ваш новый друг может оказаться менее силен, чем ваши недруги здесь, при этом дворе, и хотя принц Грюневальдский всей душой за вас и готов всячески помочь вам, как вам самим хорошо известно, он не единственная власть и сила в Грюневальде...

— Это так, но тем не менее между той и вашей властью существует громадная разница в положении. — Гондремарк любит действовать не спеша; его политика подпольная, закулисная, он избегает и боится

всяких открытых выступлений, и после того, как я видел, как разумно вы умеете действовать, я охотно поручу себя вашему покровительству. Как знать? Быть может, вам еще удастся одержать верх над ним.

— Неужели вы в самом деле допускаете такую возможность?! — воскликнул принц. — Вы положительно вливаете новую жизнь в мою душу!

— Вот что я вам скажу. Я брошу раз навсегда зарисовывать портреты с натуры, — сказал баронет. — Я просто слепой филин; я совершенно ложно обрисовал вас; я непростительно ошибся в вас. А все же не забудьте, что прыжок или порыв — одно, а большой пробег — другое! Дело в том, что я все еще не совсем доверяю вашей натуре; этот короткий нос, эти волосы и глаза, — все это признаки для диагноза. И в заключение я все же должен сказать, что я кончу тем, с чего я начал.

— Я, по-вашему, все же ноющая горничная? — сказал Отто.

— Нет, ваше высочество, я убедительно прошу вас забыть все то, что я написал, — сказал сэр Джон. — Я не похож на Пилата и главы этой уже не существует! И если вы сколько-нибудь любите меня, — пусть все это будет навсегда похоронено и забыто.

IV. Пока принц находится в приемной

Весьма подбодренный своим утренним подвигом, принц прошел в приемную жены с намерением еще более серьезным и трудным, чем его свидание с сэром Джоном. Перед ним раздвинулась портьера, дежурный камер-лакей провозгласил его имя, и он вошел со своей обычной, несколько аффектированной развязной грацией, полный сознания своего собственного достоинства. В комнате собралось человек двадцать, преимущественно дам. Это было именно то общество, среди которого принц Отто, как ему хорошо было известно, был популярен и любим; и в то время, как одна из фрейлин скользнула в дверь смежной комнаты доложить принцессе о приходе ее супруга, Отто стал обходить присутствующих, пожиная похвалы и одобрения и наделяя всех милостивыми комплиментами и дружественными шутками со свойственной ему легкостью и грацией, которые так нравились в нем женщинам. Если бы в этом обмене любезностей, острот и метких шуток заключались все государственные обязанности, принц Отто был бы несравненным монархом. Одна дама за другой беспристрастно была почтена его вниманием и награждена милостивыми словами.

— Madame, — говорил он одной, — объясните мне, пожалуйста, в чем ваш секрет, что с каждым днем я вижу вас все более и более прелестной и увлекательной!

— А ваше высочество с каждым днем становитесь смуглее и смуглее, — возразила дама. — Между тем ваш цвет лица вначале не уступал моему; я буду иметь смелость сказать, что как у вас, так и у меня цвет лица был великолепный, но я ухаживаю за своим лицом, а ваше высочество усердно загораете на охоте.

— Что прикажете делать? Становлюсь настоящим негром, но это так и следует для раба, преклоняющегося перед властью красоты! — сказал Отто. — А, мадам Графинская! Когда же наш следующий любительский спектакль? — обратился он к следующей даме. — Я только что слышал, что я очень плохой актер.

— O ciel! — воскликнула госпожа Графинская. — Кто осмелился это сказать? Ваше высочество играете божественно!

— Вы, вероятно, правы в этом отношении, сударыня, потому что невозможно лгать с таким прелестным лицом, — сказал принц. — Но тем не менее тот господин, вероятно, предпочел бы, чтобы я играл не как Бог, а как актер.

Одобрительный шепот, целый концерт женских неясных воркующих звуков приветствовали эту остроту принца; и Отто, как павлин, распускал свой хвост; эта теплая атмосфера женской лесты и пустой болтовни нравилась ему; он положительно утопал в ней как в пуховых подушках.

— Madame фон Эйзенталь, ваша прическа сегодня прекрасна! — заметил он, обращаясь к третьей даме.

— Да, все говорят, — ответила одна из ее соседок.

— Но если я имела счастье угодить этой прической самому Prince Charmant, то это значит гораздо больше, чем то, что говорят все остальные вместе!

При этом госпожа фон Эйзенталь сделала принцу глубокий реверанс и в то же время обожгла его одним из своих самых горячих взглядов.

— Это, конечно, новейшая венская мода? — спросил он.

— Самая последняя новость в области причесок, ваше высочество, и ради вашего возвращения я сделала ее; проснувшись поутру, я почувствовала себя помолодевшей, — это было от предчувствия, что мы вас сегодня увидим. Ах, зачем, ваше высочество, вообще так часто покидаете нас?

— Ради удовольствия возвращаться! — ответил Отто. — Я видите ли, как собака, которая непременно должна зарыть свою кость, чтобы затем вернуться и насладиться ею.

— Фи, ваше высочество, кость! Какое сравнение! Вы, как я вижу, привезли из ваших лесов чисто охотничьи манеры, — засмеялась одна из дам.

— Но заметьте, madame, что кость это то, что всего дороже для собаки! — сказал принц. — Ах, я вижу madame фон Розен!..

И, отойдя от группы дам, с которыми он только что так весело чирикал, он направился к амбразуре окна, в которой стояла эта дама.

Графиня фон Розен все это время хранила молчание и, казалось, была удручена какой-то мыслью, но по мере приближения принца лицо ее как будто начинало сиять радостью. Она была высока и

стройна, как нимфа, и держалась прямо, легко и грациозно, и лицо ее, довольно красивое даже в спокойном состоянии, как-то начинало светиться и искриться улыбками, меняясь под впечатлением мысли и оживления. Она хорошо пела в свое время, и теперь даже в разговоре голос ее звучал красиво, разнообразно, иногда в низких глубоких теноровых нотах, иногда переходя в верхний регистр, в подобие серебристого, как говорят французы, «жемчужного смеха» (*un petit rire perle*). Не будучи молода, эта женщина еще сохранила значительную долю своих прежних очарований, которые она обычно как будто старалась скрыть и вдруг в какой-нибудь момент нежности открывала перед вами свою сокровищницу и озадачивала, поражала вас своими богатствами, как ловкий фехтовальщик поражает вас своим оружием. Сейчас это была только высокая фигура и лицо со следами былой красоты и несомненным отпечатком бешеного темперамента; а спустя минуту оно преобразалось, как преобразается бутон в раскрывшийся цветок: оно сияло нежностью, светилось радостью, искрилось задором и горело внутренним чувством. У этой женщины всегда был наготове скрытый кинжал для отражения робких поклонников. Принца Отто она встретила взглядом, полным нежности и веселья.

— Наконец-то вы пришли ко мне, Prince Cruel! — сказала она смеясь. — Бабочка вы, порхающая с цветка на цветок, пестрая, легкая бабочка! Что ж, разве я не достойна поцеловать вашу руку? — спросила она глядя на него.

— Madame, — сказал он, — это я должен целовать вашу. И он склонился и поднес ее руку к своим губам.

— Вы отказываете мне во всяком снисхождении, — заметила она, улыбаясь.

— Скажите мне, какие у нас новости здесь при дворе? — спросил Отто. — Я обращаюсь к вам как к живой газете. Что здесь происходит?

— Что? В этом стоячем болоте? — усмехнулась она пренебрежительно. — Мне кажется, что весь свет заснул и поседел в своей дремоте. Мне кажется, что он не пробуждался и в нем не было движения чуть не целую вечность; последнее событие, произведшее на моей памяти сенсацию, было, когда моя гувернантка оттаскала меня за уши, или дала мне затрещину. Впрочем, нет, я клевету на себя и на ваш заколдованный дворец! Последнее сенсационное событие, вот оно! И она стала рассказывать что-то, прикрываясь веером,

сопровождая свой рассказ многозначительными взглядами, оснащая его лукавыми намеками и другими прикрасами искусного рассказчика. Остальные присутствующие незаметно отошли подальше, так как подразумевалось, что графиня фон Розен была в милости у принца. Но, несмотря на это, графиня тем не менее часто понижала тон до шепота, и головы разговаривавших склонялись близко одна к другой.

— А знаете ли, — сказал наконец Отто, смеясь, — что вы единственная занимательная и интересная женщина в целом свете.

— О, вот до чего вы додумались! — воскликнула она.

— Да, madame, — я становлюсь умнее с годами.

— С годами? — повторила она. — Ах, зачем вы упоминаете об этих предателях? Впрочем, я не верю в года! Календарь обманщик!

— Я думаю, что вы, пожалуй, правы, — сказал принц, — потому что за шесть лет, что мы с вами друзья, я заметил, что вы становились моложе.

— Ах, льстец! — воскликнула графиня, но затем продолжала уже другим тоном. — Впрочем, зачем я это говорю? Ведь я даже в то время, когда протестую, думаю обратное. С неделю тому назад я имела довольно продолжительное совещание с моим главным советником, — с зеркалом! — и оно ответило мне: — «Нет еще!» — Я таким образом аккуратно каждый месяц изучаю свое лицо, и испытываю себя. О поверьте, что это очень торжественные моменты! А знаете ли вы, что я сделаю, когда зеркало мне ответит: — Да, прошло твое время, ты состарилась! Знаете вы, что я сделаю тогда?

— Нет, я не умею угадывать, — сказал принц.

— И я также не умею, дело в том, что выбор так велик! Есть самоубийство, картежная игра, азартные игры; есть ханжество, есть мания составления мемуаров, и есть политика. Я полагаю, что, всего вероятнее, я ухвачусь за последнюю.

— Это скучная штука, — заметил Отто.

— Нет, — возразила она, — это нечто, что мне всего более нравится. Прежде всего, это, можно сказать, родной брат болтовни, сплетен и пересуд, словом, всего того, что так несомненно занимательно. Например, если бы я сказала вам, что принцесса и барон ежедневно выезжали вместе верхами осматривать новые пушки, то это будет, если хотите, или скандальной сплетней, или политикой, по желанию, в зависимости от того, как я построю свою фразу, — так

что я являюсь, так сказать, алхимиком, совершающим это превращение из простой сплетни в политическое сообщение или обратно. Они бывали везде и повсюду вместе за все время вашего отсутствия, — продолжала графиня, заметно проясняясь по мере того, как она видела, что лицо принца омрачалось. — Ведь это не более как самая обычная салонная болтовня, но если я добавлю: «Их везде приветствовали криками „Ноч!“ — то от этих двух-трех слов сплетня превращается в политическое известие или сообщение.

— Будем говорить о чем-нибудь другом, — сказал Отто.

— Я только что хотела предложить вам то же самое, — отозвалась фон Розен. — Или, вернее, будем говорить о политике. Знаете ли вы, что эта война чрезвычайно популярна, популярна до того, что принцессу Серафину приветствуют и превозносят!

— Все на свете возможно, madame, — сказал принц, — и в числе всего остального то, что мы идем навстречу войне; но я даю вам мое честное слово, что мне известно, с кем мы будем воевать.

— И вы миритесь с этим?! — воскликнула она. — Я, конечно, отнюдь не претендую на мораль и признаюсь чистосердечно, что всегда презирала глупую овцу или ягненка и питала романтическое чувство к волку! И потому я говорю: пусть же будет положен конец этой роли безобидного ягненка. Покажите всем, что у нас есть принц, потому что мне надоело уже это бабье царство! Это царство прялки и веретена.

— Madame, — сказал Отто, — я всегда думал, что вы принадлежите к этой партии.

— Я была бы душою вашей партии, mon prince, если бы у вас была таковая, — возразила она. — Неужели правда, что у вас нет никакого честолюбия? Помните, в Англии был некогда человек, которого называли «делателем королей», и знаете ли, что мне кажется, что и я могла бы сделать, если не короля, то принца!

— Когда-нибудь, madame, — сказал на это Отто, — я, быть может, попрошу вас помочь мне сделать фермера.

— Что это, загадка? — спросила контесса.

— Да, загадка, и даже очень хорошая, — ответил принц.

— Долг платежом красен, — засмеялась она, — теперь и я вам загадаю загадку: где сейчас Гондремарк?

— Наш премьер-министр? Конечно, в министерстве, где же ему быть? — ответил Отто.

— Именно, — подтвердила графиня и при этом указала незаметно веером на дверь апартаментов принцессы. — А вы, mon prince, мы с вами только в передней. Вы считаете меня недоброй, — добавила она, — но испытайте меня, и вы увидите! Задайте мне какую хотите загадку, предложите мне какой угодно вопрос, и я вам говорю, что нет ничего такого, как бы чудовищно оно ни было, чего бы я не сделала для того, чтобы оказать вам услугу! Нет такой тайны, которой бы я не выдала вам, если бы вы только потребовали, этого от меня.

— Нет, madame, я слишком уважаю моего друга, — ответил принц, целуя ее руку; — я бы лучше предпочел оставаться в полном неведении всего. Мы здесь братаемся с вами как солдаты вражеских армий на аванпостах, но пусть каждый из нас останется верен своему оружию, верен своему долгу и присяге.

— Ах, — воскликнула она, — если бы все мужчины были так великодушны, как вы, то, право, стоило бы быть женщиной!

Но если судить по виду, это его великодушие особенно разочаровало ее. Казалось, что она ищет средства загладить его, и, найдя это средство, сразу повеселела и просветлела.

— А теперь, — промолвила она, — пусть мне будет позволено отпустить моего государя! Это, конечно, бунтовщическое деяние и что называется «un cas pendable», — (дело достойное виселицы), но что прикажете делать? Мой медведь так ревнив!

— Довольно, madame! — воскликнул принц. — Царь протягивает вам свой скипетр; мало того, он обещает вам повиноваться вам во всем.

И после этого принц снова стал обходить одну даму за другой, перепархивая как мотылек с цветка на цветок. Но графиня хорошо знала силу своего оружия; она оставила приятную стрелу в сердце принца. Что Гондремарк ревновал, — в этом была приятная возможность отомстить! И госпожа фон Розен, по причине этой ревности, являлась теперь для принца в совершенно новом свете.

V. Гондремарк в комнате ее высочества

Графиня фон Розен была права. Великий и всесильный премьер-министр Грюневальда уже давно заперся с принцессой Серафиной. Туалет был уже окончен, и принцесса, изящно и со вкусом одетая, сидела перед большим трюмо. Ее портрет в описании сэра Джона был правдив и вместе с тем являлся карикатурой. Ее лоб был, пожалуй, действительно слишком высок и узок, но это шло к ней; фигура ее была, пожалуй, несколько сутуловата, но это едва замечалось минутами, а в остальном все мельчайшие детали этой фигуры были словно точеные; ручки, ножки, уши, посадка привлекательной головки, — все было мило, красиво, миниатюрно и гармонично! И если ее нельзя было назвать красавицей, то во всяком случае у нее нельзя было отнять оживленности, подвижности лица и выражения, яркости красок и неуловимой многообразной прелести и привлекательности; а глаза ее, если они действительно были слишком бегающие, слишком подвижные, то и это было не бесцельно. Эти глаза были самой привлекательной частью ее лица; но они постоянно лгали против ее мыслей, потому что в то время, как она в глубине своего недоразвившегося, неразмягченного сердца предавалась всецело мужскому честолюбию и жаждала власти, глаза ее то смотрели смело и дерзко, то заманчиво-ласково, то гневно и злобно, то обжигали, то ласкали и все время были лживы, как глаза коварной оболстительной сирены. И вся она была лжива и деланна, т. е. не естественна, а искусственна. Негодуя на то, что она родилась не мужчиной и не могла выдвинуться и прославиться своими деяниями или подвигами, она задумала по-женски негласно властвовать и покорять все своей воле и своему влиянию, а сама быть свободной как мысль! И, не любя мужчин, она любила заставлять мужчин покоряться ей. Это весьма обычное женское честолюбие, и такой, вероятно, была героиня Шиллеровской баллады «Перчатка», пославшая влюбленного в нее рыцаря на арену львов. Но западни подстерегают одинаково и мужчин, и женщин, и жизнь весьма искусно способствует тому, чтобы в эти западни попадались и те, и другие.

Подле принцессы, в низком кресле, весь подобрившись, похожий на жирного кота, сидел Гондремарк, высокоплечий, сутуловатый, с

покорным заискивающим видом. Тяжелые синеватые челюсти придавали его лицу какой-то особенно плотоядный характер, налитые желчью глаза смотрели хмуро, и при этом его старании угодить и быть приятным создавался какой-то странный контраст. Лицо его ясно выражало ум, темперамент и какую-то разбойничью, пиратскую смелость и коварство, но отнюдь не мелкое мошенничество или мелкий обман. Его манеры, в то время как он, улыбаясь, смотрел на принцессу, были изысканно вежливы и галантны, но отнюдь не изящны и не элегантны.

— Может быть, — сказал он, — мне теперь следовало бы почтительнейше откланяться. Я не должен заставлять своего государя дожидаться в приемной, а потому давайте решим вопрос теперь же.

— А его никак нельзя отложить? — спросила она.

— Это совершенно невозможно, — ответил Гондремарк. — Ваше высочество сами это видите. В начальном периоде мы легко могли извиваться, как змея, но когда дело дошло до ультиматума, то другого выбора нет, как быть смелыми, как львы. Если бы принц пожелал остаться в отсутствии еще несколько дней, это было бы, конечно, лучше, но теперь мы зашли уж слишком далеко, для того чтобы можно было откладывать или оттягивать свое решение.

— Что могло привести его ко мне, — подумала принцесса вслух, — и именно сегодня? Сегодня, а не в другой какой-нибудь день!

— У таких людей, созданных для помехи другим людям, есть, очевидно, свой инстинкт, — заметил Гондремарк. — Но вы, во всяком случае, преувеличиваете опасность. Подумайте только о том, сколько мы уже успели сделать, и вопреки каким препятствиям, при каких затруднительных условиях! Неужели же этот «Пустоголовый»... Да нет!

И он, смеясь, подул на кончики своих пальцев, как будто сдувал с них пушинку.

— Но заметьте, что «Пустоголовый» все же принц Грюневальдский.

— С вашего соизволения только, и до тех пор, пока вам будет благоугодно относиться к нему снисходительно, пока вам угодно будет терпеть его, — сказал барон. — Есть права рождения, но есть и естественное право, право могущественного на могущество и

сильного на силу! И если он вздумает встать вам поперек дороги, то вам стоит только вспомнить басню о железном и глиняном горшке.

— О, вы называете меня горшком? Вы нелюбезны, барон! — засмеялась принцесса.

— Прежде, чем мы с вами покончим с великим делом созидания вашей славы, мне, вероятно, придется переименовать вас еще многими титулами и именами, — сказал Гондремарк.

Принцесса покраснела от удовольствия при этом намеке.

— Но ведь Фридрих все еще принц, все еще князь в своем княжестве, *monsieur le flatteur*, — сказала она. — Вы, надеюсь, не предлагаете революции? Во всяком случае, не вы? Не правда ли?

— *Madame*, это уже сделано! — воскликнул барон. — Ведь в сущности принц царствует только в альманахе, а на деле царствует и правит в стране моя принцесса.

И он посмотрел на нее с нежностью и восхищением, от чего сердце принцессы преисполнилось отрадной гордости. И, глядя на своего громадного раба, она упивалась одуряющим напитком сознания своей власти. Между тем он продолжал со свойственной ему грубоватой и тяжеловатой насмешливостью, которая так не шла к нему:

— У моей государыни есть только один недостаток, только одна слабость, грозящая опасностью для той блестящей великой карьеры, которую я предвижу для нее. Но смею ли я назвать ее, эту слабость? Будет ли мне дозволено разрешить себе эту вольность? Но пусть будет что будет, я укажу на нее! Эта опасность в вас самих, это ваше слишком мягкое сердце!

— Мужества у нее мало, у вашей принцессы, смелости мало, — сказала Серафина. — Предположим, что мы ошиблись в расчете; предположим, что мы потерпим поражение?!

— Потерпим поражение? Что вы говорите, *madame*! — возразил барон с едва заметным раздражением. — Разве могут собаки потерпеть поражение от зайца? Наши войска расположены все вдоль границы; в пять часов времени, если не раньше, наш авангард, состоящий из 5000 штыков, будет у ворот Бранденау; а в целом Герольштейне нет и полутора тысяч человек, могущих встать под ружье и обученных военному строю. Это простая арифметика! О сопротивлении не может быть даже речи!

— Если так, то это не великий подвиг — подобное завоевание. И это вы называете славой? Ведь это все равно что побить ребенка, господин барон.

— В данном случае дело идет о мужестве дипломатическом, madame, — сказал он. — Мы делаем этим захватом, если хотите, важный шаг; мы впервые обращаем внимание Европы на маленькое княжество Грюневальд и в течение последующих трех месяцев сыграем на «либо пан, либо пропал!» И вот тогда мне придется всецело положиться на ваши советы и указания, — добавил он почти мрачно. — Если бы я не видел вас за работой, если бы я не знал плодотворности вашего ума, силы вашей воли и решимости, признаюсь, я бы дрожал за будущие судьбы этого княжества и за последствия начатого нами; но именно в этой области мужчины должны признать себя менее искусными. Все величайшие и мудрейшие договоры, если они не велись собственлично женщинами, то велись мужчинами, за спиной которых стояли мудрые женщины. Мадам Помпадур не имела способных слуг, она не нашла своего Гондремарка, но что это был за сильный политик! А Катерина Медичи? Какая верность взгляда! Какая безошибочность суждения! Какое богатство способов для достижения задуманной цели! Наконец, какая эластичность ума, какая изобретательность и какая удивительная настойчивость и безбоязненность перед неудачей. Но увы! Ее «Пустоголовые» были ее собственные дети, и у нее была всего только одна мещанская слабость, эта добродетель обиденных женщин, ее семейные чувства, вследствие которых она позволяла семейным узам и привязанностям стеснять свободу ее политических замыслов и деяний.

Этот своеобразный взгляд на историю, специально приспособленный, конечно, «ad usum Seraphine» на благо или на пользование Серафины, однако, не подействовал на этот раз обычным размягчающим сердце принцессы образом; ясно было, что ей, быть может, только временно разодралось ее первоначальное решение, что она в данный момент внутренне восставала против него, и потому она продолжала прекословить советчику, глядя на него из-под полуопущенных век с едва приметной ядовитой усмешкой в углах губ.

— Какие мальчишки мужчины вообще! — заметила она. — Какие они любители громких слов! Геройство, доблесть, мужество!.. Что вы называете мужеством?! Мне кажется, что если бы вам пришлось

чистить сковороды, господин фон Гондремарк, вы бы это сочли за мужество и назвали бы это «домашним мужеством», «courage domestique».

— Да, madame, я бы и это назвал так, — сказал барон решительно, — если бы я чистил их хорошо, образцово, и я охотно называю звучным именем всякую доблесть и всякое большое и хорошее дело! И, право, нечего опасаться, что в этом отношении можно пересолить, потому что все наши доблести далеко не так заманчивы сами по себе; людей всего больше прельщает в них их громкое название.

— Пусть так, — сказала она, — но я желала бы понять, в чем собственно будет состоять наше мужество? Ведь мы же скромно испросили позволение, как малые дети у старших! Наша бабушка в Берлине и наш дядюшка в Вене и вся наша семья погладили нас по головке и благословили на выступление, а вы говорите «мужество». Я положительно удивляюсь, слушая вас!

— Моя принцесса сегодня не походит на себя, — отозвался, не смущаясь, барон. — Она, очевидно, забыла, в чем кроется опасность; правда, что мы заручились одобрением и с той и с другой стороны, но моей принцессе также хорошо известно, на каких неприемлемых, можно сказать, условиях; и, кроме того, ей известно, как эти шепотом данные одобрения и советы легко оказываются запамätованными и как от них без всякого стеснения отрекаются, когда дело доходит до официальных договоров и трактатов. Опасность в данном случае весьма реальная, а отнюдь не воображаемая, — говорил он, и при этом внутренне бесился, что ему приходилось теперь раздувать тот самый уголь, который он только что так усердно старался затушить, — эта опасность не менее велика и не менее реальна потому только, что она не военная опасность. По той же самой причине нам легче идти ей навстречу. Если бы нам приходилось только рассчитывать на войска вашего высочества, то, хотя я вполне разделяю надежды вашего высочества на образцовое поведение Альвенау, я все же не был бы спокоен, потому что нам не следует забывать, что ведь он еще не успел зарекомендовать себя ни с какой стороны в роли главнокомандующего. Но там, где дело касается переговоров, там все в наших руках; и при вашем содействии меня не пугает никакая опасность!

— Возможно, что все это и так, — сказала со вздохом Серафина, — но я вижу опасность совсем в другом. Меня пугает народ, этот ужасный, возмутительный народ! Представьте себе, что произойдет возмущение или восстание? Ведь мы будем до нельзя смешны в глазах целой Европы, мы, задумавшие вторжение в пределы соседнего государства, решившиеся на захват чужой земли, в то время как наш собственный престол колеблется под нами!

— Нет, государыня, — сказал Гондремарк, самоуверенно улыбаясь, — в этом вы становитесь ниже самой себя, вы умышленно запугиваете себя. Спросите себя, чем, собственно, поддерживается недовольство в народе? Непомерно тяжелыми для него налогами! Но раз мы захватим Герольштейн, мы будем иметь возможность ослабить эти налоги; сыновья вернутся под родительский кров с ореолом славы победителей; дома их украсят военной добычей, каждый из них вкусит свою долю военных почестей, и вы снова увидите себя среди счастливой семьи вашего народа, и люди станут говорить друг другу и слушать, развеса свои длинные уши, такие речи: «Как видно, принцесса-то наша больше нашего знала и понимала, к чему она клонила дело; у нее есть голова на плечах, и, как видите, нам теперь лучше живется, чем прежде». Но к чему я говорю вам все это? Ведь моя принцесса сама указала мне на все это и этими самыми доводами склонила меня на это смелое дело.

— Мне кажется, господин фон Гондремарк, — сказала Серафина несколько едко, — что вы часто приписываете ваши счастливые мысли вашей принцессе.

В первую минуту Гондремарк несколько растерялся под впечатлением язвительности этих непривычных для него нападений со стороны принцессы, но в следующий же момент он снова совершенно овладел собой.

— Неужели? — спросил он. — Конечно, это весьма возможно, и если хотите, то даже вполне естественно, потому что я заметил то же самое и у вашего высочества.

Это было сказано так смело, так открыто и казалось столь справедливо, что Серафина ничего не возразила на это, но вздохнула с некоторым облегчением. Ее гордость была задета, а честолюбие встревожено, но теперь она как будто почувствовала успокоение, и настроение ее несколько улучшилось.

— Пусть так, — сказала она, — но все это не относится к делу. Мы заставляем дожидаться Фридриха там, в приемной, и до сих пор все еще не выработали никакого плана сражения и ни на чем не остановились. Ну же, господин соправитель, подайте мудрый совет, как мне принять его теперь? И что нам делать в случае, если бы он вздумал появиться в совете?

— Что касается меня, — ответил барон, — то я предоставил бы решение первого вопроса всецело вашему высочеству в настоящий момент. Я имел счастье видеть вас с ним и знаю, что никто лучше вас с ним управиться не сумеет, и что не мне учить вас, что ему сказать и как его обезвредить для нашего дела. Отправьте его к его театральным забавам, но только ласково, незаметно, — добавил барон. — Или, быть может, моя государыня предпочла бы сослаться на головную боль?..

— Никогда! — воскликнула Серафина. — Женщина, которая может рассчитывать на свои силы, точно так же, как мужчина, который умеет владеть оружием, никогда не должна избегать встречи! Доблестный рыцарь не должен посрамлять своего оружия!

— В таком случае мне остается только умолять мою «belle dame sans merci», — сказал он, — проявить в данном случае единственную недостающую ей добродетель и быть жалостливой к бедному молодому человеку: выказать интерес и сочувствие к его охотничьим забавам, жаловаться на то, что политика и государственные дела вам надоели, и что в его приятном обществе вы желаете искать отдохновение от всего того, что вас так утомляет, и развлечение от сухих материй и соображений. Одобрят ли моя принцесса подобный план сражения?

— Все это пустяки, важен только вопрос о совете, вот о чем следует подумать!

— Вы говорите о совете? — воскликнул Гондремарк. — Позвольте, — и с этим он встал со своего места и принялся, карикатурно подражая Отто, порхать по комнате, передразнивая довольно недурно его голос и его движения: — «Ну, что сегодня слышно, барон фон Гондремарк? А, господин канцеляриус, у вас новый парик?! Вы меня не обманете, я знаю решительно все парики в целом Грюневальде; у меня глаз хозяйский!.. А о чем говорится в этих бумагах? О, да, да... я вижу!.. Ну, конечно, конечно!.. Я готов побиться об заклад, что никто из вас не заметил этого нового парика!.. Ах право,

я решительно ничего об этом не знаю. Неужели их в Грюневальде так много... а я и не подозревал!.. И все это деловые бумаги, вы говорите? Ну, что же, прекрасно, можете все их подписать, ведь у вас есть на то и полномочие и доверительная грамота. Видите, господин канцлер, я сразу заметил ваш новый парик»... И так далее, все в том же духе, — закончил барон, переходя к своему обычному тону и голосу, — наш государь особым соизволением Божиим и особою милостию Божиею принц Грюневальдский, именно таким образом решает и вершит государственные дела и говорит со своими советниками и министрами.

Но когда барон взглянул на Серафину, ожидая встретить ее благосклонный одобрительный взгляд, он, к удивлению своему, увидел ледяной взгляд и холодное, словно застывшее, лицо.

— Вы находите удовольствие проявлять свое остроумие, как я вижу, господин фон Гондремарк, — сказала она, — и, по-видимому, забыли, где вы находитесь в данный момент; эти подражания иногда вводят в заблуждение. Ваш государь, — принц Грюневальдский, бывает иногда более требователен, чем вам кажется.

Гондремарк внутренне проклинал ее от всей души. Из числа всяких оскорбленных самолюбий, самолюбие осаженного добровольного шута несомненно самое болезненное, и когда на карту поставлены серьезные и важные интересы, то подобные маленькие уколы становятся невыносимо чувствительными. Но Гондремарк был человек с уверенным характером и силой воли, и потому он не подал вида, что укол попал в цель, и не прибегнул к обычному приему мелких блудней или мелких мошенников, т. е. не пошел на попятный, а напротив того, смело продолжал вести дальше свою линию.

— Государыня, — сказал он, — если ваш супруг иногда оказывается более требовательным, как вы утверждаете, то нам на остается ничего более, как схватить быка за рога.

— Это мы увидим, — сказала принцесса и стала оправлять свое платье, как бы готовясь подняться со своего места.

Раздражение, гнев, отвращение, досада были ей как нельзя более к лицу; все едкие злобные чувства красили ее, как самоцветные камни украшают убор, и потому в этот момент она была особенно хороша.

— Буду молить Бога, чтобы они поссорились, — мысленно решил Гондремарк; — не то этот проклятый щенок, этот жеманный кокет еще,

пожалуй, подведет меня. Однако пора впустить его, мне здесь сейчас больше делать нечего. Кусь, кусь... сцепитесь, собачки мои!

И вслед за этими мыслями он весьма неловко преклонил одно колено перед принцессой и приложился к ее руке, сказав:

— Теперь моя принцесса должна отпустить своего верного слугу, потому что мне предстоит еще много дела до начала заседания совета.

— Идите! — сказала Серафина, и встала сама.

И в тот момент, когда Гондремарк трусцой направился к интимной двери, ведущей во внутренние помещения дворца, она концами пальцев дотронулась до звонка и приказала появившейся в дверях приемной фрейлине просить принца.

VI. Принц читает лекцию о браке с критической иллюстрацией развода

С целым миром превосходнейших намерений переступил Отто порог комнаты жены. Как отчески, как любовно он был настроен, входя в эту комнату! Как трогательны были те слова, с которых он намеревался начать, и которые он заранее приготовил в своем уме. И Серафина со своей стороны была отнюдь не враждебно настроена. Ее обычная боязнь, или вернее, враждебное чувство к Отто, как к вечной помехе в ее великих, как ей казалось, планах и предначертаниях, в данный момент было поглощено мимолетным недоверием к самым этим планам и замыслам. Кроме того, на этот раз в ней проснулось гневное отвращение к Гондремарку, который одновременно и возмущал, и отталкивал ее своим поведением. В сущности, она в глубине души своей не любила барона. За его наглой раболепностью, за его обожанием и восхищением, сомнительно искренним, которые он с подчеркнутой деликатностью выставлял ей на вид, постоянно привлекая к ним ее внимание, она смутно угадывала грубость его натуры и наглую честолюбие. Она чувствовала к нему то, что испытывает человек, гордящийся тем, что он усмирил или поборол медведя, но в то же время чувствующий отвращение к этому медведю из-за свойственного ему неприятного запаха. А кроме всего этого, нечто похожее на ревность подсказывало ей, что человек этот изменяет ей и, быть может, обманывает ее. Правда, и она сама только лукаво шутила и играла его любовью к ней, но, быть может, и он также лукаво шутил и играл ее честолюбием, ее гордостью! Дерзость его последней выходки с передразниванием принца и странная несообразность ее собственного положения в то время, как она сидела и смотрела на это, теперь лежала тяжелым гнетом на ее совести; ей было болезненно стыдно и за него, и за себя. И потому она встретила Отто с чувством, похожим почти на сознание виновности, и вместе с тем приветствовала его, как освободителя от неприглядных мыслей и чувств.

Однако судьбы каждого свидания чаще всего зависят от тысяч неуловимых мелочей. Так случилось и на этот раз: первый толчок

таких случайностей произошел в тот самый момент, когда принц вошел в комнату. Он увидел, что Гондремарк уже не было, но кресло, в котором он только что сидел, было близко придвинуто в интимной беседе к креслу принцессы, и ему стало больно, что этот человек не только был принят раньше него, но что он удалился отсюда таким секретным интимным образом. Стараясь побороть в себе это болезненное чувство обиды, он несколько резко отпустил фрейлину, проводившую его к принцессе.

— Прошу вас, почувствуйте себя здесь у меня, как дома, — сказала Серафина светски любезно, несколько поколебленная резким повелительным тоном Отто в обращении к ее приближенной, а также и тем прищуренным взглядом, каким он посмотрел на кресло, в котором сидел Гондремарк.

— Madame, — сказал в ответ на это Отто, — я бываю здесь так редко, что почти могу пользоваться правами постороннего вам лица.

— Вы сами избираете свое общество, Фридрих, — сказала она.

— Об этом я и пришел поговорить с вами, — возразил он. — Уже четыре года прошло с тех пор, как мы с вами поженились; и эти четыре года не дали счастья, как мне кажется, ни вам, ни мне. Я прекрасно сознаю, что я не подходил для вас в качестве мужа. Я был уже не молод, у меня не было честолюбия, я ко всему относился шутя, и вы стали презирать меня; я не скажу даже, что без основания. Но для того, чтобы судить справедливо, надо рассматривать вопрос с обеих сторон; я попрошу вас припомнить, как я поступал все время по отношению к вам. Когда я увидел, что вас забавляла роль правительницы на этой маленькой сцене, разве я не уступил вам тотчас же всю эту мою коробку игрушек, именуемую княжеством Грюневальд? И когда я понял, что я вам неприятен или противен, как супруг, признайтесь, я ни единой минуты не был навязчивым супругом! На это вы, вероятно, скажете мне, что у меня нет чувств, нет предпочтений и нет определенных целей и желаний, что я всегда и во всем придаюсь на волю ветра, куда он дует — туда иду и я, что все это в сущности в моем характере; ни за чем не гнаться, ничего не отстаивать и ничем не дорожить! Но во всем этом справедливо только одно, что нетрудно оставить всякое дело несделанным! Теперь я начинаю понимать, Серафина, что это опасно и неразумно. И если я был слишком стар и слишком неподходящ для вас в роли мужа, я все же должен был

помнить, что я правитель этой страны, что я ее государь, а вы только ребенок, привезенный сюда в гости. И по отношению к этому ребенку у меня тоже были обязанности, которых я не выполнил, и которыми я не должен быть пренебрегать.

Упоминание о старшинстве всегда вызывает обидное чувство.

— Обязанности! — засмеялась Серафина. — Это слово в ваших устах, Фридрих, положительно смешит меня! Что вам пришла за фантазия вдруг заговорить о таких вещах? Идите, флиртуйте с девицами и дамами и будете прелестным принцем из дрезденского фарфора, *Vioux-saxe*, на которого вы так похожи; забавляйтесь и развлекайтесь, *mon enfant*! А всякие обязанности и государственные дела предоставьте нам.

Это множественное число резко царапнуло по нервам принца.

— Я и так уже слишком много забавлялся, — сказал он, — если только это может быть названо забавою, хотя на это можно было бы много возразить. Вы, вероятно, полагаете, что я безумно люблю охоту, но поверьте, были дни, когда я находил чрезвычайно много интересного в том, что только из вежливости называется моим правительством. Во вкусе и в понимании вещей вы не можете мне отказать, этого во мне никто никогда не отрицал. Я всегда умел отличить счастливое веселье от скучной рутины, и мой выбор, будь он только предоставлен мне, мой выбор между охотой, австрийским престолом и вами, не колебался бы ни минуты, поверьте мне! Вы были девочкой, почти ребенком, когда вас отдали мне...

— Боже мой, — воскликнула Серафина, — да неужели здесь готовится любовная сцена?!

— Успокойтесь, вы знаете, что я никогда не бываю смешон, — сказал Отто, — это, быть может, мое единственное достоинство; это будет не любовная сцена, а просто супружеская сцена в современном вкусе, сцена в браке *a la mode*. Но когда я вспоминаю о прекрасном времени первых дней нашего брака, то простая вежливость, как мне кажется, требует, чтобы я говорил о нем в тоне сожаления. Будьте справедливы, *madame*, ведь вы первая сочли бы в высокой мере неделикатным с моей стороны, если бы я вспоминал о том времени без приличествующего в данном случае чувства сожаления. А затем, будьте еще немного более справедливы и признайтесь, хотя бы из

простой вежливости, что и вы хоть сколько-нибудь сожалеете о том прошлом.

— Мне положительно не о чем сожалеть, — сказала она. — Право, вы меня удивляете! Я всегда думала, что вы совершенно счастливы.

— О, madame, счастье счастьем рознь! Есть сотни и тысячи видов счастья, — сказал Отто. — Человек может быть счастлив и в момент возмущения и бунта, он может быть счастлив и во сне; вино, перемены, развлечения и путешествия тоже делают человека счастливым; добродетель, как утверждают, также дает людям счастье; я, конечно, не испытал этого, но поверить этому можно. А еще говорят, что в старых, спокойных, сжившихся супружествах тоже есть своего рода хорошее, прочное счастье!.. Если хотите, и я счастлив, но я скажу вам откровенно, я был много счастливее в то время, когда я привез вас сюда.

— Но... — протянула принцесса не без некоторой принужденности, — вы, как видно, успели передумать после того.

— Нет, — возразил Отто, — я сохранил в душе все те же чувства! Не знаю, помните ли вы, Серафина, как на пути сюда вы увидели на полянке куст диких роз; я вышел из экипажа и сорвал их для вас. То была узкая полянка между двух стен высоких деревьев; в конце этой полянки садилось солнце, все золотое, лучезарное, а над нами пролетали грачи; я как сейчас помню, что на том кусте было всего девять роз, и за каждую из них вы подарили меня поцелуем. И тогда я мысленно сказал себе, что каждая роза и каждый поцелуй должны соответствовать одному году счастья и любви! Но когда прошло всего полтора года с того времени, т. е. вместо восемнадцати лет, только восемнадцать месяцев, все уже было кончено между нами!.. И вы думаете в самом деле, Серафина, что мои чувства к вам изменились с того времени? Да?

— Я право ничего не могу вам сказать... — ответила она почти автоматически.

— Вы не можете, в таком случае я скажу вам: они не изменились ни на йоту, и я не стыжусь признаться в этом вам, потому что нет ничего смешного в любви мужа к своей жене, даже и тогда, когда эта любовь себя признала безнадежной и не требует ничего взамен. Я знаю, что я построил здание своего счастья на песке, но, Бога ради, не дуйте на него жестоким дуновением упрека! Я, вероятно, построил его

на моих недостатках, но я вложил в это здание всю мою душу и всю мою любовь; они и теперь лежат под развалинами этого здания.

— О, как все это высокопоэтично! — сказала она с легким смешком, но при этом незнакомое ей чувство умиления и какая-то непривычная мягкость проснулись в ее душе. — Я хотела бы знать, к чему вы клоните весь этот разговор? — спросила она, умышленно придав своему голосу некоторую неприятную жестокость.

— К тому, чтобы высказать вам, — хотя, поверьте, что мне это очень нелегко, — что вопреки всему ваш муж любит вас! Но поймите меня, — крикнул Отто вдруг почти злобно, — я отнюдь не молящий подачки супруг! Нет, того, в чем мне отказывает ваше чувство, я никогда не принял бы из вашей жалости! Я не хочу просить и не хочу взять по праву, — мне ничего от вас не надо!.. Я не ревную, потому что полагаю, что у меня нет к тому основания, но так как в глазах света я ваш муж, то я спрашиваю вас, честно ли и хорошо ли вы относитесь ко мне? Я совершенно отошел в сторону, я предоставил вам полную свободу, я дал вам полную волю во всем, а вы, что дали вы мне взамен? Что сделали вы для меня?.. Вы во многом, особенно же в некоторых вещах, поступали слишком необдуманно. Такие люди, как мы с вами, да еще находясь в явно ложном положении и стоя у всех на виду, должны быть особенно осмотрительны и осторожны, особенно благовоспитанны и сдержанны. Может быть, нелегко избежать сплетен и скандалов, но и переносить скандал и позор крайне тяжело!

— Скандал! — воскликнула Серафина. — Позор! Так вот к чему вы хотели прийти!

— Я старался дать вам понять, что происходит в моей душе, — сказал Отто; — я признался вам, что люблю вас безнадежно, и поверьте, что такое признание очень горько для мужа; я обнажил перед вами всю мою душу именно для того, чтобы говорить с вами прямо и открыто, чтобы вы не видели в моих словах намерения нанести вам обиду и оскорбление, но раз я уже начал говорить об этом, то я скажу вам все, что я считаю нужным сказать, и вы выслушаете меня!

— Я желаю знать, что все это значит? — крикнула она.

Принц Отто густо покраснел.

— Мне приходится сказать вам то, чего бы я не хотел говорить вам, — промолвил он, — но я просил бы вас поменьше видаться и пореже появляться с бароном Гондремарком.

— С Гондремарком? Почему?

— Потому что ваша близость с ним дает повод к скандалу, madame, — сказал Отто довольно твердо и спокойно, — а этот скандал для меня смертельно мучителен, и для ваших родителей он был бы невыносим, если бы они узнали о нем.

— Вы первый говорите мне об этом! Очень вам благодарна, — сказала она.

— Да, вы имеете основание быть мне благодарной за это, — подтвердил он, — потому что из всех ваших друзей только я один мог сказать вам об этом!

— Прошу вас оставить моих друзей в покое, — резко прервала она его. — Мои друзья — люди совсем иного закала! Вы явились сюда и парадировали передо мной своими чувствами, но припомните, когда я видела вас в последний раз за делом? И все это время я управляла за вас вашим княжеством и не видела от вас ни малейшей поддержки или содействия в этом трудном деле, и, наконец, когда я стала изнемогать под тяжестью этой непосильной, не женской работы, а вам наскучили ваши забавы, вы являетесь сюда и делаете мне супружескую сцену, как какой-нибудь мелочный торговец своей жене! Вы забываете, что мое положение слишком ненормально; вам следовало бы понимать, по крайней мере, хотя бы то, что я не могу стоять во главе вашего правительства и в то же время вести себя, как маленькая девочка, которая в отсутствие папаши, мамы и гувернантки должна сидеть смирно и ничем не проявлять себя... Сплетни! Скандал! Да ведь это та атмосфера, в которой мы, владетельные принцы и принцессы и все царствующие особы живем! Вам это следовало бы знать! Вы испугались сплетен и пересудов! Какая наивность! Право, вы, Фридрих, играете слишком мерзкую роль. И что же, вы верите этим слухам и сплетням?

— Я не был бы здесь, madame, если бы я им верил, — сказал принц.

— Только это я и хотела знать, — заявила она с все возрастающим гневом и чувством возмущения; — ну а допустим, что вы бы им поверили, что бы вы сделали тогда?

— Я счел бы себя обязанным в подобном случае предполагать противное, — ответил Отто.

— Я так и думала! — воскликнула Серафина с усмешкой. — Вы, как я вижу, весь сотканы из обязанностей.

— Довольно, *madame!* — крикнул наконец Отто, потеряв терпение. — Вы умышленно перетолковываете ложно мои слова и мое поведение; вы испытываете мое долготерпение, но ради ваших родителей и ради моего имени, которое вы носите, прошу вас быть более осмотрительной в ваших действиях и поступках.

— Что это, просьба или требование, *monsieur mon mari?* — спросила она, глядя на него прищуренными глазами.

— Я прошу, хотя в праве требовать и даже приказывать! — ответил принц сдержанно.

— Вы можете даже арестовать меня и посадить в крепость, как гласит закон, — сказала Серафина, — но вы ничего бы не выиграли этим со мной!

— Значит, вы намерены продолжать вести себя так же, как и до сего времени? — спросил Отто.

— Именно так, как и до сего времени! — подтвердила она, — и в доказательство этого я пошлю пригласить ко мне барона фон Гондремарк тотчас же, как только эта глупая комедия, которую вы разыгрываете здесь, благополучно окончится. Надеюсь, вы поняли меня; больше я ничего не имею сказать вам, — добавила она и встала.

— Если так, — сказал Отто с нервной дрожью от подавленного с громадным трудом гнева, — то я позволю себе просить вас, *madame*, пройти со мной на другую половину моего скромного жилища. Это отнимет у вас очень немного времени, и к тому же это будет последняя любезность, которую вам придется оказать мне.

— Последняя?! — воскликнула она. — В таком случае, с радостью.

Отто подал ей руку, и она приняла ее. С некоторой изысканной аффектацией с той и другой стороны княжеская чета покинула комнату принцессы. Они следовали тем же путем, каким незадолго до того прошел Гондремарк. Пройдя два или три длинных коридора, выходящих окнами во двор, в которых никогда никого нельзя было встретить, они очутились на половине принца. Первая из его комнат с этой стороны был оружейный зал, все стены которого были увешаны самым разнообразным старинным оружием разных стран и эпох; окна этого зала выходили на большую дворцовую террасу переднего фасада дворца.

— Вы привели меня сюда, чтобы убить? — спросила Серафина саркастически.

— Я привел вас сюда, чтобы проследовать дальше, — ответил Отто сдержанно и спокойно.

Идя дальше, они пришли в библиотеку; здесь не было никого, кроме старого камердинера, который спокойно дремал в кресле. Заслышав шаги, он вскочил на ноги и, узнав принца и принцессу, низко склоняясь перед ними, осведомился, не будет ли каких приказаний.

— Вы подождете нас здесь, — сказал принц, идя дальше под руку с женой.

Следующей комнатой была картинная галерея; здесь на самом видном месте висел большой портрет Серафины в темном охотничьем костюме с ярко-красной розой в волосах, как ее тогда любил видеть Отто. Портрет этот был писан по его заказу в первые месяцы их брака. Отто молча указал ей на него, она слегка подняла брови и тоже ничего не сказала, и они молча проследовали дальше в небольшой, весь затянутый мягким ковром коридорчик, в который выходило несколько дверей. Одна из них вела в спальню принца, другая — на половину Серафины; здесь Отто выпустил ее руку и, сделав шаг вперед, энергичным жестом задвинул засов этой последней двери.

— Эта дверь, madame, уже давно была заперта с той стороны, — сказал он.

— И одного засова было достаточно, — сказала она. — Это все?

— Прикажете вас проводить? — спросил он кланяясь.

— Я предпочла бы, — сказала она каким-то странным звенящим тоном, — чтобы меня проводил барон фон Гондремарк.

Отто позвонил камердинеру и совершенно спокойным, ровным голосом сказал:

— Если барон фон Гондремарк еще здесь, во дворце, скажите ему, чтобы он пришел сюда проводить принцессу.

И после того как слуга удалился, он снова обратился к жене:

— Чем я могу еще быть вам полезен, madame? — спросил он.

— Благодарю, больше ничем. — Вы меня очень позабавили, — уронила она.

— Теперь я вернул вам полную свободу, — продолжал принц, не обратив внимания на ее слова. — Это был для вас несчастный брак.

— Несчастный!?! — сказала она.

— Но с моей стороны было сделано все для того, чтобы вы этого не чувствовали, чтобы вам жилось легко; — теперь вам будет жить еще легче! — продолжал принц. Но вам все-таки придется продолжать носить имя моего покойного отца, ставшее теперь вашим. Я оставляю это имя в ваших руках, но я желал бы, так как вы моих советов принимать не желаете, — чтобы вы больше думали о том и старались носить его с честью.

— Фон Гондремарк долго заставляет себя ждать, — заметила она.

— Ах, Серафина, Серафина! — воскликнул Отто, — и этим окончилось их свидание.

Она подошла к окну и стала смотреть в него, а минуту спустя старичок камердинер доложил о приходе барона фон Гондремарка, который вошел, как-то растерянно озираясь, заметно изменившийся в лице, даже смущенный вследствие этого необычайного приглашения явиться. Принцесса повернулась к нему от окна с деланной очаровательной улыбкой; ничто в ее внешности, кроме несколько разгоревшегося лица, не свидетельствовало о том, что она была взволнована и, быть может, расстроена. Отто был бледен, но совершенно спокоен и прекрасно владел собой.

— Барон фон Гондремарк, — обратился он к вошедшему. — Окажите мне услугу, проводить принцессу на ее половину.

Барон, все еще как в воду опущенный, предложил руку принцессе, которая, улыбаясь, приняла ее, после чего эта пара плавно удалилась через картинную галерею.

Когда они ушли, Отто понял всю глубину своей неудачи; он осознал, что сделал как раз обратное тому, что он намеревался сделать; он пришел в положительное недоумение. Такое полнейшее фиаско было смешно даже ему самому. И он громко расхохотался в припадке злобы и бешенства. После этого наступил острый приступ раскаяния и сожаления, а затем, как только ему вспоминались отдельные выдающиеся моменты этого разговора, — раскаяние и сожаление снова уступали место злобе и возмущению. Так сменялось в его душе одно чувство другим, и мысли металась из стороны в сторону, и он то оплакивал свою непоследовательность и недостаток твердости, то вспыхивал от негодования и возмущения, доходя до белого каления, и при этом испытывал благородную жалость к самому себе.

В подобном состоянии духа он ходил взад и вперед по своей комнате, как леопард в клетке. В эти минуты принц был близок к взрыву; подобно заряженному пистолету он мог выстрелить каждую минуту и в следующий же момент быть отброшенным в сторону. И теперь — шагая из конца в конец по длинной комнате, переживая в душе своей самые разнородные чувства и теребя пальцами концы своего тонкого носового платка, он был возбужден до высшей степени, и каждый нерв в нем был болезненно напряжен и натянут. Словом, можно было сказать, что пистолет был не только заряжен, но и взведен. И когда еще ко всему этому минутами примешивалась ревность, наносившая жгучие удары хлыста по его самому нежному чувству и порождая ряд огненных видений перед его мысленным взором, тогда судорога, пробежавшая у него по лицу, становилась зловещей. Он презирал все измышления ревности, но тем не менее они кололи его, задевая его за живое. Однако даже во время злейших вспышек гнева и негодования, он упорно продолжал верить в невинность Серафины, и даже мысль о ее несоответственном, неподобающем поведении являлась горчайшей примесью в его чаше скорбей.

Вдруг постучали в дверь, и дежурный камергер подал ему записку. Он взял ее, скомкал в руке и продолжал ходить взад и вперед по комнате, не отрываясь от своих мучительных и часто бессвязных мыслей. Так прошло несколько минут, прежде чем он вполне ясно сознавал, что у него в руке записка, и что ее следует прочесть. Он остановился, развернул ее и прочел. Это были всего несколько слов, спешно нацарапанных карандашом рукой Готтхольда; содержание было следующее:

«Совет секретно созван сию минуту»

Г. фон Г.

Из того, что совет был созван ранее назначенного времени, да еще секретно, становилось ясно, что боялись его вмешательства. «Боялись», ага, это была отрадная для него мысль. Кроме того, Готтхольд, смотревший на него всегда как на простака, теперь позаботился предупредить его; значит, Готтхольд ждал чего-нибудь от него. Ну что же, пусть никто из них не обманется. И принц, слишком долго остававшийся в тени, заслоненный человеком, безумно любившим свою жену, теперь покажется всем им в полном своем

величии. Отто позвонил своему камердинеру и с особой тщательностью занялся своим туалетом. Покончив с этим занятием, причесанный, надушенный и принаряженный, «Prince Charmant» — очаровательный принц — во всех отношениях, но с нервно дрожащими ноздрями и потемневшими от внутреннего волнения глазами, принц Отто, не сопровождаемый никем, отправился в совет.

VII. Принц распускает совет

Все было так, как писал Готтхольд. Самовольное освобождение сэра Джона принцем, тревожные донесения Грейзенгезанга своим покровителям, и, наконец, сцена, разыгравшаяся между Серафиной и принцем, все это вместе взятое побудило заговорщиков решиться на такой шаг, который им подсказывала их трусливая смелость. Перед тем произошло некоторое замешательство, некоторое волнение; посланные с записками бегали туда и сюда, и наконец, в половине одиннадцатого утра, т. е. за час до обычного времени, принятого для заседаний совета, все члены Грюневальдского государственного совета собрались вокруг стола в зале заседаний.

Это было немногочисленное собрание. По настоянию Гондремарка состав членов совета испытал значительные перемены; произведена была, как он выражался, «основательная чистка», и теперь весь совет состоял, можно сказать, исключительно из одних покорных орудий его воли. На отдельном маленьком столике, немного в стороне, отведено было место для трех секретарей. Серафина лично председательствовала в совете; по правую ее руку помещался барон фон Гондремарк, по левую — канцлер Грейзенгезанг; ниже — их государственный казначей Графинский и граф Эйзенталь и двое безгласных членов, имена которых не стоит даже упоминать, и ко всеобщему удивлению честного собрания, здесь был налицо и доктор Готтхольд фон Гогенштоквиц. Принцем Отто он был назначен членом совета исключительно для того, чтобы предоставить ему оклад такового, и так как он обыкновенно никогда не присутствовал на заседаниях их совета, то при «основательной чистке» о нем забыли. Никому не пришло в голову опротестовать это назначение тем или иным способом. И вот, его настоящее появление в совете являлось теперь тем более зловещем, что оно было совершенно непредвиденным. Гондремарк окинул его грозным взглядом и сердито хмурился всякий раз, когда глядел в его сторону; безгласные члены, видя столь явную к нему немилость, старались отодвинуться подальше от него.

— Время не терпит, ваше высочество, — сказал Гондремарк, — разрешите приступить к делу?

— Да, немедленно! — сказала Серафина.

— Ваше высочество, извините меня, — сказал Готтхольд, — но я считаю долгом уведомить вас о том, что вам, быть может, еще неизвестно, а именно, что его высочество принц изволил вернуться сегодня утром

— Принц не будет присутствовать на совете, — вспыхнув, сказала Серафина — Господин канцлер, дайте сюда депеши! Тут и депеша, которая должна быть отправлена немедленно в Герольштейн, не так ли?

Секретарь подал бумаги канцлеру.

— Вот, ваше высочество, — пропищал Грейзенгезанг. — Прикажете прочесть эту депешу?

— Нет, к чему же, мы все уже знакомы с ее содержанием, — заметил Гондремарк. — Ведь ваше высочество одобряет?

— Безусловно! Я, не задумываясь, готова ее подписать! — заявила принцесса.

— В таком случае, мы можем считать эту депешу прочитанной, — сказал барон. — Соблаговолите, ваше высочество, скрепить ее вашей подписью.

Серафина взяла перо и одним росчерком начертала под бумагой свое имя, после чего передала ее Гондремарку. Гондремарк, Эйзенталь и один из безгласных подписали ее один за другим не читая, и, наконец, документ перешел для подписи к доктору Гогенштоквитц.

Он принялся не торопясь читать депешу.

— Мы не можем терять так много времени, господин доктор! — грубо крикнул ему барон. — Если вы не желаете ставить вашей подписи по доверию к вашей государыне, то передайте бумагу дальше, а если хотите, можете выйти из-за стола! — добавил он, дав волю своему бешенству.

— Я отклоняю ваше предложение, господин фон Гондремарк, а мой государь, как я к сожалению замечаю, продолжает еще находиться в отсутствии, — спокойно ответил доктор, и снова принялся внимательно изучать бумагу, которую он не выпускал из своих рук. Видя это, все присутствующие метали на него гневные взгляды и переглядывались между собой.

— Государыня и высокочтимые господа советники, — сказал, наконец, доктор, — то, что я держу сейчас в моей руке, это ничто иное

как объявление войны!

— Ну да, ничто иное! — сказала Серафина вызывающе и вспыхнув на мгновение от сдержанного гнева.

— Господа, государь Грюневальда здесь, под одним кровом с нами, — продолжал Готтхольд, — и я настаиваю на том, чтобы он был приглашен на это заседание совета, где решаются такие важные вопросы. Приводить свои основания я считаю излишним, потому что вы все их отлично и сами понимаете и в глубине души вам всем совестно за этот задуманный вами обман и обход закона.

Все присутствующие разам заволновались, послышались сдержанные, возмущенные и неодобрительные возгласы.

— Вы осмеливаетесь оскорблять принцессу! — громовым голосом крикнул Гондремарк.

— Я повторяю свой протест. Подобный вопрос не может быть решен без ведома государя этой страны, — спокойно проговорил доктор.

И в самый разгар этого смятения дверь залы распахнулась, докладчик возгласил: «Господа, принц!», и принц Отто вошел, как всегда величественный, любезный и спокойный, чувствуя себя свободно и самоуверенно, как всегда. Его появление было как масло, вылитое на взбаламученное море; все моментально заняли снова свои места, а Грейзенгезанг, желая придать себе вид человека занятого делом, принялся с особым усердием перебирать бумаги в своем портфеле, но в своей поспешности вновь очутиться на своих местах все как один забыли встать, когда вошел принц.

— Господа! — окликнул их принц с упреком и остановился.

Все вскочили разом, точно в испуге, и это замечание еще более смутило всех, совершенно растерявшихся, более слабых духом членов совета.

Принц медленно прошел к своему месту, но прежде чем занять его, опять остановился и, строго глядя на Грейзенгезанга, спросил:

— Каким образом, господин канцлер, могло это случиться, что я не был предупрежден о перемене времени заседания совета?

— Ваше высочество, — начал было канцлер. — Ее высочество принцесса... и дальше он не договорил.

— Я поняла так, — сказала Серафина, стараясь выручить старика, что вы не намеревались присутствовать на этом заседании.

Их глаза на мгновение встретились, и затем Серафина не выдержала и невольно опустила свой взгляд, но при этом злоба в ее сердце разгорелась только еще ярче от сознания своей пристыженности и виновности

— А теперь, господа, — сказал Отто садясь, — прошу вас сесть. Я некоторое время был в отсутствии; вероятно, за это время накопились кое-какие запоздалые дела и бумаги; но прежде чем заняться этими делами, фон Графинский, вы позаботитесь, чтобы мне были немедленно доставлены четыре тысячи крон. Прошу это запомнить! — добавил он, видя, что государственный казначей смотрит на него с недоумением.

— Четыре тысячи крон? — спросила Серафина. — А можно вас спросить — зачем?

— Для моих личных надобностей, madame, — ответил, улыбаясь, Отто.

Гондремарк толкнул под столом Графинского, сопровождая это движение красноречивым взглядом.

— Если ваше высочество благоволит указать назначение этой суммы, — начала была эта марионетка барона.

— Вы забываете, сударь, что вы здесь находитесь не для того, чтобы допрашивать вашего государя, а для того, чтобы исполнять его приказания, — сказал Отто.

Графинский растерялся и взглянул на своего господина, прося его о помощи и заступничестве, и Гондремарк тотчас же поспешил выручить его, заговорил слащавым примирительным голосом.

— Ваше высочество, вероятно, будете весьма удивлены, — начал он, — и я скажу, не без основания, конечно, — но господин Графинский сделал бы несомненного гораздо лучше, если бы он прямо начал с того, что разъяснил вашему величеству настоящее положение дел. Все ресурсы страны в данный момент совершенно истощены и поглощены; но как мы надеемся иметь возможность доказать вашему высочеству, — деньги потрачены разумно. Через один какой-нибудь месяц, я не сомневаюсь, что мы сумеем исполнить ваше приказание, ваше высочество может этом положиться на меня, но в данный момент, я боюсь, что даже и в таких мелочах вашему высочеству придется помириться с невозможным. Поверьте, что ваше желание угодить вам не подлежит сомнению, но возможности к тому не представляется.

— Скажите мне, господин Графинский, сколько нас в данный момент наличности в государственной казне? — спросил Отто.

— Мы в данное время нуждаемся, ваше величество, положительно в каждой кроне!.. — растерянно залепетал, протестуя, казначей.

— Мне кажется, сударь, что вы позволяете себе увиливать от ответа на мой вопрос! — вспыхнул принц, сопровождая свои слова гневным взглядом. Затем, обернувшись к маленькому столику, он сказал: — Господин секретарь, будете любезны принести мне роспись и отчетность государственного казначейства за последнее время.

Господин Графинский побледнел как полотно; канцлер, ожидая, что теперь очередь будет за ним, по-видимому, бормотал про себя молитвы; Гондремарк насторожился и подстерегал, как жирный кот, дальнейшие выступления принца, а Готтхольд, со своей стороны, смотрел на своего кузена с удивлением и радостным недоумением. Несомненно, что он проявлял свою волю и действовал умно и настойчиво; но что мог означать весь этот разговор о деньгах в такой серьезный момент? И затем, для чего ему было тратить свои силы на нечто лично его касающееся?

— Я вижу, — сказал Отто, строго и спокойно глядя на присутствующих, уставив свой указательный палец на лежащий перед ним документ, — я вижу из этого, что у нас имеются сейчас в наличности сумма в двадцать тысяч крон.

— Совершенно верно, ваше высочество, — сказал Гондремарк, — но наши обязательства, из коих некоторые, к счастью, не подлежат немедленному удовлетворению, в значительной мере превышают эту сумму; и в настоящий момент положительно невозможно изъять из этой наличности даже один флорин. В действительности наша казна пуста. Нам уже представлен к уплате очень крупный счет за военные припасы.

— Военные припасы?! — воскликнул Отто, превосходно прикидываясь удивленным. — Но насколько я помню, а память редко мне изменяет, мы уплатили по этому счету еще в январе.

— После того были сделаны еще новые заказы, — пояснил барон. — К прежним заказам был еще добавлен новый артиллерийский обоз, полная амуниция и ружья на пятьсот человек, семьсот походных вьюков и вьючных мулов; в специальной записке

все это обозначено до мелочей. Прошу вас, господин секретарь фон Гольтц, дайте сюда эту записку.

— Право, можно подумать, господа, что мы собираемся воевать! — усмехнувшись, заметил Отто.

— Да мы и собираемся, — сказала Серафина.

— Воевать?! — крикнул принц. — А позвольте вас спросить, господа, с кем? В Грюневальде веками царил мир. Скажите же мне, кто позволил себе задеть нас или нанести нам оскорбление? Я хочу знать причины, вынуждающие нас к войне.

— Вот здесь, ваше высочество, ультиматум, — сказал Готтхольд, передавая принцу бумагу, которую он все время не выпускал из рук, — он подписывался советом в тот момент, когда ваше высочество так кстати изволили пожаловать сюда.

Отто взял и положил бумагу перед собой, и в то время, как он читал, принялся барабанить пальцами по столу.

— И этот ультиматум предполагалось послать без моего ведома? — спросил он, глядя строго и вопросительно на присутствующих.

Один из безгласных членов совета, желая подслужиться, взялся ответить.

— Доктор фон Гогенштоквиц только что заявил о своем несогласии и нежелании поставить свою подпись.

— Дайте мне сюда всю предварительную переписку, — сказал принц.

Ему подали все относящиеся к этому вопросу бумаги, и он не торопясь стал прочитывать их одну за другой от начала до конца, тогда как господа члены совета с весьма глупыми лицами безмолвно уставились глазами в сукно стола, а секретари на своем особом маленьком столике обменивались молча восхищенными взглядами, предвкушая раздор в совете, что являлось для них редким и весьма забавным развлечением.

— Господа, — сказал Отто, окончив свое чтение, — я с огорчением читал эту переписку. Эта наша претензия на Обермюнстерль явно несостоятельна и несправедлива; она не имеет даже видимости, даже тени видимости справедливости. И во всем этом деле, можно сказать, нет достаточно содержания, даже и для послеобеденной беседы, а вы стараетесь выставить это как «casus belli».

— Несомненно, ваше высочество, — согласился Гондремарк, который был слишком умен, чтобы отстаивать то, чего нельзя было отстоять, — наша претензия на Обермюнстероль, ничто иное, как простой предлог!

— Прекрасно, — сказал принц, — господин канцлер, возьмите перо и пишите: — «Совет княжества Грюневальд», — начал он диктовать. — Я не стану упоминать здесь о моем вмешательстве, — сказал он, обращаясь с ядовитой усмешкой к присутствующим, а затем прибавил: — я уже не говорю о том странном умолчании и утайке, с какими все это дело было проведено помимо меня чисто контрабандным манером, далеко не благовидным, надо сознаться. Я удовольствуюсь тем, что успел вмешаться вовремя в это дело. Итак, пишите, — продолжал он, снова принимаясь диктовать: — «по дальнейшем рассмотрении фактов и причин, и принимая во внимание сведения и объяснения, заключающиеся в последней депеше из Герольштейна, имеет удовольствие объявить, что он совершенно солидарен во взглядах и чувствах своих с двором великого герцогства Герольштейн»... Вы написали? Прекрасно! Дайте мне просмотреть... Так!.. Ну, теперь вы согласно этому составите депешу и немедленно отправите ее в Герольштейн.

— С вашего разрешения, ваше высочество, я хотел бы сказать, — начал барон Гондремарк, — что ваше высочество так мало знакомы с первоначальной историей этой переписки, что всякое вмешательство в данном случае может быть только опасным и вредным. Подобная депеша, какую вы изволили сейчас составить, ваше высочество, доказала бы неосмысленность всей предыдущей политики Грюневальда.

— Политика Грюневальда! Грюневальдская политика! — воскликнул принц. — Право, можно подумать, что в вас нет ни малейшего чувства юмора. Ведь то, что вы говорите, положительно смешно! После того почему бы вам не удить рыбу в кофейной чашке?

— Почтительнейше позволю себе заметить, ваше высочество, что и в кофейной чашке может оказаться яд. Дело в том, что цель этой войны не только территориальные приобретения, а еще того менее, жадность к военной славе, потому что, как ваше высочество совершенно справедливо изволили указать, Грюневальд слишком мал и незначителен, чтобы питать честолюбивые замыслы. Но дело в том,

что наше государственное тело, самый народ ваш, проявляет признаки серьезного недуга: республиканские мечты, социалистические стремления, и многие разлагающие идеи распространились в народе. Объединяясь группа с группой, составила поистине грозная организация, которая не шутя потрясает основы вашего трона, ваше высочество.

— Да, я уже слышал об этом, господин фон Гондремарк, — вставил совершенно спокойно принц, — но я имею серьезные причины предполагать, что вам все это должно быть гораздо лучше известно. — И странная усмешка скользнула по губам принца при этих словах.

— Я весьма счастлив этим выказанным мне моим государем доверием, — не смущаясь продолжал Гондремарк, — и именно ввиду этих внутренних наших беспорядков сложилась и наша настоящая внешняя политика. Необходимо было чем-нибудь отвлечь общественное внимание; занять чем-нибудь умы, дать занятие бездельникам и лентяям и сделать что-нибудь, чтобы правление вашего высочества приобрело известную популярность в народе и, если можно, дать вашему высочеству возможность уменьшить налоги — разом и на значительный процент. Предполагаемая экспедиция, — так как иначе, как гиперболически, ее нельзя назвать войной, — эта предполагаемая и задуманная нами экспедиция, по мнению совета, казалось, совмещала в себе все эти необходимые условия; заметное улучшение общественного настроения наблюдалось уже даже с момента начала наших приготовлений, и я нимало не сомневаюсь, что в случае успеха действие его на народные умы превзойдет даже все наши ожидания.

— Вы очень ловкий человек, господин фон Гондремарк, — сказал Отто, — вы положительно приводите меня в восторг! Я до сего времени не умел вполне оценить ваши способности.

Серафина при этом разом повеселела и подняла свой взгляд на барона, считая принца побежденным; но Гондремарк все еще выжидал и не торопился радоваться, он ждал во всеоружии, что будет дальше. Он отлично знал, что слабых характерные люди чрезвычайно упорны и настойчивы, особенно когда они возмущаются против своих поработителей.

— Ну-с, а схема территориальной армии, к допущению которой вам удалось меня склонить, имела в тайне цель служить тем же

задачам? — спросил принц, глядя в упор на Гондремарка.

— Я и по настоящее время считаю, что это дало благие результаты, — сказал барон. — Привычка к дисциплине, к сторожевой службе, к разведочной службе, все это превосходные успокаивающие средства. Но я сознаюсь вашему высочеству, что в то время, когда был издан декрет, я не подозревал истинных размеров распространения в народе революционных идей и революционного движения, чего, впрочем, никто из нас тогда не подозревал, и никто не допускал мысли, что подобная территориальная армия могла служить в одинаковой мере и целям революционеров, и даже быть, так сказать, частью их плана.

— Быть частью их плана? — спросил Отто. — Странно!.. На чем же вы это основываете?

— Предположения мои, конечно, чисто гадательные, — ответил барон. — У главарей родилась мысль, что территориальная армия, состоящая из самого населения, — из всего народа, — представляющая собой, так сказать, вооруженный народ, может в случае народного восстания оказаться безучастной... или вернее, ненадежной защитой для трона.

— Понимаю, — сказал принц, — да, я начинаю понимать.

— Ваше высочество начинает понимать? — повторил Гондремарк с особой слащавой любезностью. — Но осмелюсь ли просить, ваше высочество, докончить эту начатую вами фразу.

— Извольте. Я начинаю понимать всю историю этой революции, — сухо сказал Отто. — Ну-с, а теперь скажите мне, к какому вы пришли заключению?

— Я пришел к такому заключению, ваше высочество, — ответил барон, принимая вызов, не сморгнув даже глазом. — Война эта пользуется сочувствием населения, она популярна, и если завтра слух об этой войне будет опровергнут, то это вызовет несомненно неприятное разочарование во многих слоях общества, а при настоящем возбуждении умов даже этого может быть достаточно для того, чтобы ускорить ход событий. Вот в чем опасность! Революция, так сказать, нависла над нами; и, сидя здесь в совете, мы, можно сказать, сидим под Дамокловым мечом.

— В таком случае нам следует общими силами найти какой-нибудь приличный выход из этого положения, — сказал Отто.

Серафина, которая до этого времени с самого того момента, когда Готтхольд впервые выразил протест, не произнесла и двадцати слов и сидела неподвижно, несколько покрасневшая, опустив глаза, и время от времени нервно постукивала ногой под столом. Все это время она обсуждала в своем уме все эти вопросы и геройски боролась с душившим ее гневом, но теперь она не выдержала и, утратив всякую власть над собой, дала полную волю своей досаде и своему нетерпению.

— Выход! — крикнула она злобно. — Да он был найден и подготовлен раньше, чем вы узнали о необходимости какого-нибудь выхода! Подпишите эту депешу, и пусть будет конец этой ненужной проволочке.

— Madame, прошу заметить, что я сказал «приличный выход», — возразил на это Отто с почтительным поклоном, — а эта война, с моей точки зрения и со слов барона фон-Гондремарк, совершенно неприемлемый прием. Если мы здесь плохо управляли Грюневальдом, то на каком же основании население Герольштейна должно поплатиться за это своею кровью и своим достоянием за наши грехи? Нет, этого не будет, madame, во всяком случае не будет до тех пор, пока я жив. Но вместе с тем я придаю такое важное значение всему тому, что я услышал здесь сегодня в первый раз, что я останавливаюсь даже над весьма естественным вопросом, почему только сегодня, а не раньше? И я очень желал бы найти такое средство помочь беде, которым я мог бы воспользоваться с честью для себя или во всяком случае не теряя уважения к себе!

— Ну, а если это вам не удастся? — спросила она.

— Если это мне не удастся, то я встречу удар раньше, чем он успеет на меня обрушиться, — сказал принц. — При первом явном возмущении моего народа, я созову народное собрание и если оно потребует, отрекусь от престола.

Серафина злобно рассмеялась.

— И это тот человек, за которого мы здесь работали! — крикнула она. — Мы сообщаем ему о происшедшей перемене, он заявляет нам, что будет искать выход или средство предотвратить беду, и это средство он видит в отречении!! Государь, неужели в вас совсем нет стыда, что вы являетесь сюда в последний час, являетесь к нам, перенесшим весь зной и всю тягость дня, и одним взмахом рушите

весь наш труд! Неужели вы сами не дивитесь себе? Я была здесь на» своем месте и всеми силами старалась поддержать ваше достоинство. Я советовалась с мудрейшими людьми, каких я могла найти подле себя в то время, как вы увеселялись и охотились. Я с предусмотрительностью создавала свои планы, разрабатывала их, и когда они наконец созрели и должны были перейти к осуществлению, как раз тогда являетесь вы на несколько часов, чтобы разрушить все то, что было создано с таким трудом, что стоило стольких усилий! И завтра вы снова будете гоняться за новыми удовольствиями и развлечениями, и дозволите нам опять думать и работать за вас; и затем вы явитесь сюда вновь, и вновь уничтожите все то, чего у вас не хватило усердия и умения создать! О, это положительно невыносимо! Будьте же хоть скромны, сударь, не претендуйте на звание, которое вы не можете и не умеете с честью поддержать! Я бы на вашем месте не стала отдавать приказания с таким апломбом. Неужели вы не сознаете, что их исполняют не из уважения к вам? Что вы такое? Разве вам здесь место, в этом совете серьезных людей? Что вам тут делать? Идите! — крикнула она. — Идите к себе подобным! Даже люди на улице смеются над вами, как над принцем!

При этом неожиданном и странном взрыве весь совет точно остолбенел.

— Madame, — сказал барон, серьезно встревоженный, позабыв даже свою обычную осторожность. — Сдержитесь!

— Обращайтесь ко мне, барон! — крикнул принц. — Я не желаю допускать этих перешептываний!

Серафина разразилась слезами.

— Государь! — воскликнул барон, встав со своего места. — Эта дама...

— Еще одно замечание, барон фон Гондремарк, и я прикажу вас арестовать.

— Ваше высочество — мой господин и повелитель, — сказал Гондремарк, почтительно кланяясь.

— Советую вам чаще вспоминать об этом, — сказал Отто. — Господин канцлер, возьмите все эти бумаги и отнесите их в мой кабинет. Господа, совет распущен!

Сказав это, принц встал, поклонился и вышел из залы заседаний в сопровождении Грейзенгезанга и секретарей; почти в тот же момент

приближенные дамы принцессы, вызванные сюда поспешно дежурным камергером, вошли из другой двери в зал заседания, чтобы проводить принцессу в ее апартаменты.

VIII. Сторонники войны начинают действовать

Полчаса спустя Гондремарк был уже снова в кабинете Серафины, где они заперлись на ключ.

— Где он теперь? — спросила принцесса, как только Гондремарк вошел в комнату.

— Он сейчас в своем кабинете, madame, с канцлером и секретарями, — сказал барон, — и, чудо из чудес, он занимается государственными делами!

— Ах! — вздохнула она. — Он, как видно, рожден для того, чтобы мучать меня! Боже, какое падение! Какое унижение! Такой блестящий план и рушится из-за таких пустяков! Но теперь все безвозвратно потеряно и ничего тут не поделаешь.

— Нет, madame, ничего не потеряно; напротив того, даже, можно сказать, кое-что найдено! Прежде всего вы нашли правильную оценку его особы, вы увидели его таким, каков он есть на самом деле, как вы видите все остальное, где не замешано ваше доброе сердце, и ваша снисходительность, иногда излишняя; теперь вы видите его своим рассудочным, беспристрастным взглядом государственного человека, а не впечатлительной женщины. До тех пор, пока он имел право вмешиваться — предполагаемое, могущее создаться государство могло представляться лишь в далеком будущем. Я вступил на этот путь, предвидя все его опасности, даже и к тому, что теперь произошло, я был готов, — это не было для меня невероятной неожиданностью; но, madame, я знал две вещи, и я был в них абсолютно уверен: я знал, что вы рождены, чтобы повелевать, а я рожден, чтобы служить; я знал, что, благодаря редкой случайности, рука нашла то орудие, которое ей было нужно, и с первого момента нашей встречи я был уверен, как уверен и сейчас, что никакой законный балагур или фигляр не в силах поколебать или расстроить этот союз.

— Вы говорите, что я рождена, чтобы повелевать! — воскликнула она. — А мои слезы, вы забыли?

— Ведь это были слезы Александра Македонского, madame! — воскликнул Гондремарк. — Эти слезы не только растрогали, они

потрясли меня! Была минута, когда я забылся, — даже я! Но неужели вы думаете, что я не заметил, что я не восхищался вашим поведением вплоть до этого момента? Что я не оценил вашего громадного самообладания? Видит Бог, это было великолепно! Царственно! Это стоило посмотреть! Это надо было видеть!

Он с минуту молчал, желая произвести большой эффект. Затем он продолжал:

— Глядя на вас, я черпал мужество, во мне росла уверенность, что в конце концов мы победим, и я старался подражать вашему спокойствию. Мне казалось, что я говорил хорошо; всякий человек, которому доступны веские аргументы, не мог не убедиться в правильности и разумности наших действий. Но, очевидно, этому не суждено было случиться, и клянусь вам, *madame*, я отнюдь не сожалею о том, что мне не удалось его убедить. Позвольте мне говорить с вами открыто; разрешите мне открыть перед вами мое сердце! В своей жизни я любил две вещи, две великие, достойные любви вещи: эту страну, мою вторую родину, и мою государыню!

И он склонился низко и умиленно поцеловал ее руку.

— И теперь мне остается одно из двух: оставить мою службу здесь, покинуть эту страну, усыновившую меня, и государыню, которой я поклялся в душе служить до последнего моего издыхания, или... — и он не договорил и замолк.

— Увы, барон фон Гондремарк, никакого «или» нет! — сказала Серафина.

— Нет, *madame*! Дайте мне только время, — возразил Гондремарк. — Когда я в первый раз увидел вас, вы были еще девочка, и не каждый мужчина предугадал бы скрытую в вас силу и мощь. Но мне случилось всего дважды беседовать с вашим высочеством, и после того я почувствовал, что нашел свою госпожу! Я думаю, *madame*, что у меня есть известная доля ума и знаю, что у меня много честолюбия. Но мой ум — из разряда подчиненных умов, нуждающихся в руководстве и господстве чьем-нибудь, и для того, чтобы создать себе карьеру, я должен был найти кого-нибудь, кто бы был рожден для того, чтобы царствовать и повелевать, и я нашел вас! Вот та почва и то основание, на которых образовался наш союз. Каждый из нас нуждался в другом, и один искал в другом своего господина, а другой своего слугу! И получился и рычаг, точка опоры! Говорят, что браки

совершаются в небесах, а если так, то такие, чистые, серьезные, трудолюбивые и интеллектуальные союзы, рождающиеся для того, чтобы созидать государства, быть может, империи, тем более должны совершаться в небесах! Но это еще не все! Мы столкнулись друг с другом, когда оба уже созрели для великих замыслов и идей, которые начали выливаться в известные реальные формы, выясняться и обрисовываться все ярче и осязательнее в каждом нашем разговоре. И мы сроднились, и срослись, как близнецы. И я почувствовал, что вся моя жизнь до того момента, когда я встретил вас, была бесцветная и бледная, что я жил, словно в потемках. Скажите, ваше высочество, не было ли... я смело льщу себя мыслью, что то же самое было и с вами! Потому что до этого вы не имели того зоркого орлиного взгляда, того широкого кругозора, того мощного полета мысли! Таким-то образом мы подготовились к нашим великим задачам, выносили их и созрели для того, чтобы начать действовать.

— Это правда, — сказала она задумчиво, — я чувствую, что это так. Но замысел, но самая идея — ваша; в своем великодушии вы несколько несправедливы к себе; а все, что я могла сделать, это дать вам надлежащее положение, предоставить вам некоторую возможность действовать и в качестве точки опоры — этот трон. Но я могу сказать, что все это я предоставила вам без оговорок, я горячо сочувствовала всегда всем вашим замыслам; и вы могли быть уверены во мне, в моей поддержке, уверены в моем чувстве справедливости. Но мне отрадно слышать, что я была вашей помощницей; повторите мне это, повторите еще раз, прошу вас!

— Нет, — сказал он, — потому что этого мало. — Вы были все время не только моей помощницей, но вы создали меня, вы были моей вдохновительницей, источником и началом каждой моей мысли, каждого моего замысла. И когда мы вместе готовили нашу политику, взвешивая и обсуждая каждый шаг, как часто вы поражали и восхищали меня вашей проницательностью, вашей предусмотрительностью и вашей чисто мужской трудоспособностью, вашей смелостью и решимостью. И вы знаете, что это не слова лести; ваша совесть вторит тому, что я вам говорю. Урвали ли вы от дела хоть один день? Предавались ли вы забавам и развлечениям? Молодая и прекрасная, вы жили все эти годы исключительно одним тяжелым умственным трудом, изнуряющей умственной работой, терпеливой и

настойчивой обработкой различных мелочей. Но вы получите свою награду! Падение Бранденау положит основание трону вашего будущего царства, быть может, вашей империи!

— Какие мысли таятся у вас в голове? — спросила принцесса. — Разве теперь не все погибло?

— Нет, моя принцесса! И я вам скажу, что одна и та же мысль таится и в моей и в вашей голове — ответил он.

— Клянусь вам, барон фон Гондремарк, всем, что у меня есть святого, у меня нет решительно никакой мысли в данный момент; я раздавлена, я уничтожена...

— Вы говорите так, потому что смотрите на чувственную, страстную сторону своей богатой, благородной натуры, которая только что подверглась жестокому оскорблению, в которой еще живет горечь недавней обиды; но загляните в ваш рассудок — и спросите его, что он подсказывает вам; загляните в свой ум, а не в свое сердце, и скажите мне.

— Я ничего, ничего не вижу и там, ничего, кроме возмущения! — сказала она.

— Не совсем так. Вы видите там одно слово, словно выжженное огненными буквами, — и это слово — «Отречение»!

— О, — воскликнула Серафина. — Жалкий трус! Он все решительно взвалил на мои плечи. И в минуту испытания и опасности он поражает меня в спину. Нет в нем ничего: ни уважения, ни любви, ни мужества! Свою жену, свое достоинство, свой трон и честь своих предков, — он все забыл!

— Да, — подтвердил Гондремарк. — Уж одно это слово «Отречение» чего стоит. Но в нем я вижу мерцание новой зари.

— Аа!.. Мне кажется, что я читаю ваши мысли... — промолвила принцесса. — Но это безумие, чистейшее безумие, барон! Я еще более непопулярна, чем он, вы это знаете! Они могут мириться с его слабостями, могут извинить его легкомыслие, и все же, хотя и осуждают его, но любят, меня же народ ненавидит!

— Такова неблагодарность толпы, — сказал Гондремарк. — Но мы здесь шутим, а я желал бы высказать вам открыто мою мысль. Человек, который в момент опасности говорит об отречении, в моих глазах не более как вредное животное. Я говорю резко, madame, потому что говорю серьезно; теперь не время жеманиться и

подыскивать мягкие выражения. Трус в известном общественном положении — опаснее огня! Мы сейчас находимся на кратере вулкана, и если этому человеку будет дана воля, то не пройдет недели, как Грюневальд захлебнется в невинной крови! Вы знаете, что я говорю правду; мы с вами не бледнея смотрели на эту всегда возможную катастрофу. Для него это, конечно, быть может, ничто, потому что он в случае взрыва — преспокойно отречется. — Отречься! Боже правый! Как мог выговорить подобное слово прирожденный государь! И тогда, что станется с этой несчастной страной, с этим народом, порученным его заботам и попечениям, — с этими сотнями и тысячами жизней мужчин и честью женщин!..

При этом голос Гондремарка как будто оборвался; но он очень скоро совладал с своим волнением и продолжал:

— Вы, madame, относитесь более серьезно к своим обязанностям, к своей ответственности. Мысленно я разделяю с вами эту ответственность; и ввиду ужасов, которые я предвижу, ввиду бедствий, надвигающихся и нависших над государством, я говорю, а ваше сердце вторит за мною, — я говорю: мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться! Честь, долг, обязанность и даже забота о сохранении наших жизней заставляют нас идти вперед!

Она смотрела на своего собеседника, и видно было, что она, слушая его, глубоко вникает в каждое сказанное им слово.

— Я сознаю все это, — сказала она, — но я бессильна; власть в его руках, и сила также на его стороне.

— Власть? Сила? И то и другое в руках армии, — возразил Гондремарк, — и затем поспешил добавить, прежде чем она успела вмешаться: — Нам надо думать как спасти самих себя; я должен, во что бы то ни стало, какою бы то ни было ценой спасти мою принцессу, а она должна спасти своего министра! И оба мы вместе должны спасти этого самонадеянного, хвастливого и безумного человека, от его собственного безумия и безрассудства! В момент восстания он неминуемо должен будет стать первой жертвой народного гнева и возмущения. Я вижу, как толпа рвет его на части! — крикнул барон. — А Грюневальд, несчастный Грюневальд! Эта прекрасная, чудесная страна будет залита кровью, разорена! Нет, государыня, вы, у которой в руках власть, вы должны воспользоваться ею; вы это можете и ваша совесть должна вам это подсказать.

— Научите меня, как мне воспользоваться моей властью! — воскликнула она. — Допустим, что я лишила бы его каким-нибудь образом свободы действий, подвергла бы какому-нибудь ограничению его личной свободы, — ведь революция мгновенно обрушилась бы на нас...

Гондремарк прикинулся разбитым этим доводом.

— Да, это правда, — сказал он, — вы более дальновидны, чем я! — Но все же, вероятно, есть какой-нибудь выход! Выход должен быть!

— Нет, — сказала принцесса. — Я вам с самого начала говорила, что для нас теперь нет спасения. Мы ничем не можем помочь горю. Все наши надежды рухнули; рухнули из-за этого жалкого бездельника, невежды, труса, которому ни с того ни с сего пришел каприз вмешаться в государственные дела, быть может, всего на несколько часов, который, почем знать, завтра, может быть, вернется вновь к своим увеселениям простого деревенского парня. А здесь такой блестящий план разрушен! Все, созданное с таким трудом, с такой заботой!

Для ловкого Гондремарка всякий малейший предлог, самая крошечная зацепка годилась.

— Я нашел! — воскликнул он, ударив себя по лбу. — И как только я не подумал об этом раньше! Как это раньше не пришло мне в голову! Государыня, быть может, сами того не подозревая, вы разрешили задачу!

— Что вы хотите этим сказать? Говорите! — сказала Серафина.

Гондремарк сделал вид, будто собирается с мыслями, и затем, улыбаясь, ответил:

— Принц должен опять уехать на охоту.

— Ах, если бы он только это вздумал! — воскликнула Серафина, подавляя вздох. — Пусть бы ехал и оставался там!

— Вот именно! — подчеркнул барон. — Поехал бы и остался там. — Эти последние слова он произнес так многозначительно, что принцесса изменилась в лице; а ее собеседник, сознавая страшное значение своей двусмысленности, поспешил разъяснить:

— На этот раз он может отправиться на охоту не верхом, а в коляске, с приличным эскортом из наших наемных улан. Местом назначения его может быть, например, Фельзенбург. Эта местность здоровая и живописная; скалы высокие и неприступные, окна

небольшие, все заделанные тяжелыми надежными решетками; этот замок как нарочно построен для подобного назначения. Надзор за замком мы поручим шотландцу Гордону; уж у него-то не будет никаких возражений или вопросов совести, да и кто хватится этого государя? Кому он нужен? На что он нужен? Он поехал охотиться; вернулся во вторник, а в четверг опять уехал; все это весьма обычно, и никого не удивит. А тем временем война разыграется своим порядком. Нашему принцу скоро наскучит одиночество, и ко времени нашего триумфа и торжества или, если бы он оказался слишком упорен, — немного позднее, мы ему возвратим свободу, и выпустим его на соответствующих выгодных для нас условиях, и впоследствии мы вновь увидим его, забавляющегося своими любительскими спектаклями.

Серафина все время сидела мрачная, погруженная в мысли.

— Да, — промолвила она вдруг, — а депеша? Ведь он теперь пишет депешу.

— Она не пройдет ранее пятницы через совет, — спокойно возразил Гондремарк; — а что касается какой-нибудь неофициальной записки или извещения, то все гонцы в полном моем распоряжении и в полной зависимости от меня. Все это надежные, отборные люди. Я человек предусмотрительный, государыня.

— Да, по-видимому, это действительно так, — не без некоторой ядовитости вымолвила она, испытывая при этом один из своих минутных приступов отвращения к этому человеку. Спустя минуту она добавила:

— Мне претит подобная крайность, барон фон Гондремарк, должна вам откровенно в этом признаться.

— И я вполне разделяю ваши чувства, ваше высочество, — отозвался ловкий царедворец. — Но что прикажете делать, если другого выхода нет! Иначе мы совершенно беззащитны.

— Я это вполне сознаю, но это слишком сильное средство! Ведь это государственное преступление! — промолвила Серафина, кивая в сторону барона с выражением чувства подавленного отвращения.

— Загляните поглубже в этот вопрос, — возразил Гондремарк. — Кто собственно совершил преступление?

— Он! Он! — вдруг воскликнула молодая женщина. — Видит Бог, что он! И я считаю его ответственным за него. Но все же.

— Ведь, в сущности, ему не причинят ни малейшего зла, — успокаивал Гондремарк.

— Я знаю, — сказала принцесса, — но все же это бессердечно!

И в этот момент, как оно и всегда бывало с тех пор, как мир стоит, что судьба или другие боги всегда благоприятствовали смелым людям и являлись к ним на помощь, оказывая им свое содействие, так точно и теперь, благосклонные боги явились на помощь мудрому и смелому министру. Одна из фрейлин принцессы постучалась в дверь, прося разрешения войти; оказалось, что слуга только что подал ей записку, которую ему поручено было вручить барону Гондремарку. Это была карандашом набросанная на листке бумаги записка, которую хитрый и изворотливый Грейзенгезанг умудрился написать и отправить под самым носом Отто. И, судя по самой отважности подобного поступка, можно было сказать с уверенностью, насколько был перепуган сам автор этой записки, обычно столь трусливый и приниженный. У Грейзенгезанга вообще был всегда только один стимул, одна-единственная побудительная причина, руководившая всеми его действиями и поступками — это страх. Содержание записки было следующее:

«На первом же совете полномочия на право подписи будут отняты». Корнелиус Грейз.

Итак, после трех лет беспрепятственного пользования им, право подписи государственных документов и бумаг должно было быть отнято у Серафины. Это было уже даже более, чем обидой или оскорблением; это была, так сказать, всенародная пощечина, всенародное посрамление, — позор, которого Серафина не в силах была вынести. Она не задумалась над тем, каким образом ей досталось это право, как она его получила, но взвилась на дыбы, как горячий конь под ударом арапника, и приготовилась к прыжку, как раненый тигр.

— Довольно! — крикнула она. — Я подпишу приказ о его заключении. — Когда он может быть увезен отсюда?

— Мне необходимо не менее двенадцати часов, чтобы собрать надежных людей, и, кроме того, всего лучше сделать все это ночью. Скажем, завтра в полночь, если вам будет благоугодно, — сказал барон.

— Превосходно! — отозвалась она. — Мои двери всегда для вас открыты, барон фон Гондремарк, — и как только приказ будет готов, принесите мне его сюда для подписи.

— Государыня, — сказал барон, — одна вы из всех, нас не рискуете в данном случае своей головой. Поэтому, во избежание всякого рода затруднений и проволочек, я осмеливаюсь почтительнейше предложить вам — и написать и подписать этот указ, весь от начала до конца, вашей рукой.

— Вы правы, — сказала принцесса.

Тогда он положил перед нею на стол черновик приказа и почтительно отошел в сторону; она переписала приказ, перечитала его и вдруг злая, жестокая усмешка показалась у нее на лице.

— Я и забыла про его марионетку, — сказала она. — Пусть они составят друг другу компанию, — добавила принцесса и приписала в приказе имя доктора Готтхольда, который также приговаривался к заключению в замке.

— Ваше высочество всегда обо всем подумаете. Как видно, ваше высочество обладает лучшей памятью, чем ваш покорный слуга, — сказал барон, — и, получив в руки роковой документ, он в свою очередь внимательно просмотрел его.

— Прекрасно! — сказал он. — Теперь остается только подписать.

— Вы появитесь сегодня в гостиной, барон? — спросила она.

— Я полагаю, что это будет лучше, — ответил он, — чтобы избежать публичного скандала. Так как все то, что способно подрвать мое значение в общественном мнении, может повредить нам в ближайшем будущем, — сказал Гондремарк.

— Вы правы, — согласилась принцесса, и она протянула ему руку как старому другу, как равному себе.

IX. Цена речной фермы. Тщетная слава предшествует падению

Пистолет был, так сказать, разряжен, и при обыкновенных условиях эта сильная, яркая сцена, разыгравшаяся в зале совета, вероятнее всего, истощила бы совершенно весь запас энергии и гнева, и возмущения, каким мог располагать Отто. При иных обстоятельствах он, вероятно, начал бы после того обсуждать и осуждать свое поведение в совете; стал бы припоминать все, что было сказано правдивого и разумного Серафиной, и совершенно позабыл бы все, что было едкого, обидного и несправедливого в ее словах, и спустя полчаса дошел бы несомненно до того состояния, в каком добрый католик спешит к исповедальне, а добрый пьяница прибегает к бутылке. Но на этот раз два маловажных обстоятельства поддерживали в нем бодрость духа. Во-первых, ему оставалось еще решить бесконечное множество дел, а решать дела для человека столь беспечного и небрежного характера и привычек, как Отто, является лучшим успокаивающим совесть средством, так как решение дел отвлекает внимание и мешает человеку углубляться в свои мысли. Все послеобеденное время он усердно был занят делами и вместе с канцлером просматривал, прочитывал, подписывал и диктовал бумаги, утверждал и отсылал по назначению, словом, работал усиленно и с увлечением. И это поддерживало в нем бодрость душевную, окружая его в его собственных глазах известным ореолом работоспособности и вызывая известное чувство самоодобрения. Во-вторых, его самолюбие еще не было удовлетворено; ему не удалось получить нужные ему деньги, а завтра перед полуднем ему придется разочаровать и огорчить бедного Киллиана Готтесхейма, и в глазах этой семьи, которая и так была о нем весьма невысокого мнения, но для которой он желал сыграть роль утешителя, великодушного покровителя, пасть теперь еще ниже, чем прежде; а для такого человека, как Отто, это было положительно хуже смерти. Он никак не мог примириться с подобным положением. И даже в то время, как он занимался делами, работая усердно и разумно над разными мелкими, детальными вопросами своего княжества, он втайне создавал в уме своем план, с помощью

которого он мог бы вывернуться из этого положения. Эта схема была столь же приятна ему, как частному лицу, сколь постыдна для принца; в ней его легкомысленная природа как будто нашла возможность вознаградить себя за серьезный усидчивый труд этого дня. И он невольно засмеялся при мысли о задуманном им плане, а Грейзенгезанг, глядя на него, дивился и приписал его веселое настроение победоносному выступлению принца сегодня утром в зале совета.

Под впечатлением этой мысли старый царедворец осмелился выказать свое восхищение поведением своего государя:

— Ваше высочество напомнили мне сегодня утром в совете вашего покойного родителя, — сказал старик.

— Что такое? — спросил принц, мысли которого были заняты совсем другим.

— Я говорю о властном тоне вашего высочества в совещании совета, — пояснил льстец.

— А, вы об этом... да... — рассеянно протянул Отто.

Но несмотря на это столь небрежное отношение к словам канцлера, он все же почувствовал себя приятно польщенным, и после того его мысли опять вернулись к происшествиям этого утра и с приятным чувством самоодобрения остановились на отдельных подробностях его победы. «Я их всех разом укротил!» — думал он не без некоторой самодовольной гордости. Когда важнейшие дела были закончены, было уже поздно, и Отто оставил канцлера у себя обедать. Тот занимал принца рядом старых историй и самых новейших комплиментов по адресу своего государя, к которому он теперь всеми силами старался подольститься, на случай, если бы он одолел временщика и принцессу. Вся карьера канцлера с самого ее начала была основана исключительно на подслуживании; он положительно, как говорится, ползком пролез в чины и положение и тем же способом добрался и до высоких почестей и должностей; и в силу этого ум его был развращен, и вся натура его была подленькая; он всегда был готов продать за грош каждого, если это ему могло послужить на пользу; готов был снести и забыть какие угодно унижения и оскорбления, лишь бы через это выслужиться. Это был не человек, а жалкое создание, и его инстинкт пригодился ему и в данном случае. Для начала он пустил ядовитое замечание относительно умственных способностей женщин, а затем

пустился в более определенную область полунамеков, и за третьим блюдом он уже весьма искусно и красноречиво разбирал характер, склонности и способности принцессы Серафины, встречая одобрение ее супруга. Понятно, что имен не упоминал никаких, но при этом секрет, кто именно был идеальный абстрактный человек, которого все время канцлер сопоставлял с недостойной женщиной, оставался секретом, шитым белыми нитками по черному. Этот чопорный, льстивый старикашка обладал удивительным инстинктом, подсказывавшим ему всегда безошибочно, где можно было посеять или натворить зло; и так он пролезал и проползал в самую душу человека. И в данном случае он также старался всячески подкосить всякие благородные и добрые чувства в душе своего повелителя, и при этом ни на одну секунду его уважение к себе не заставило его призадуматься или встревожиться хоть сколько-нибудь. Отто, можно сказать, весь сиял и извне и внутри от тройкого влияния тонкой искусной лести, старого Токая, приятного сознания, что сегодня он мог быть доволен собою. Теперь он видел себя в самом привлекательном свете. Если даже этот Грейзенгезанг, думал он, мог заметить все эти недостатки и недочеты в характере, в личности и в отношениях Серафимы к нему и так подло сообщить обо всем этом враждебному лагерю, то он, отвергнутый супруг и отстраненный от своей законной власти принц, едва ли мог заблуждаться и быть слишком строг в своей оценке действий и поступков жены.

В таком прекрасном, сравнительно, настроении духа Отто простился со льстивым стариком, слова которого оказались столь приятной музыкой для его слуха, и, приведя в порядок свой туалет, принц прошел в гостиные и приемные покои, где по вечерам обыкновенно собирался двор. Но уже на лестнице его охватило как бы раскаяние, и когда он вошел в большую широкую галерею, ведущую в залу, и увидел жену, то вся абстрактная лесть старого царедворца развеялась в прах, сбежала, как струйки дождя с листьев, и он сразу пробудился к действительности. Серафина стояла на значительном расстоянии от него под большой зажженной люстрой, спиной к нему. Но при виде одного только изгиба ее талии его охватила почти болезненная физическая слабость. Так вот она, эта девочка — жена, которая когда-то лежала в его объятиях, которую он клялся любить и

беречь! Да, вот она! И она лучше всякого успеха, лучше любой победы!

И теперь она же помогла ему оправиться от этого непредвиденного удара. Она направилась к нему, плывя, как лебедь, по гладкому паркету зала, сияя самой ласковой и лучезарной улыбкой, до того деланной, что она казалась положительно оскорбительной.

— Фридрих, — сказала она любезно, — вы опоздали, мы вас ждали здесь.

И это была та высокая комедия, которая так свойственна несчастным бракам, и ее апломб вызвал в нем чувство отвращения.

В этой гостиной в обычные дни не соблюдался этикет; все держались здесь совершенно свободно; оконные ниши служили приютом для воркующих парочек, у большого камина располагались люди, ведущие обычный общий разговор, то есть, главным образом, обсуждавшие последний скандал и сообщавшие друг другу слухи и сплетни. А дальше, в дальнем конце у столов шла картежная игра. Туда на этот раз направился принц Отто не торжественно, а незаметно, исподволь рассыпая любезности на пути, останавливаясь на минутку то с одним, то с другим, обмениваясь парой слов, но упорно следуя в намеченном направлении. Подойдя к игорному столу, он встал против мадам фон Розен и как только увидел, что она его заметила, и глаза их на мгновение встретились, он молча удалился в одну из оконных ниш. Вскоре и она поспешила туда же.

— Вы прекрасно сделали, что вызвали меня из-за карт, — сказала она. — Эти карты когда-нибудь разорят меня вконец.

— Так бросьте их, — посоветовал Отто.

— Чтобы я бросила карты! — воскликнула она и рассмеялась. — Нет! Это моя судьба! Единственным моим шансом было умереть от чахотки, а теперь мне придется умереть на чердаке.

— Вы сегодня невесело настроены, — заметил Отто.

— Я проигралась, — ответила она. — Вы не можете понять, что значит жадность.

— Значит, я пришел в недобрый час, — сказал он.

— А вы желаете от меня какой-нибудь услуги! — воскликнула она, разом просияв и при этом удивительно похорошев.

— Мадам, — сказал принц, — я собираюсь создать свою партию и пришел к вам, чтобы прежде всего завербовать вас.

— Это уже сделано! — заявила она. — Вы видите, я опять уже стала человеком.

— Я, может быть, обманываюсь, — продолжал принц, — но мне хочется верить, и я верю, что вы не желаете мне зла, что вы не питаете ко мне нерасположения.

— Я, напротив того, желаю вам от души добра! — ответила фон Розен. — Я даже едва смею сказать вам, до какой степени.

— В таком случае, если бы я попросил вас оказать мне услугу? — спросил принц.

— Просите, mon prince! И что бы это ни было, я заранее говорю, что я согласна!

— Я желал бы, — сказал Отто, — чтобы вы сегодня же, в ночь, сделали фермером человека, о котором мы с вами недавно говорили.

— Одному Богу известно, что вы хотите этим сказать! — воскликнула графиня. — Я положительно не понимаю и даже не стараюсь понять; я знаю только одно, что нет предела моему желанию угодить вам. Вы можете назвать это безумием, но это так.

— Если позволите, я выражу это иными словами, — предложил Отто. — Но прежде позвольте мне один вопрос: крали вы когда-нибудь?

— Часто! — воскликнула она. — Я нарушала все десять заповедей, и если бы их завтра стало не десять, а больше, мне кажется, что я не могла бы заснуть, прежде чем я бы не нарушила и остальные.

— Дело в том, что здесь идет речь о грабеже, о краже со взломом, и я полагал, что это покажется вам забавным, — сказал принц.

— В этом отношении у меня нет практического опыта, — заметила она. — Но это пустяки; при добром желании чего только нельзя сделать! Я когда-то взломала рабочую шкатулку, чтобы выкрасть из нее письмо, когда я была еще девочкой-подростком, а затем взломала несколько сердец и мое собственное в том числе и выкрала из них много драгоценностей; но дверных замков я еще не взламывала. Впрочем, и это, вероятно, не так трудно. Все грехи до смешного незатруднительны! Ну, и так, что нам придется взламывать?

— Государственное казначейство, madame, — сказал Отто.

И он в кратких, но ярких словах набросал ей картину своего посещения Речной Фермы, с уместным, но не излишним пафосом рассказал о своем обещании приобрести ферму и, наконец, об отказе,

полученном им на совете сегодня утром, когда он потребовал необходимую для этой покупки сумму; и в заключение дал несколько практических указаний относительно расположения окон в казначействе и относительно кое-каких неудобств и препятствий, с которыми, может быть, придется считаться.

— И они отказали вам в этих деньгах? — сказала графиня, когда принц кончил. — И вы приняли этот отказ?!

— Но они привели мне резонные причины, — отозвался Отто, густо покраснев, — причины такого рода, что я не мог отвергнуть их, и теперь мне приходится грабить казну моей родной страны. Не скажу, чтобы это было похвально или благородно, но во всяком случае, это забавно!

— Забавно! Да! — воскликнула графиня. — И она вдруг задумалась и смолкла, и долгое время не проронила ни слова, но затем совершенно серьезно спросила: — А сколько вам нужно?

— Трех тысяч крон будет достаточно, — сказал Отто, — потому что у меня еще осталось кое-что из моих личных денег.

— Прекрасно! — сказала фон Розен, снова повеселев. — Рассчитывайте на меня, я ваша верная соучастница. Но где мы встретимся?

— Вы, конечно, знаете статую Летящего Меркурия в парке? — сказал принц. — Там скрещиваются три дорожки; на этом месте поставлена скамейка, как раз против фигуры; местечко это очень удобное и божество к нам благосклонное!

— Ребенок! — полумиленно, полущутя прошептала графиня и слегка ударила его своим веером. — Но знаете ли вы, mon prince, что вы ужасный эгоист! Ваше удобное местечко страшно далеко от меня! Вы должны дать мне по крайней мере побольше времени; я думаю, что никаким образом не сумею быть там раньше двух часов ночи. Но во всяком случае, когда часы пробьют два, ваша пособница будет на условленном месте, и, я надеюсь, будет встречена с распростертыми объятиями. Ах, погодите, скажите мне, думаете вы привести кого-нибудь с собой? — осведомилась она. — О, не ради приличия, вы знаете, ведь я, je ne suis pas une prude! Но я должна знать об этом.

— Я приведу с собой одного из моих грумов, — сказал Отто, — я изловил его, когда он крал мой овес.

— А как его зовут? — спросила фон Розен.

— Признаюсь, я этого не знаю; как видите, я еще недостаточно близко знаком с обкрадывающими меня конюхами, — засмеялся принц, — я просто хотел испытать свои способности в новой для меня профессии.

— Как я? Не правда ли? Но вот о чем я прошу вас: сделайте так, чтобы я вас застала уже на месте, чтобы мне не пришлось ожидать вас; не откажите мне в любезности немного подождать меня там, на скамейке. Так, значит, решено! Вы будете ждать меня! Ведь в этой экспедиции мы с вами будем не принц и графиня, а некая дама и землевладелец — хозяин фермы. А ваш друг и приятель, конюх-вор, пусть стоит за фонтаном, и никак не ближе! Значит, вы обещаете? Да?

— Madame, приказывайте все, что вам будет угодно. В данном случае вы капитан, а я только суперкарг! — засмеялся Отто.

— Ну, хорошо, донеси нас, Бог, благополучно в порт! — сказала она. — Надеюсь, сегодня не пятница?!

Но что-то в ее манере поразило Отто, что-то неуловимое, что-то такое, что возбудило в нем как бы тень подозрения.

— Не странно ли, — заметил он, вдруг став совершенно серьезным, — что в таком деле я избрал союзницу и соучастницу из враждебного лагеря.

— Безумец! — шепнула она. — Да ведь это ваша единственная мудрость, уметь распознавать ваших друзей. И вдруг в полумраке оконной ниши она поймала его руку и поцеловала ее порывисто и страстно. — А теперь идите, — сказала она, — уходите отсюда сейчас же!

И он ушел, несколько озадаченный, унося в душе опасение, что был на этот раз слишком смел. В данный момент эта женщина ослепила его, как драгоценный алмаз; и даже сквозь завесу его упорной живучей любви к жене он почувствовал как бы сильный толчок или потрясение. Но, спустя минуту, он освободился от этого страха, страх этот прошел у него так же быстро, как и налетел на него.

В этот вечер и принц и графиня рано покинули гостиную. Принц, тщательно проделав перед своим камердинером всю церемонию раздевания, отпустил его, а затем, немного погодя, вышел по маленькой потайной лесенке задним ходом в сад и отправился разыскивать своего грума.

И на этот раз все вокруг конюшен было тихо и темно. Отто опять прибежал к условному сигналу, и снова на этот условный стук выглянул тот же грум и едва не лишился чувств от испуга при виде принца.

— Добрый вечер, приятель, — сказал весело Отто, — я хочу, чтобы ты мне принес не мешок овса, а мешок из-под овса — пустой мешок, — и чтобы ты шел со мной. Мы пробудем в отсутствии, вероятно, всю ночь.

— Но, ваше высочество, на меня оставлены нынче эти малые конюшни; здесь кроме меня нет никого, — сказал, запинаясь, грум.

— Все равно, — ответил принц, — иди за мной! Ведь ты уж вовсе не такой ярый служака.

Но, заметив, что бедняга трясся, как в лихорадке, Отто успокаивающе положил ему руку на плечо и сказал:

— Если бы я желал причинить тебе зло или наказать тебя за твои проделки, разве бы я пришел сюда сам?

Парень сразу и успокоился и образумился. Он сходил за требуемым мешком и в одну минуту принес его; затем Отто повел его за собой по разным дорожкам, тропинкам и аллеям парка, все время ласково разговаривая и беседуя с ним, и, наконец, оставил его у фонтана, где пучеглазый Тритон непрерывно выплевывал изо рта тонкую струйку воды, падавшую в переполненную дрожащей и трепещущей водой чашу, в которой и сам он приютился и застыл. Оставил здесь своего спутника, принц направился к круглой лужайке на том месте, где скрещивались три дорожки, и где на белом мраморном пьедестале стояла на цыпочках, на пуантах, выражаясь по-балетному, недурная копия Летящего Меркурия Джан-Болоньи, белая в звездных сумерках ночи. Ночь была тихая, безветренная; маленький серп новолуния только что выплыл из-за вершин высоких деревьев парка; но этот тоненький серп был еще слишком мал и стоял еще слишком низко на небе, чтобы мог соперничать своим светом с сонмом более слабых светил, и хмурое лицо земли заливал нежный звездный свет, смягчавший все контуры, все резкие линии, все темные и мрачные тона и пятна. Там, вдали, в конце аллеи, извивавшейся по мере удаления в разные стороны, Отто мог видеть часть освещенной лампами дворцовой террасы, по которой безмолвно и равномерно расхаживал часовой, а еще дальше, — за террасой, виднелся уголок столицы с

скрещивающимися линиями уличных фонарей. Но здесь вокруг него молодые деревья стояли, залитые местами слабым отблеском звезд, местами совершенно темные, таинственные и неподвижные, и среди этой ненарушаемой ничем тишины и безмолвия парка, среди этой полной неподвижности окружающих кустов и деревьев подскочивший для полета белый мраморный бог казался живым существом.

И в этом прозрачном безмолвии ночи мысли Отто вдруг как-то страшно прояснились; его совесть и сознание вдруг засветились как циферблат городских башенных часов. Он старался отвлечь от них свое мысленное око, но, увы, какой-то палец, точно стрелка, настойчиво указывал ему на ряд проступков и ошибок, при виде которых у него захватило дыхание. Что же он делает здесь? Он поджидает соучастницу своего преступления! Свою сообщницу в дурном, постыдном деле! Правда, казна была растрочена безрассудно, но не по его ли вине? Не он ли допустил эту растрату своим невмешательством? А теперь он запутывал еще более финансы своей страны, которыми он по лености своей не занимался, которыми он уже давно не управлял, как не управлял и страной. И вот он собирается растратить государственные деньги и на этот раз на свою личную прихоть, на себя лично; хотя эта трата и не представляет собою ничего неблагородного или предосудительного сама по себе, но предосудительна, уже потому, что это было не на нужды государства. А человека, которого он пристыдил за то, что тот крал у него овес, сам теперь делал соучастником кражи государственных денег! И кроме всего этого, здесь еще была замешана madame фон Розен, на которую он смотрел свысока, с известным неприветливым презрением безупречного мужчины к порочной женщине. Потому что он считал ее опустившейся ниже всякого рода предрассудков, он избрал ее для того, чтобы заставить ее пасть еще ниже; он заставил ее поставить на карту все ее шаткое и сомнительное положение в обществе, сделав ее соучастницей позорного поступка и государственного преступления. А это было много постыднее всякого оболъщения!

И Отто принялся ходить очень быстро взад и вперед и свистел при этом все время не переставая, чтобы заглушить внутренний голос, раскрывавший ему неприглядную истину. Когда наконец он слышал шаги в самой темной и узкой из трех аллей, он с чувством облегчения кинулся навстречу графине. Бороться одному, один на один со своей

совестью, так тяжело слабому человеку, в котором еще не угасло все хорошее, и в такой момент особенно драгоценен такой товарищ, в котором мы уверены, что он хуже, чем мы, и который в смысле морали и нравственности стоит еще ниже нас.

Но навстречу принцу шел молодой мальчик миниатюрного сложения, со странной походкой и манерой, в шляпе с большими полями, несший, по-видимому, с чрезвычайным усилием тяжелый мешок. Отто поспешно отступил назад, но юноша поднял вверх руку, как бы давая сигнал, и, запыхавшись, добежал, словно с напряжением последних сил, до того места, где остановился принц и, опустив мешок на землю, он упал на скамью в полном изнеможении. При этом голова его слегка откинулась назад, и звездный свет упал на его лицо, в котором Отто тотчас же признал черты madame фон Розен.

— Это вы, графиня?! — воскликнул принц.

— Нет, нет, — ответила она, задыхаясь, — это молодой граф фон Розен, мой младший брат. — Превосходный парень... Но дайте ему отдышаться, Бога ради!..

— Ах, madame!..

— Называйте же меня графом! — прошептала она. — Уважайте, пожалуйста, мое инкогнито!

— Итак, граф, — начал Отто, — позвольте мне просить вас, благородный юноша, тотчас же отправиться со мной для того, чтобы осуществить задуманное дело.

— Сядьте рядом со мною, здесь, — сказала она, похлопывая рукой по свободному концу скамьи. — Я последую за вами через некоторое время. Я так ужасно устала; посмотрите, как бьется мое сердце, — и она взяла его руку и приложила ее к своему сердцу. — Ну, где же ваш вор?

— На своем посту, за фонтаном, — сказал Отто, — прикажете представить его вам? Он, по-видимому, прекрасный сотоварищ.

— Нет, — сказала она, — не торопите меня. Мне нужно еще прежде поговорить с вами. Это не то, чтобы я не любила вашего вора, я обожаю всякого, у кого хватает смелости поступать дурно. Добродетели и добродетельные люди меня никогда не прельщали, вплоть до того момента, когда я полюбила своего принца, — и она рассмеялась серебристым музыкальным смехом. — Да и то я

полюбила вас вовсе не за ваши достоинства и добродетели, если сказать правду, — добавила она.

Отто был чрезвычайно сконфужен; помолчав немного, он спросил:

— Ну, а теперь отдохнули?

— Сейчас, сейчас, — ответила фон Розен, — дайте мне перевести дух!

— Что вас так утомило? — Этот мешок? И скажите, пожалуйста, почему вам понадобился такой мешок? Вы могли в этом отношении положиться на мою предусмотрительность. А к тому же этот мешок далеко не пуст. Дорогой граф, я хотел бы узнать, каким хламом вы нагрузили его? Впрочем, всего проще взглянуть самому, — добавил Отто, и протянул руку к мешку.

Но фон Розен остановила его:

— Нет, Отто, — сказала она, — нет, не делайте этого, я сейчас скажу, я скажу вам все, без малейшей утайки. Все уже сделано! Я уже успела ограбить казначейство, одна, без посторонней помощи. Здесь три тысячи двести крон, я надеюсь, что этого будет довольно!

Ее смущение было так очевидно, что Отто невольно задумался, и смотрел ей в лицо, не отнимая от мешка протянутой к нему руки, которую графиня все держала в своей.

— Вы? Вы одна это сделали? — вымолвил он наконец. — Как?! Каким образом? — И вдруг, выпрямившись и отступив на шаг назад, он воскликнул: — О, madame, теперь я понимаю! Какого же вы должны быть низкого мнения о принце!

— Ну, нет, это была ложь! — крикнула она. — Нет, эти деньги мои, лично мои, доставшиеся мне самым честным путем. А теперь они ваши! То, что вы предлагали, было недостойным поступком, а я дорожу вашей честью, принц! Я поклялась себе, что я спасу ее, даже помимо вашей воли! И я убедительно прошу вас позволить мне спасти вашу честь.

И вдруг совершенно другим, ласковым, чарующим голосом она продолжала:

— О, Отто, умоляю вас, позвольте мне, дайте мне спасти вашу честь! Примите эту малость от вашего бедного друга, который так любит вас!

— Madame, madame, — бормотал Отто, чувствуя себя донельзя несчастным. — Я не могу, я не должен. Позвольте мне уйти!

И он наполовину привстал со своего места, но в мгновение ока она лежала перед ним на земле, обнимая его колени.

— Нет, нет! — шептала она — Нет, вы не уйдете! Вы не можете уйти! Неужели вы до такой степени презираете меня! Все это хлам, он мне не нужен! Он мне ненавистен! Я все равно проиграла бы все это за карточным столом, и у меня ничего бы от этого не осталось! Поймите, что для меня это прекрасное помещение денег, которое спасет меня от окончательного разорения. Отто! — воскликнула она, почувствовав, что он сделал слабую попытку высвободиться от нее. — Если вы оставите меня здесь одну, с моим позором и унижением, я умру на этом месте!

В ответ на это принц громко застонал.

— Подумайте только, что я теперь переживаю, каковы мои страдания и мои муки! Если вы так страдаете от чувства деликатности, то поймите, что же должна испытывать я в момент подобного унижения, когда отказываются принять от меня даже простую дружескую услугу... Да, вы предпочли бы даже украсть, чем взять от меня, — вот насколько вы презираете меня! Вы предпочитаете растоптать мое сердце, чем принять от меня маленькое одолжение! О, как вы беспощадны, как вы жестоки!!! Сжальтесь надо мной!.. Отто, Отто, из сострадания, из простого сострадания к женщине, молю вас, не отвергайте моей услуги. — И она продолжала обнимать его колени. — Но вот ее рука поймала его руку, и она принялась покрывать эту руку горячими, страстными, безумными поцелуями, и от этих поцелуев у него закружилась голова.

— О, — воскликнула она, — теперь я понимаю! Теперь я вижу, почему вы так упорствуете, — потому что я стара, что я нехороша, недостаточно прекрасна! О, ужас, о, унижение! — И она разразилась неудержимыми рыданиями.

Теперь принцу приходилось утешать и успокаивать ее и прежде, чем он успел потратить много слов, деньги были им приняты. Этот конец был неизбежен! Разве мог устоять этот слабый человек перед такою женщиною. И едва только было получено согласие, как мадам фон Розен мгновенно успокоилась; рыдания прекратились, и она стала благодарить принца своим музыкальным певучим голосом и заняла свое прежнее место на противоположном конце скамейки, на почтительном расстоянии от Отто.

— Теперь вы сами видите, — сказала она, — почему я вас просила, чтобы ваш вор остался подальше от нас, и почему я пришла сюда одна. — Вы понимаете, как я дрожала за свои сокровища!

— Madame, — отозвался Отто, — и в голосе его звучали слезы, — он удерживался, чтобы не зарыдать, — пощадите меня! — Вы слишком добры, слишком великодушны!

— Вы положительно удивляете меня принц, — сказала она. — Ведь вы избегли крупного безумства, — громадной ошибки; вы получили возможность исполнить обещание, данное вами старому крестьянину-арендатору фермы, вы нашли превосходное помещение денег для вашего друга, вы предпочли оказаться сердечным и великодушным вместо того, чтобы подчиниться пустому предрассудку, — и после всего этого вы как будто чего-то стыдитесь! Вы осчастливили женщину, которая вам беззаветно предана, и после того вы тоскуете как горлица, потерявшая своего голубка! Полноте, ободритесь! Воспряньте духом! Я знаю, что поступить совершенно правильно нелегко, что такого рода подвиги почти всегда действуют угнетающе на нашу от природы испорченную натуру, — но ведь вы не обязаны и впредь поступать так же, и потому простите себе на этот раз ваш добродетельный поступок, и посмотрите мне прямо в лицо, да постарайтесь улыбнуться!

И он взглянул ей прямо в лицо. Когда мужчина хоть на мгновение был в объятиях женщины, он уже видит ее в другом, в совершенно особом свете — он ее видит как бы в ореоле, а тем более, в такое время ночи, при звездном сиянии, в таинственной тишине дремлющего парка, на фоне темного полумрака она покажется вам непременно дивно хороша! На волосах играет мягкий звездный свет, ложась капризными причудливыми бликами; глаза вам кажутся небесными, а весь овал лица и все черты как-то сливаются при трепетном сиянии далеких звезд; вам она представляется каким-то художественным эскизом, прелестным наброском, в котором фантазия сливается с действительностью, в котором чувствуется какая-то неуловимая, неясная, но чарующая прелесть. И когда Отто взглянул ей в лицо, он как-то разом утешился в том, что потерпел поражение и не устоял; он точно ожил и заинтересовался этой женщиной.

— Нет, — сказал он. — Я не хочу быть неблагодарным!

— Вы обещали меня позабавить, — смеясь, припомнила она, — но позабавила вас я! — Да, бурная у нас с вами вышла сцена!

Теперь засмеялся и он; но звук и ее и его смеха едва ли мог быть назван успокоительным.

— Теперь скажите мне, что вы дадите мне взамен за мою превосходную декламацию и силу убеждений? — спросила фон Розен.

— Все, что вы пожелаете! — ответил он.

— Все! Чего бы я не пожелала? Вы мне ручаетесь в том вашей честью?.. Ну, предположим, что я потребовала бы корону? — И она обдала его при этом огненным взглядом, горевшим радостью и торжеством.

— Ручаюсь своей честью, — повторил Отто.

— Что же, потребовать у вас корону? — спросила фон Розен. — Нет! Что бы я стала с нею делать? Грюневальд такое крошечное государство, мое честолюбие метит гораздо выше. Я спрошу у вас... — а впрочем, я вижу, что мне решительно ничего не нужно. Нет, лучше я сама дам вам нечто, — я дам вам позволение поцеловать меня один раз, не больше.

Отто приблизился к ней, и она подняла к нему свое лицо. Оба они блаженно улыбались, оба готовы были рассмеяться как дети. Все это было так невинно, так шаловливо и игриво, и принц был положительно ошеломлен тем страшным потрясением, какое испытало все его существо в тот момент, когда губы их встретились. Одна секунда — и тот и другой отодвинулись подальше друг от друга — и некоторое время ни тот ни другой не вымолвил ни слова. Но Отто смутно сознавал, что в этом безмолвии, в этом молчании кроется опасность; но он не находил слов, он не знал, что сказать. Наконец графиня как будто пробудилась от сна и сказала:

— А что касается вашей жены... — и при этом голос ее звучал так чисто, так спокойно.

Эти слова заставили Отто очнуться. Он вздрогнул и пришел в себя.

— Я не хочу ничего слышать о моей жене, ничего неодобрительного! — крикнул он несколько резко, но тотчас же овладел собой и добавил более мягко и почти ласково: — Я скажу вам, мой друг, мою единственную тайну: я люблю мою жену.

— Вам следовало дать мне закончить начатую иной фразой, — сказала, улыбаясь, фон Розен. — Неужели вы думаете, что я без

умысла упомянула ее имя? Я видела, что вы потеряли голову, — и я тоже! Но теперь не позволяйте словам приводить вас в смущение и замешательство. Ведь слова — это мое единственное достояние, мое оружие, мой щит, мой меч! И если вы не слепой безумец, то вы увидите и вскоре убедитесь, что я своими руками возвожу крепости для защиты вашей добродетели! Во всяком случае, я желаю дать вам понять, что я не умираю от любви к вам. Для меня любовь, это приятное, улыбающееся мне занятие, но отнюдь не драма и не трагедия! Ну, а теперь дослушайте, что я хотела сказать вам о вашей жене: — она не есть и никогда не была любовницей Гондремарка; можете быть в этом вполне уверены, потому что если бы это было, он, наверное, стал бы похваляться этим, я его знаю! — Покойной ночи, принц!

И в одно мгновение она скрылась в узкой тайной аллее, а Отто остался один с мешком денег и собирающимся взлететь мраморным божком.

Х. Пересмотренное мнение Готтхольда и полное падение

Графиня покинула принца, подарив его лаской и пощечиной одновременно. Желанное слово, сказанное о его жене, и добродетельная развязка этого свидания, вероятно привели бы его в восхищение. Но тем не менее, в тот момент, когда он поднял мешок с деньгами и направился к тому месту, где его ожидал грум, он ощущал какое-то чувство неловкости, сознавая, что многие чувствительные места его совести были болезненно задеты. Сбиться с надлежащего пути и затем быть направленным на истинный путь является для человеческого и особенно для мужского самолюбия, так сказать, двойным испытанием. То, что он сам убедился в своей слабости и возможной неверности, потрясло его до глубины души; и в этот самый момент слышать о верности жены, несмотря на все искушения и соблазны, окружающие ее со всех сторон, — слышать об этом от женщины, которая не любила ее, — было так горько и так тяжело, что он едва мог вынести этот удар.

Он успел уже пройти половину пути от Летящего Меркурия к фонтану, где его ждал грум. Тогда мысли его начали несколько проясняться, и при этом он был чрезвычайно удивлен, убедившись, что в его душе говорит сейчас какое-то злобное чувство. Он остановился, как бы досадуя на что-то, и с сердцем ударил рукой по маленькому кусту на краю аллеи. Из куста разом вылетела при этом целая стая испугнутых от сна воробьев, которые мгновенно рассыпались и разлетелись во все стороны и исчезли в густой чаще сада. Принц бессмысленно смотрел им вслед, и, когда все они разлетелись, уставился так же бессмысленно на далекие звезды.

— Я зол, — подумал он, — но по какому праву? На каком основании? — спрашивал он себя и тут же отвечал: без всякого права и без всякого основания! Но тем не менее он все-таки был зол на всех и на все. Он проклинал в душе и фон Розен, но в тот же момент раскаивался и упрекал себя в неблагодарности и несправедливости. Мешок с деньгами казался ему ужасно тяжел, он, положительно, оттягивал ему руку.

Когда он наконец дошел до фонтана, то, частично от досады и частично из фанфаронства, он сделал непростительную неосторожность. Он отдал мешок с деньгами смело и открыто вороватому груму.

— Сохрани эти деньги у себя для меня. Завтра я зайду к тебе за ними; здесь очень большая сумма, — добавил он, — но я доверяю ее тебе и из этого ты видишь, что я не осудил тебя бесповоротно.

И он самодовольно удалился, как будто совершил какой-нибудь великодушный поступок. Надо сказать, что это было дело далеко не легкое; это было отчаянная попытка ворваться снова в неприступную крепость самоуважения, и, как почти все такие отчаянные попытки, — она оказалась бесплодной в результате. Он вернулся к себе и лег в постель, но до самого рассвета беспокойно ворочался и метался из стороны в сторону, а затем, когда уже начало светать, совершенно неожиданно для себя заснул тяжелым, свинцовым сном, а когда проснулся, то было уже десять часов утра. Пропустить условное время, не явиться на назначенное им самим свидание со стариком Киллианом Готтесхеймом после всего того, что было сделано ради этого, было бы слишком ужасно; и он стал торопиться что было мочи. Он разыскал грума, который по чудесной случайности оказался верным человеком на этот раз, вскочил на коня, и всего за несколько минут до полудня вошел в комнату для посетителей в скромной гостинице «Утренняя Звезда».

Киллиан Готтесхейм был уже здесь, в своем воскресном наряде, в котором он смотрелся еще сухоощавее и сухопарее, чем в домашнем платье; над разложенными на столе документами и бумагами, как часовой на часах, стоял нотариус из Бранденау; а хозяин гостиницы и его слуга должны были служить свидетелями при совершении купчей и уплаты денег за ферму. Чрезвычайная почтительность, с какой этот важный барин — хозяин гостиницы — относился к Отто, произвела на старика крестьянина несомненное впечатление, и даже удивляла его, но только когда Отто взял перо и поставил свою подпись на бумаге, у старика вдруг раскрылись глаза, и он понял всю правду.

— Его высочество! — воскликнул он задыхаясь. — Его высочество! И затем повторял этот возглас про себя, вполголоса бесчисленное множество раз, как бы желая хорошенько убедить себя в этом и, наконец, обратился к свидетелям.

— Господа, вам я и все люди могут позавидовать. Вы имеете счастье жить в излюбленной Богом стране, в стране, которой Бог дал такого государя! Потому что, говорю вам, что из всех благородных и великодушных людей, каких я когда-либо видел и знавал, — говорю вам по чести и совести, ваш государь — первый! Потому что он великодушнейший и благороднейший из всех. Я человек старый, господа, и видел немало всего, и доброго и дурного на своем веку, я пережил и великий голод и видел за это время не мало хороших людей, но лучшего человека, чем ваш государь, я не видал!

— Мы все это знаем! — воскликнул хозяин гостиницы — Мы все это отлично знаем в Грюневальде, и если бы мы чаще имели счастье видеть его высочество, все мы были бы много счастливее!

— Да, это добрейший и великодушнейший принц, — начал было грум, сопровождавший Отто, но вдруг закрыл лицо руками, подавляя рыдание, вырвавшееся из его груди. Все обернулись в его сторону, удивленные его волнением, в том числе и сам Отто, который был глубоко растроган, видя этого человека столь признательным за его снисходительность

Затем пришла очередь нотариусу сказать свое похвальное слово принцу, и он сказал:

— Я не знаю, что вам готовит в будущем судьба, но этот день может назваться светлым днем в ряду дней вашего царствования, ваше высочество. Приветственные крики армии были бы менее красноречивы, чем волнение и умиление этих простых чистосердечных людей. И при этом Бранденауский нотариус, почтительно поклонился, привскочил, отступил шаг назад и взял понюшку табаку с видом человека, который нашел благоприятный случай и удачно воспользовался им.

— Да, молодой господин, — сказал убежденно Киллиан. — Простите мне эту вольность называть вас господином, — много добрых дел сделали вы, в этом я ничуть не сомневаюсь, многих людей вы порадовали и осчастливили, но никогда не сделали лучше и больше того, что вы сделали сегодня или во всяком случае, ни одно из ваших добрых дел и великодушных поступков не призовет на вашу голову столько благословений! И как бы велико ни было ваше счастье и успехи в тех высших сферах, где вы призваны вращаться, — поверьте

мне, что благословение и молитвы скромного старика не окажутся лишними! А они будут сопровождать вас повсюду, пока я жив.

Эта трогательная сцена, можно сказать, походила на овацию, и когда принц вышел из гостиницы «Утренняя Звезда», у него была на душе только одна мысль, пойти туда, где он всего вернее мог рассчитывать встретить похвалы. Его поведение вчера в зале совета представлялось ему блестящим выступлением, и при этом он вспомнил о Готтхольде. И решил пойти и разыскать его.

Готтхольд, как всегда, был в библиотеке. При появлении Отто он несколько досадливо положил перо, которым писал, и не совсем любезным тоном воскликнул:

— А-а, вот и ты явился! Ну?

— Ну, — передразнил его Отто, не придавая значения его тону. — Мне кажется, что мы произвели целую революцию.

— Это именно то, чего я очень опасуюсь, — отозвался доктор, глядя хмуро.

— Как? — удивился Отто. — Опасаться? Теперь, когда я сознал свою силу и слабость других, когда я решил править государством сам?..

На это Готтхольд ничего не сказал, а только опустил глаза и стал медленно поглаживать свой подбородок.

— Ты этого не одобряешь? — воскликнул Отто. — В таком случае, ты просто флюгер.

— Наоборот, мои наблюдения подтвердили мои опасения; ничего из этого не выйдет, Отто, слышишь ли ты меня? Ничего не выйдет, говорю я тебе.

— Из чего ничего не выйдет? — спросил принц, почувствовав при этом болезненный укол в самое сердце.

— Ив всей этой затеи — сказал Готтхольд. — Ты непригоден, ты не приспособлен для серьезной деятельной деловой жизни; у тебя нет живучести намерений, нет настойчивости, выдержки, нет привычки к упорному, часто безуспешному труду, нет удержу и терпения, а все это безусловно необходимо. Твоя жена в этом отношении несравненно лучше тебя; и хотя она находится в скверных руках, все же она умеет держать себя совсем иначе, чем ты. Она, во всяком случае, деловая женщина, а ты, дорогой мой мальчик, ты просто везде и всюду остаешься самым собой. Тебя я отсылаю обратно к твоим забавам и

развлечением. Как улыбающийся добродушный наставник я даю тебе пожизненный отпуск. Да, — продолжал он, — для каждого из нас приходит такой день, когда мы принуждены бываем снова вернуться к нашей собственной философии. Я дошел до того, что начинал сомневаться отчасти решительно во всем! И если бы в атласе познаний были два предмета, в которые я меньше всего верил, из числа всех существующих на свете познаний, то это были бы политика и мораль. Я должен тебе сказать, что у меня была какая-то предательская, можно сказать, змеєю вкрадывавшаяся в мою душу, нежность и любовь к твоим порокам, потому что все они были отрицательные и льстили моей философии, так что я называл их почти добродетелями. Но вот оказывается, что я был не прав, Отто, да, я отрекаюсь от своей скептической философии, и я вижу твои недостатки теперь в совершенно ином свете; я вижу, что они непростительны и что им нет извинения. Ты непригоден быть супругом. И даю тебе мое честное слово, что я предпочел бы видеть человека, умело делающего зло, чем пытающегося неумело и ощупью делать добро.

Отто молчал, в высшей степени раздраженный и разгневанный, а доктор продолжал, переведа дух:

— Я начну с менее важного факта, с твоего поведения по отношению к твоей жене. Я слышал, ты был у нее и у вас произошло объяснение. Быть может, это было хорошо, быть может, дурно, я не знаю, и судить об этом я не берусь; во всяком случае, ты раздражил ее, возбудил ее неудовольствие, ее гнев. В зале совета, она оскорбляет тебя, ты оплачиваешь ей таким же оскорблением, и это делает мужчина по отношению к женщине, муж по отношению к жене публично! При посторонних свидетелях! Вслед за этим ты намереваешься отнять у нее право подписи; весть об этом бежит, распространяется с быстротой огня, упавшего на пороховую дорожку; как ты думаешь, может она когда-либо простить тебе это? Женщина молодая, женщина честлюбивая, сознающая свои способности, которые несомненно превышают твои, и ты думаешь, что она простит тебе это? Никогда! А в конце концов, в такой критический момент твоих супружеских отношений, ты в тот же вечер, у всех на глазах удаляешься в оконную нишу с этой госпожой фон Розен. Я, конечно, не допускаю мысли, чтобы в этом было что-нибудь предосудительное, но во всяком случае, это было явное, обидное и бесполезное

проявление твоего неуважения и пренебрежения к жене. Всем известно, что это непристойная женщина...

— Готтхольд, — остановил его Отто, — я не хочу слышать ничего дурного о графине!

— Ну, ты во всяком случае не услышишь о ней ничего хорошего! — огрызнулся Готтхольд. — И если ты хочешь, чтобы репутация твоей жены была безупречной, то ты прежде всего должен был бы позаботиться о том, чтобы очистить свой двор от всяких особ, пользующихся сомнительной репутацией.

— Это вечная несправедливость кличек и поговорок! — воскликнул Отто. — Это пристрастие женщин к женщине, когда в них говорит зависть — вот из чего слагаются часто репутации! И если она, как ты говоришь, сомнительной репутации, то кто же такое этот Гондремарк?.. Будь она мужчина...

— Это было бы все равно, — возразил Готтхольд грубо. — Когда я вижу мужчину уже в годах, когда от него можно требовать рассудительности, говорящего одни двусмысленности и хвастающего своими пороками и своей порочностью, то я отплевываюсь от него и говорю ему: «Вы, милый друг, даже не джентльмен». Ну, а она даже не дама!

— Она мой лучший друг, и я желаю, чтобы ее уважали! — сказал Отто.

— Если она твой друг, то тем хуже для тебя. Этим дело не кончится, можешь быть уверен!

— Аа! — воскликнул Отто. — Вот оно, ваше милосердие людей добросовестных! Всякое злое приписывается плоду, если на нем есть пятнышко. Но я могу тебе сказать, что госпожа фон Розен гораздо выше и лучше своей репутации, и что ты к ней чудовищно несправедлив.

— Ты можешь сказать лишь это? — грубо спросил доктор. — Так что же, ты ее испробовал? Ты переступил с ней границы?

Вся кровь кинулась в лицо Отто.

— Аа! — крикнул Готтхольд. — Теперь посмей взглянуть в лицо твоей жены! И красней перед нею за себя. Эта женщина, которую ты взял за себя и затем потерял! Она воплощение женской красоты, вся ее душа отражается в ее глазах! Это настоящая женщина, Отто!

— Ты, я вижу, изменил свое мнение о Серафине, — сказал Отто.

— Изменил! — воскликнул доктор, ярко покраснев. — А разве я был когда-нибудь иного мнения о ней? Признаюсь, я восхищался ею там, в зале совета, когда она сидела молча и неподвижно, и только нога ее нервно стучала под столом по ковру; я любовался ею, как любовался бы ураганом! И будь я один из тех людей, которые решаются на брак, то именно она, а не другая была бы той приманкой, тем соблазном, который мог бы меня заставить решиться на что-нибудь подобное! Она манит, как Мексико манило Кортеса; предприятие трудное, опасное, и туземцы враждебные, я скажу, даже жестокие, но метрополия вымощена золотом, и легкий ветерок дышит райскими ароматами. Да, мне кажется, что я мог бы пожелать быть этим завоевателем! Но волочиться за фон Розен! Нет, воля твоя, этого я понять не могу, и никогда не пойму! Никогда! Чувственность? Я отвергаю эту чувственность! Что она в сущности из себя представляет? Зуд! Любопытство!..

— Да ты кому это говоришь? — воскликнул Отто. — Я думаю, что ты лучше, чем кто-либо, знаешь, что я люблю свою жену!

— О, люблю! — засмеялся Готтхольд. — Любовь, великое слово, оно, конечно, встречается во всех словарях, и все охотно злоупотребляют им, но если бы ты ее действительно любил, она платила бы тебе тоже любовью. Скажи мне, что она требует? Немного рвения, немного напряжения — вот и все!

— Тяжело любить за двоих, — промолвил принц.

— Тяжело? А в этом пробный камень! Я хорошо знаю своих поэтов! — воскликнул доктор. — Мы все лишь прах, лишь пыль и пламя! Мы все слишком безводны, чтобы выкосить палящий зной жизни; любовь, как тень большой скалы, должна нам дать прохладу и приют, и отрадный отдых, да и не только возлюбленному, но и его любовнице и детям, которыми они награждают их; и даже друзья их должны находить отдых и покой на краю этого невозмутимого мира! Та любовь не любовь, которая не может создать себе прочного домашнего очага! А ты, ты зовешь любовью ссоры и свары, и вечную воркотню, и упреки, выискивание вины и обид! Ты зовешь любовью — перечить ей во всем, попрекать в лицо, — открыто обвинять и оскорблять! Это любовь?

— Готтхольд, припомни, ты не справедлив! Ведь я тогда отстаивал интересы моей страны, — сказал Отто.

— Это хуже всего! Ты не мог даже понять, что ты был не прав! — воскликнул доктор. — Ты не сообразил, что дойдя до того, до чего они уже дошли, отступление было невозможно, что оно было равносильно окончательной гибели!

— Как? Ведь ты же сам поддержал меня! — воскликнул Отто.

— Да, и я был такой же безумец как ты, — возразил Готтхольд. — Но теперь мои глаза раскрылись. И если ты станешь продолжать так, как ты начал, если ты оставишь от должности и обеславишь этого негодяя Гондремарка, если ты сам огласишь разлад в твоей семье, то верь мне, Грюневальд постигнет величайший ужас. Случится это чудовищное, это безобразное явление — революция! Да, друг мой, революция!

— Ты говоришь странным языком ярого красного, — заметил Отто.

— Я красный, я республиканец, но не революционер! — возразил доктор. — Чудовищная вещь Грюневальдская революция! И только один человек может спасти от нее эту несчастную страну — и этот человек, — это двуличный Гондремарк, он и никто другой! Умоляю тебя, помирись с ним! Уж, конечно, не ты спасешь от этого страну! Ты никогда не сумеешь и не сможешь остановить или предотвратить это народное бедствие. — Ты, который ничего не можешь сделать, как говорит твоя жена, кроме как злоупотреблять своим саном и своим положением, ты, который тратил часы драгоценного времени на выпрашивание денег, которых тебе все же не дали! И на что, Бога ради, были тебе нужны эти деньги? Зачем тебе деньги? Что это за идиотская тайна?

— Говорю тебе, что они мне были нужны не на дурное дело. Они мне были нужны, чтобы купить ферму, — капризным тоном рассерженного ребенка ответил Отто.

— Чтобы купить ферму! — воскликнул Готтхольд. — Купить ферму!

— Ну да! Что ж тут такого? — спросил принц. — А если хочешь знать, я уже купил ее.

При последних словах его доктор положительно привскочил на своем стуле.

— Купил! Да как же ты ее купил?

— Как? — повторил Отто и вдруг запнулся и густо покраснел.

— Ну да, я тебя спрашиваю, как ты мог ее купить, откуда взял ты деньги?

Лицо принца разом заметно омрачилось.

— Это уж мое дело, — сказал он.

— Ты видишь, что ты сам стыдишься своего поступка, — заметил Готтхольд. — И в такую тяжелую минуту, когда твоя страна в нужде и, быть может, на краю гибели, ты покупаешь ферму, вероятно, для того, чтобы на всякий случай иметь приют после твоего отречения! Я думаю, что эти деньги ты украл? Ведь достать деньги существуют всего только два способа, а не три: их можно или заработать или украсть!.. А теперь, после того как ты счастливо сочетал в себе Карла V с Золоторучкой Томом, ты являешься сюда ко мне и хочешь, чтобы я поддержал тебя в твоём самообольщении! Но говорю тебе, я выведу все это дело на чистую воду, и пока я не узнаю, каким способом уладилось у тебя это дело с деньгами, до тех пор, извини меня, я при встрече с тобой буду прятать руки за спину. Человек может быть жалким принцем, но он должен быть безупречным человеком, безупречным джентльменом!

Отто, бледный как полотно, встал и, все еще сдерживаясь, слегка дрожащим, но спокойным голосом проговорил:

— Готтхольд, ты забываешь, что даже мое терпение имеет границы. Берегись, сударь мой, говорю тебе, берегись!

— Ты, кажется, угрожаешь мне, Отто? — мрачно спросил доктор. — Признаюсь, это было бы странным финалом нашего разговора.

— Разве ты видел когда-нибудь, чтобы я употреблял свою власть для своих частных видов или целей или прибегал к ней для сведения своих личных счетов? — спросил принц. — По отношению к каждому частному человеку твои слова являлись бы непростительным, кровавым оскорблением, но потому что я твой друг и принц, ты себе позволяешь безнаказанно кидать мне их в лицо, а мне остается только отвернуться или же покорно стушеваться да еще благодарить тебя за твою откровенность. От меня требуется больше, чем прощение, — от меня требуют еще и восхищения подобным геройским подвигом; восхищения тем, что у тебя хватило смелости сказать все это в лицо такому грозному монарху, хватило смелости разыграть роль Натана перед Давидом!.. Да, но я скажу вам, сударь мой, что вы вырвали с

корнем своей безжалостной рукой долголетнюю прочную дружбу и сердечную привязанность! Вы совершенно обездолили меня, вы лишили меня моей последней привязанности, порвали мою последнюю дружескую связь! Я призываю Бога в свидетели; я думал, что я поступил хорошо, поступил как должно, и вот моя награда! Теперь я совершенно одинок! В целом свете у меня нет никого, я один, совсем один! Вы говорите, что я не джентльмен, а между тем, хотя я превосходно понимаю, в какую сторону клонятся ваши симпатии, я терпеливо вынес все ваши упреки и ни в чем вас не упрекнул.

— Отто! Ты положительно помешался! — воскликнул доктор, вскочив со своего места. — Потому что я спросил тебя, откуда ты добыл эти деньги, и потому что ты отказался...

— Довольно, господин Гогенштоквиц, я не спрашиваю больше вашего совета в моих делах и прошу вас в них отныне не вмешиваться больше, — сказал Отто. — Я уже слышал от вас все, что я хотел, и даже то, чего я не хотел бы слышать, и этого с меня вполне довольно! Вы достаточно попирали ногами и мою гордость, и мое самолюбие; вы, можно сказать, втоптали меня в грязь! Чего же более? И на все это я вам скажу: возможно, что я не могу управлять страной, возможно также, что я не умею любить — все это вы мне сказали, по-видимому, с полным и искренним убеждением. Но Бог наделил меня все же одной способностью, — это способность прощать мои обиды! Да, я умею прощать и прощаю вам! И даже в этот момент, когда в моей душе еще кипит горечь обиды, когда во мне еще говорит чувство возмущения, я сознаю свою вину и свои ошибки и нахожу оправдания для вас. И если впредь я желаю быть избавлен от подобных разговоров, то отнюдь не потому, что я питаю к вам неприязненные чувства, нет, могу вас уверить, что нет, а потому, что ни один человек на земле не мог бы вынести еще раз подобной нотации! Вы смело можете похвалиться, сударь, что заставили плакать своего государя, что вы сумели довести его до слез!.. И того человека, которого вы столько раз попрекали его счастьем, ни разу не дав себе труда заглянуть ему в душу, вы теперь довели до крайнего предела горечи и безотрадного одиночества...

Видя, что доктор раскрыл рот, собираясь, вероятно, протестовать, Отто поспешил остановить его:

— Нет, я не желаю ничего больше слышать! Как ваш принц, я требую, чтобы последнее слово осталось за мной, и это последнее

слово будет: «прощение»!

Сказав это, Отто повернулся и быстрыми шагами вышел из библиотеки. Доктор остался один, и в душе его одновременно бушевали самые разнохарактерные и противоречивые чувства: чувство огорчения, раскаяния и насмешки; он расхаживал взад и вперед перед своим столом и, вздымая руки к потолку, мысленно спрашивал себя в сотый раз, кто же из них двоих был больше виноват в этом печальном разрыве.

Затем он достал из одного из шкафов бутылку старого рейнского вина и большой старинный бокал богемского рубинового хрусталя и, наполнив его до краев, почти разом осушил его до дна. Этот первый бокал как будто согрел и укрепил его силы; а после второго он стал смотреть на все случившееся как бы с высоты залитого солнцем холма или с пологого ската высокой горы. Спустя еще немного, успокоенный этим ложным утешителем, доктор смотрел уже на жизнь со всеми ее тревожностями сквозь радужную золотистую призму; невольно краснея и улыбаясь, он вздохнул с отрадным облегчением и признался с добродушным умилением, что был, пожалуй, уж слишком груб и откровенен в своей беседе с бедным Отто. «Ведь и он тоже говорил правду», — подумал кающийся ученый. — «Он был прав, и действительно, хотя, конечно, по-своему, по-монашески, так сказать, боготворю его жену и очень может быть, что к нему я был отчасти несправедлив и во всяком случае, чересчур жесток». И, покраснев еще гуще, доктор как бы с утайкой, хотя в громадной галерее библиотеки не было ни одной души живой, кроме него, налил еще один бокал благородного вина и выпил его разом до дна «за Серафину»!

XI. Спасительница фон Розен: действие первое — она проводит барона

В довольно поздний час дня или, чтобы быть более точным, ровно в три часа пополудни, госпожа фон Розен выплыла из своей опочивальни. Она спустилась вниз по широкой лестнице в сад и через сад прошла дальше. Накинув на голову черную кружевную мантилью, она небрежно волочила по земле длинный шлейф своего черного бархатного платья.

В конце этого длинного, несколько запущенного, быть может, не без умысла сада, спина спиной с домом графини стоял большой мрачный дом, в котором премьер-министр Грюневальда вершил свои дела и предавался своим удовольствиям и развлечениям. Это небольшое расстояние, считавшееся достаточным для соблюдения приличий, согласно невзыскательным требованиям миттвальденского кодекса нравственности, графиня прошла быстро и уверенно, спокойно отперла имевшимся при ней ключом небольшую калитку, служившую в то же время и задним ходом в доме, и, грациозно взбежав вверх по лестнице, бесцеремонно вошла в рабочий кабинет Гондремарка. Это была очень большая и очень высокая комната. Кругом по стенам тянулись шкафы с книгами; стол был завален бумагами, на стульях и даже на полу, повсюду были бумаги; там и сям на стенах висели картины, все больше соблазнительного, нескромного содержания. Яркий огонь пылал в большом монументальном камине из синих изразцов, а дневной свет падал сверху через большой стеклянный купол посредине потолка. Среди этой обстановки восседал великий премьер, барон фон Гондремарк, в одной жилетке, без мундира; он покончил свои дневные дела, и теперь для него настал час отдыха. Здесь он был положительно неузнаваем: не только выражение его лица, но, казалось, и самая природа его совершенно изменились, он весь как будто переродился. Гондремарк в домашней обстановке являлся, так сказать, прямою противоположностью Гондремарка официального, Гондремарка, находящегося при исполнении своих обязанностей. Теперь у него был вид добродушного толстяка жуира, который как нельзя лучше шел к нему. Черты его лица носили

отпечаток ума и грубой наглости, смягченной добродушием; то же самое сказывалось теперь и во всей его манере; казалось, что вместе со своей сдержанностью и льстивостью он одновременно сбросил с себя и лукавство, и притворство, и присущий ему обыкновенно в присутствии посторонних мрачный и угрюмый вид, заставлявший его всегда казаться особенно тяжеловесным и неуклюжим. Теперь в выражении его лица не было ничего мрачного и зловещего; он просто отдыхал, грея спину у огня камина, как громадное, благородное животное.

— Ага! — воскликнул он радостно. — Наконец-то!

И сделал шаг навстречу госпожи фон Розен. Но графиня молча вошла в комнату, кинулась в стоящее на ее пути большое и глубокое кресло и скрестила вытянутые вперед ножки. Вся закутанная в кружево и бархат, с красиво обрисовывающими ее далеко выдвинутые вперед ножки тонкими, черными шелковыми чулками, кокетливо выделявшимися на снежно-белом фоне ее юбок, с пышной округлостью ее тонкого, стройного, почти девического стана, она представляла собой странный контраст с этим громоздким, тяжеловатым черноволосым сатиром, гревшимся у огня.

— Сколько раз вы посылали за мною? — крикнула она. — Это, наконец, компрометирует меня!

На это Гондремарк добродушно рассмеялся.

— Ну, раз мы заговорили об этом, — сказал он, — то, какого черта вы делали все это время? Ведь вас до самого утра не было дома!

— Я раздавала милостыню, — сказала она, двусмысленно усмехаясь.

Барон опять громко и весело захохотал.

Дело в том, что в своем домашнем обиходе это был большой весельчак.

— Какое счастье, что я не ревнив! — заметил он. — Ты знаешь мое правило: свобода действий и удовольствий обыкновенно идут рука об руку, а чему я верю, тому я верю! Ты знаешь, что я верю не особенно многому, но все же кое-чему и верю! А теперь перейдем к делам. Читала ты мое письмо?

— Нет, — сказала она, — у меня голова болела.

— Ах, так! Ну, в таком случае у меня есть для тебя интересные новости! — воскликнул Гондремарк, заметно оживляясь. —

Понимаешь, я положительно с ума сходил от желания тебя видеть всю ночь вчера и все это утро, а тебя, как на зло, не было дома! А потом ты чуть не до этих пор спала. Дело в том, что вчера днем я, наконец, довел свое большое дело до желанного конца; наш корабль благополучно вернулся в порт! Теперь еще одно последнее усилие, вернее, один последний удар, и я перестану таскать и носить все под ноги этой самомнящей принцессы Ратафии. Да, теперь, можно сказать, дело сделано, и вся эта предварительная работа кончена! Я получил желанное предписание; мало того, у меня теперь в руках ее собственноручный приказ; я храню его у себя на груди. Ровно в двенадцать ночи сегодня принца Пустоголового возьмут, вынут потихоньку из кровати и как младенца малого, как bambino, стащат и усадят в повозку; а на следующее утро он уже будет любоваться сквозь решетки своего окна в романтическом Фельзенбурге на роскошный вид окрестностей этого живописного замка. Тогда прощай, «Пустоголовый»! Война пойдет своим чередом, а эта глупая девчонка принцесса вся у меня в руках. Долгое время я был лицом необходимым, теперь я буду единственным! Долго я нес на своих плечах эту сложную натуру, как Самсон нес на своих плечах городские ворота Газы, но теперь я сброшу с себя эту ношу и встану перед народом, выпрямившись во весь рост!..

Графиня вскочила на ночи, несколько побледнев от волнения.

— И это правда?! — воскликнула она.

— Я тебе сообщаю факт, совершившийся факт, — подтвердил он, — шутка сыграна.

— Нет, я никогда этому не поверю! — запротестовала она. — Указ? Собственноручный указ? Нет, нет Гейнрих, это невероятно! Это совершенно невозможно! На это она никогда не решится.

— Ну, клянусь тебе! — сказал Гондремарк.

— О, что значат твои клятвы или мои! Ну, чем ты можешь поклясться? Вином, женщинами и песнями? Да? Все это не ахти какие страшные клятвы! Такая клятва никого не вяжет, — засмеялась она. Затем она подошла совсем близко к нему и положила свою руку ему на плечо.

— Ты знаешь, я охотно тебе верю во всем, — сказала она. — Я знаю, насколько ты ловок и искусен, но что касается этого указа, нет! Нет, Гейнрих, этому я никогда не поверю! Мне кажется, что я скорее

умру, чем поверю подобной вещи. У тебя есть какая-то задняя мысль; угадать ее я сейчас не в состоянии, но я понимаю, что ты хочешь ввести меня в обман и ни единое слово из того, в чем ты теперь хочешь меня уверить, не походит на правду.

— Хочешь, я тебе покажу этот указ? — спросил он.

— Хочу, но ты не покажешь, потому что такого указа у тебя нет! — настаивала она.

— Ах, ты неисправимая маловерка! — воскликнул он. — На этот раз я берусь тебя убедить! Ты сейчас своими глазами увидишь этот указ. Он направился к креслу, на которое он сбросил свой придворный мундир, и из кармана вытащил бумагу и протянул ее графине. — На, читай сама!

Она жадно схватила бумагу, и глаза ее вспыхнули ярким недобрим светом в то время, как она ее пробегала.

— Ты подумай, — воскликнул барон, — ведь это гибнет династия! — И это я скопил ее! И после нее я и ты, мы двое наследуем все, все, что они не умели удержать в своих руках!

Казалось, что Гондремарк при этом становился еще больше, еще объемистее, он как будто вырастал и ширился вместе со своим честолюбием. — И он вдруг снова громко рассмеялся и протянул руку за бумагой.

— Дай мне сюда это смертоносное оружие, этот кинжал, разящий династию.

Но вместо того, чтобы исполнить его приказание, она вдруг быстрым движением спрятала бумагу за спину и, подкравшись поближе к нему, глядя ему прямо в глаза испытующим взглядом, проговорила решительно и властно:

— Нет, прежде я желаю выяснить один вопрос: скажи, пожалуйста, ты что же, считаешь меня за дуру, или, может быть, думаешь, что я слепа? Ты думаешь, что я не понимаю, что она могла дать эту бумагу только одному человеку, — своему любовнику! Да, только своему любовнику, только ему одному она не могла бы отказать в этом, а всякому другому она отказала бы наотрез, если бы у него хватило смелости потребовать от нее подобный указ. И вот ты стоишь здесь передо мной — ее союзник, ее соучастник, ее любовник и ее господин! О, я этому легко могу поверить, потому что я знаю твою силу — да! Но что же такое представляю собою в данном случае я?.. — крикнула

она, — Я, которую ты все время обманывал, которой ты прикрывался, как ночной вор прикрывается плащом!

— Ревность! Сцена ревности? — удивленно воскликнул Гондремарк. — Анна! Да ты ли это? Вот чему бы я никогда не мог поверить. Успокойся, уверяю тебя всем, что есть самого достоверного на свете, что я никогда не был ее любовником; я мог бы быть им, я полагаю, но до сего времени я ни разу не рискнул сделать ей признания. Она, видишь ли ты, представляется мне чем-то совсем нереальным; это какой-то подросток, девчонка, какая-то жеманная кукла! Она то хочет, то не хочет: на нее никогда ни в чем нельзя положиться; каждую минуту у нее какая-нибудь новая фантазия или причуда. Уговорить ее вообще нетрудно, но положиться, понадеяться на нее нельзя! До сих пор я умел заставлять ее поддаваться мне без содействия любви и приберегал это оружие на самый крайний, решительный момент, в том случае, если бы какое-нибудь отчаянное средство могло мне понадобиться. И я говорю тебе, Анна, — добавил он строго и серьезно, — в этом ты должна переломить себя и подобных, никогда не бывавших у тебя приступов ревности больше не допускать. Между нами не должно быть никаких возмущений, никаких вздорных волнений и препирательств. Я держу это жалкое маленькое существо под гипнозом моего обожания к ней, — и если только она пронюхала бы о наших с тобой отношениях, ведь ты знаешь, она такая сумасшедшая, такая «grude» — и при этом такая собака на сене, — что она способна, не взирая ни на что, испортить нам всю игру!

— Все это прекрасно, — отозвалась графиня, — но я спрашиваю вас, с кем вы проводите все ваши дни? И чему прикажете вы мне верить, вашим ли словам, или вашим поступкам?

— Анна, да я тебя не узнаю, черт бы тебя побрал! Да неужели же ты сама не видишь! — воскликнул Гондремарк. — Ведь ты же меня знаешь. Разве это похоже на меня, чтобы я мог увлечься такой недотрогой? Мне положительно горько и обидно думать, что после того как мы столько лет были близки с тобой, ты все еще можешь считать меня каким-то трубадуром. И если есть на свете нечто, что мне особенно противно и отвратительно, так это именно вот такие фигурки из берлинской шерсти, как эта принцесса. Мне нужна настоящая женщина, из плоти и крови, из нервов и мускулов, с крепким, сильным, выносливым телом и крепкой и сильной волей, — такая как

ты! Ты мне пара! Ты как будто нарочно была создана для меня; ты меня забавляешь и опьяняешь как азартная игра! И какой мне расчет притворяться с тобой или обманывать тебя? Если бы я не любил тебя, то на что ты мне? Ведь это же, ясно как Божий день!

— Так ты действительно любишь меня, Генрих? — спросила она смеясь. — Действительно? Да?

— Да говорю же я тебе, что люблю! — воскликнул он пылко, как юноша. — Я люблю тебя больше всего и больше всех на свете после себя. Если бы я потерял тебя, я положительно растерялся бы окончательно; я был бы совершенно выбит из колеи!

— А если так, — сказала фон Розен, спокойно складывая указ и кладя его в свой карман, — то я готова тебе поверить и принять участие в этом заговоре. Можешь положиться на меня. Так, значит, ровно в полночь? Ведь так ты сказал? И ты, конечно, поручил это дело Гордону? Превосходно! Он ничем не смутится, и к тому же он чужестранец, ему решительно все равно, кто здесь будет управлять государством — принц или принцесса, ты или я.

Гондремарк недоверчиво следил за ней; что-то в ее поведении казалось ему подозрительным.

— Зачем ты взяла указ? — спросил он. — Дай его сюда.

— Нет, — ответила она, — я намерена оставить его у себя. Потому что это я должна приготовить всю эту проделку. Вы не сможете сделать это дело без меня; вам иначе придется прибегнуть к насилию, а ведь это едва ли желательно. Для того, чтобы быть вам действительно полезной, я должна иметь этот указ у себя в руках. Где я найду Гордона? У него на квартире? Хорошо!

Она говорила с несколько лихорадочным самообладанием.

— Анна, — сказал он мрачно и сурово тем строгим желчным тоном и с тем же выражением лица и манерою, которые были свойственны ему в роли придворного временщика, заслонившего теперь более добродушного и более чистосердечного Гондремарка домашнего обихода и часов отдохновения, — я прошу тебя отдать мне эту бумагу. — Раз, — два, — и три!

— Берегись, Генрих! — сказала она, горделиво выпрямясь и глядя ему прямо в лицо. — Я не потерплю никаких требований и предписаний. Я тебе не покорная раба! Мне нельзя приказывать — ты, кажется, знаешь, что приказывать я сама умею!

В этот момент оба они имели вид двух опасных животных, готовых померяться силами друг с другом; оба молчали и это напряженное молчание длилось довольно долго. Затем она вдруг поспешила заговорить первая, и, рассмеявшись чистым, звонким, откровенным смехом, она сказала почти ласковым голосом.

— Да не будь же ты таким ребенком! Ты меня положительно удивляешь. Если все то, в чем ты меня сейчас уверял, правда, то ты не можешь иметь никакого основания не доверять мне, точно так же, как я не могу иметь никакого расчета подвести тебя. Самое трудное во всей этой затее, это выманить принца из дворца без шума и скандала. Ты отлично знаешь, что его слуги преданы ему телом и душой. Его камергер — это его раб, он положительно боготворит своего принца, и стоит только ему крикнуть, как вся ваша затея полетит к черту!

— Необходимо осилить эту челядь, — сказал барон, невольно следуя за ее мыслью. — У нас на это хватит людей, и все эти его приверженцы должны исчезнуть вместе с ним.

— И весь ваш план тоже вместе с ними! — докончила графиня. — Ты думаешь, что все это может обойтись без шума? Что эти люди могут исчезнуть бесследно и что никто не хватится их? Никто не спросит о них? Ведь не берет же он их всех с собой на охоту! Малому ребенку это сразу бросилось бы в глаза; весь двор, а затем и весь город догадаются, в чем тут дело! Нет, нет и нет; этот план положительно не выдерживает критики; это идиотство — проделать нечто подобное! Без сомнения — его придумала эта индюшка Ратафия! Нет, ты выслушай меня: ты знаешь, конечно, что принц за мной ухаживает?

— Да, знаю, — сказал Гондремарк. — Бедный пустоголовый, видимо, мне на роду написано стоять ему везде и во всем поперек дороги.

— Ну, так вот, — продолжала она, — я могу выманить его одного под предлогом тайного свидания куда-нибудь в дальний уголок парка, ну, скажем, хотя бы к статуе Летящего Меркурия. Гордон может спрятаться со своими людьми где-нибудь поблизости в чаще деревьев; карета может ожидать за греческим храмом; и все обойдется без крика, без суматохи, без топота ног, просто и мило. Принц выйдет в полночь на свидание и исчезнет! Ну, что ты на это скажешь? Пригодная ли я для тебя союзница? Могут ли мои beaux yeux, при случае сослужить

тебе службу? Ах, Генрих, мой тебе совет, старайся не потерять твоей Анны! У нее тоже есть немалая власть!

Гондремарк громко хлопнул ладонью по мрамору каминной доски:

— Чародейка! — воскликнул он, восхищенный, весь просияв. — Другой такой как ты не сыщешь! Нет тебе равной на всякие дьявольские проделки в целой Европе! У тебя всякое дело катится как по рельсам!

— Ну, так поцелуй же меня покрепче, и отпусти меня поскорее! Мне нельзя прозевать моего принца, — сказала она.

— Постой, постой! Не так скоро! — остановил ее барон. — Я хотел бы, клянусь тебе моей душой, вполне поверить тебе; но ведь ты и войдешь, и выйдешь, и всякого вокруг пальчика обернешь. Ты такой увертливый и ловкий чертенок, что я, право, боюсь. Нет, как хочешь, я не могу, Анна, я не смею!

— Ты мне не доверяешь, Генрих? — гневно крикнула она, и в тоне ее было что-то вызывающее, что-то похожее на угрозу.

— Это не совсем подходящее слово, — «не доверяешь», — но я тебя знаю и раз ты уйдешь отсюда, с этой бумагой в кармане, кто может сказать, что ты с нею сделаешь? И не только я, но даже и ты сама, ты этого не знаешь! Ты сама видишь, — добавил он, покачивая головой, — ведь ты изменчива, капризна и притворна, как обезьяна.

— Клянусь тебе спасением моей души! — воскликнула она.

— Мне отнюдь неинтересно слышать, как ты клянешься, — сказал барон.

— Ты полагаешь, что у меня нет никакой религии? Ты очень ошибаешься! Ты думаешь, что у меня нет чести, нет совести! Ну, хорошо, смотри же, я не стану с тобою спорить, но говорю тебе в последний раз: — оставь указ в моих руках, и принц будет арестован без шума, без хлопот, без скандала; если же ты возьмешь от меня указ, то так же верно как то, что я теперь стою перед тобой и говорю с тобой, — я испорчу вам всю вашу затею. Одно из двух: — или верь мне, или бойся меня! Предоставляю тебе выбор.

С этими словами она достала из кармана указ и протянула его ему.

Барон в величайшем затруднении и в нерешительности стоял перед этой женщиной, которую даже он не мог ни сломить, ни победить, ни покорить своей воле. Он стоял перед ней и мысленно взвешивал обе

опасности. Была минута, когда он уже протянул руку к бумаге, но сейчас же опять опустил ее.

— Ну, — сказал он, — если это называется по-твоему доверием...

— Ни слова больше, — остановила она его, — не порти своей роли и теперь, так как ты в этом деле вел себя, как подобает порядочному человеку, не зная даже в чем дело. Я, так и быть, соблаговолю разъяснить тебе свои причины, т. е. те причины, которые заставляли меня настаивать на том, чтобы ты оставил указ в моих руках. Я сейчас прямо отсюда направлюсь к Гордону; но скажи мне на милость, на каком основании стал бы он мне повиноваться и исполнять мои приказания? А затем, как могу я заранее назначить час? Возможно, что это будет в полночь, но возможно также и тотчас после того, как стемнеет. Все это дело случая, все зависит от обстоятельств; а чтобы действовать разумно и успешно, я должна иметь полную свободу действий и держать в своих руках все пружины этого задуманного вами предприятия. Ну, вот, а теперь бедный Вивиан уходит! — как говорится в комедиях. Посвяти же меня в рыцари свои!

И она раскрыла ему свои объятия, лучезарно улыбаясь ему своей манящей, многообещающей улыбкой.

— Ну, — сказал он, поцеловав ее с особым удовольствием, — у каждого человека бывает свое безумие и свой конек, и я благодарю Бога за то, что мое не хуже того, что оно есть! А теперь вперед!.. Можно сказать, что я дал ребенку зажженную ракету. Но что же делать!..

XII. Спасительница фон Розен: действие второе — она предупреждает принца

Первым побуждением госпожи фон Розен, когда она вышла из дома барона Гондремарка, было возвратиться на свою виллу и переодеться. Что бы там ни вышло из всей этой затеи, она решила непременно повидаться и побеседовать с принцессой. И перед этой женщиной, которую она так не любила, графиня желала появиться во всеоружии своей красоты. Для нее это было делом всего нескольких минут. У г-жи фон Розен был на этот счет, т. е. на счет женского туалета, так сказать, командирский глаз; с первого взгляда она умела уловить и заметить, чего не достает в туалете, и что следует добавить или убавить в нем; она отнюдь не принадлежала к числу тех женщин, которые часами сидят в нерешимости, роясь в своих нарядах и уборах, и не знают, что надеть и чем себя украсить, и в конце концов после столь долгих размышлений появляются в обществе безвкусно выряженные. Один беглый взгляд в зеркало, небрежно спущенный локон, грациозно взбитые на висках волосы, клочочек тонких старинных кружев, чуть-чуть румян и красивая желтая роза на груди, — и все, как нельзя лучше! Точно картина, вышедшая из рамы.

— Так хорошо, — решила графиня. — Скажите, чтобы мой экипаж ехал за мною во дворец; через полчаса он должен ожидать меня там, — приказала она мимоходом лакею.

На улице начинало уже темнеть, и в магазинах стали зажигаться огни, особенно в тех, что вытянулись длинным непрерывным рядом витрин и окон вдоль тенистой аллеи главной улицы столицы принца Отто. Отправляясь на свой великий подвиг, графиня чувствовала себя весело настроенной; ее и радовало и интересовало задуманное предприятие; и это настроение, это возбуждение придавало еще большую прелесть ее красоте, и она это хорошо знала. Она шла по тенистой аллее главной улицы; остановилась перед сверкающим бриллиантами магазином ювелира, любовалась некоторыми камнями, затем заметила и одобрила выставленный в другом магазине дамский наряд, и когда, наконец, дошла до густой липовой аллеи, под высокими тенистыми сводами которой мелькали торопливые и

ленивые прохожие, то села на одну из скамей и стала обдумывать, предвкушая и оттягивая предстоящие ей удовольствия. Вечер был свежий, но госпожа фон Розен не чувствовала холода, ее согревала внутренняя теплота. В этом тенистом уголке ее мысли светились и сверкали лучше и ярче бриллиантов там, в витрине ювелира; шаги прохожих, раздававшиеся у нее в ушах, сливались для нее в своеобразную музыку.

«Что она сделает теперь?» — спрашивала она себя. — Бумага, от которой теперь зависело все, лежала у нее в кармане, и вместе с нею в ее кармане, можно сказать, лежала и судьба Отто, и Гондремарка, и Ратафии, и даже самого государства, словом, всего этого маленького княжества. И все это весило так мало на ее весах, как пыль; стоило ей положить свой маленький пальчик на ту или другую чашку весов, чтобы вскинуть на воздух все, что лежало на другой чашке! И она радовалась и упивалась своим громадным значением и своею властью, и смеялась при мысли о том, как бессмысленно и бесцельно можно было растратить эту громадную власть. Дурман и опьянение власти, эта болезнь кесарей, охватывала минутами ее рассудок. «О, безумный свет! Глупая игрушка пустых случайностей, иногда — пустого женского каприза или прихоти!» — подумала она и довольно громко рассмеялась.

Ребенок с пальцем во рту остановился в нескольких шагах от нее и смотрел с смутным любопытством на эту смеющуюся барыню. Она подозвала его, приглашая его подойти поближе, но ребенок попятился назад. Моментально, со свойственной большинству женщин в подобных случаях необъяснимой и беспричинной настойчивостью, она решила приручить маленького дикаря; и действительно, не прошло и нескольких минут, как малыш вполне дружелюбно сидел у нее на коленях и играл с золотой цепочкой ее медальона.

— Если бы у тебя был глиняный медведь и фарфоровая обезьянка, — спросила она ребенка, двусмысленно улыбаясь, — которую из двух игрушек ты предпочел бы разбить?

— У меня нет ни медведя, ни обезьянки! — сказал ребенок.

— Но вот тут у меня есть светленький флорин, — сказала она, — на который можно купить и то, и другое. Я подарю тебе обе эти игрушки, если ты мне скажешь, которую из двух ты не пожалеешь разбить. Ну же? Ответь скорее, — медведя или обезьянку?

Но бесштаный оракул только пялил глаза на блестящую монету, которую нарядная барыня держала в руке, и не мог отвести от нее своих больших вытаращенных глаз. Никакие ласки и увещания не могли подвигнуть этого оракула дать хоть какой-нибудь ответ. Тогда графиня поцеловала малютку, подарила ему флорин, спустила его на землю и, встав со скамьи, пошла дальше своей легкой пластичной походкой.

— Которого же из двух я разобью? — спрашивала она себя; и при этом она с особенным наслаждением провела рукой по своим пышным, тщательно причесанным волосам и, лукаво улыбаясь прищуренными глазами, снова спросила себя: — Которого? — и она взглянула на небо, словно ища там указания или ответа. — Разве я люблю их обоих? Немножко?.. Страстно?.. Или нисколько?.. Обоих, или ни того, ни другого?! Мне кажется, обоих! — решила она. — Но, во всяком случае, этой Ратафии я досажу порядком, будет она меня помнить!..

Тем временем графиня миновала чугунные ворота, поднялась к подъезду и уже поставила ногу на первую ступень широкой, украшенной флагами террасы. Теперь уже совершенно стемнело. Весь фасад дворца ярко освещен рядами высоких окон, и вдоль балюстрады фонари и лампы горели ярко и красиво. На самом краю западного горизонта еще светился бледный отблеск заката, янтарно-желтый и зеленоватый, как цвет светляков; и она остановилась на дворцовой террасе и стала следить, как там вдали догорали и бледнели эти последние светлые точки.

— Подумать только, — размышляла она, — что здесь стою я, как воплощенная судьба, как воплощенный рок, и вместе с тем и Провидение, и спасительница, — смотря по моему желанию, — и я стою, и сама не знаю, в какую сторону склонить мои весы, за кого мне вступить и кого погубить! Какая другая женщина на моем месте не считала бы себя связанной обещанием, но я, благодарение Богу, рождена без предрассудков! Я чувствую себя свободной от всяких обязательств, и мой выбор свободен!

Окна комнат Отто тоже светились, как и остальные окна дворца; графиня взглянула на них и вдруг почувствовала прилив неизъяснимой нежности, которая помимо ее воли подымалась и росла в ее душе. — Бедный, милый безумец! — подумала она. — Каково-то у него на душе

будет теперь, когда он поймет и почувствует, что все отрекаются от него... Эта девчонка положительно заслуживает того, чтобы он увидел этот ее собственноручный указ! Да, пусть он увидит его, и пускай решит сам.

И не раздумывая больше ни секунды, она вошла во дворец и послала сказать принцу, что просит его принять ее немедленно по спешному делу. Ей сказали, что принц находится в своих апартаментах и желает быть один, что он приказал никого не допускать к себе. Но графиня все-таки приказала передать ему свою карточку. Немного погодя камердинер принца вернулся и доложил, что его высочество очень просит извинить его, но что он в настоящий момент никого принять не может, потому что чувствует себя нездоровым.

— В таком случае я напишу ему, — сказала фон Розен, и набросала на листке бумаги несколько строк карандашом; она писала принцу, что дело, по которому она хочет его видеть, есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства, что это вопрос жизни и смерти. — «Помогите мне, принц, никто, кроме вас, мне в этом помочь не может», — гласила ее приписка.

На этот раз человек вернулся с большой поспешностью и пригласил графиню фон Розен следовать за ним.

— Его высочество изволил изъявить особенное удовольствие видеть графиню у себя, — объявил слуга, отворяя перед нею дверь.

Графиня застала принца в оружейной, той самой большой комнате, в которой все стены были увешаны старинным оружием и которую особенно любил принц. При неровном свете пылавшего в камине огня, это оружие светилось то здесь, то там странными, капризными отблесками, придавая что-то фантастическое обстановке этого зала. Отто сидел в глубоком низком кресле перед камином; его лицо носило следы слез и глубокого душевного волнения, оно было красиво и печально, даже трогательно. Отто даже не встал и не пошел ей навстречу, как всегда, а только привстал и поклонился, и приказал слуге удалиться.

То чувство безотчетной нежности, которое заменяло графине все сердечные порывы и даже совесть, охватило ее теперь с удвоенной силой при виде этой безмолвной угнетенности, этого убитого горем милого, печального принца. Едва только слуга успел уйти и запереть за собою дверь, едва только она осталась с глазу на глаз с принцем, как,

сделав решительный шаг вперед и сопровождая свои слова великолепным жестом, графиня воскликнула:

— Воспряньте духом, принц! Надо бороться!

Отто с недоумением поднял на нее глаза.

— Madame, — сказал он, — вы прибегнули к громким словам, чтобы заставить меня открыть перед вами мою дверь, вы сказали, что дело идет о жизни и смерти. Скажите же мне, прошу вас, кому грозит опасность, и кто здесь в Грюневальде может быть столь жалок и столь несчастен, — добавил он с горечью, — что даже принц Отто Грюневальдский может помочь ему!

— Кто, спрашиваете вы? Прежде всего я назову вам имена заговорщиков, — сказала фон Розен, — и по ним вы, быть может, догадаетесь и об остальном. Те, что злоумышляют на близкое вам лицо, — это принцесса и барон фон Гондремарк!

Но видя, что Отто продолжает молчать, она воскликнула:

— Они угрожают вам, ваше высочество! — И она указала пальцем на принца. — Ваша негодница и мой негодяй порешили вашу судьбу! — продолжала она. — Но они забыли спросить вас и меня! Мы можем составить с ними *partie carrée, mon prince*, — и в любви, и в политике! Об этом они, видно, забыли! Правда, у них на руках туз, но мы можем побить его козырем!

— Madame, — сказал на это Отто, — объясните мне, прошу вас, в чем собственно дело; я положительно не могу ничего взять в толк из того, что вы мне сейчас сказали. Я вас не понимаю.

— Вот, смотрите своими глазами! Прочтите это, и тогда вы уже наверное поймете! — воскликнула графиня, и с этими словами она передала ему указ.

Он взял его, посмотрел недоумевающим взглядом и вздрогнул; затем, не проронив ни единого звука, он закрыл рукой своей страшно побледневшее лицо, и так застыл в этой позе.

Она ждала, что он скажет что-нибудь, но он молчал.

— Как! — воскликнула она. — И это вас не возмущает?! Вы встречаете этот низкий поступок, склонив перед ним голову с покорностью раба?! Да поймите же наконец, что одинаково бессмысленно искать вина в кринке молока, или искать любви у этой бессердечной куклы! Пора покончить с этой смешной иллюзией, пора, наконец, стать мужчиной!.. Против союза львов устроим заговор

мышей! Нам сейчас ничего не стоит разрушить их козни. Ведь вчера вы были достаточно сильны, когда в сущности у вас почти ничего не стояло на карте, когда дело шло о пустяках, а теперь, теперь, когда на карте стоит ваша свобода, быть может, ваша жизнь, — теперь вы молча опускаете крылья!!.

Вдруг принц Отто встал, и на его лице, вспыхнувшем румянцем от внутреннего волнения, выразилась решимость.

— Madame фон Розен, — сказал он, — я вас прекрасно понимаю, и поверьте, я вам глубоко благодарен; вы еще раз доказали мне на деле ваше расположение и вашу доброту ко мне: мне право очень больно сознавать, что я должен принести вам разочарование, что я должен обмануть ваши ожидания. Вы, очевидно, ждете от меня энергичного сопротивления, отпора. Но зачем, для чего буду я сопротивляться, что я этим выиграю?! После того, как я прочел эту бумагу, этот собственноручный ее указ, последняя искра надежды на счастье, даже на возможность мечты о счастье, угасла для меня. Мне кажется праздным делом говорить о потере чего бы то ни было от имени Отто Грюневальдского; все, что я мог потерять, я уже потерял! Вы знаете, что у меня нет партии, нет сторонников, нет своей политики; у меня даже нет честолюбия, словом, у меня нет ничего такого, чем бы я мог гордиться или дорожить. Свобода! Жизнь! Да на что мне они? Так скажите же мне, для чего и ради чего мне бороться? Или вам просто хочется видеть, как я буду кусаться и царапаться, и визжать, как пойманный в капкан хорек? Нет, madame, передайте тем, кто прислал вас сюда, что я готов отправиться в заточение, когда им будет угодно. Я желаю только одного. Я желаю избежать всякого скандала.

— Так вы решили идти в ссылку? Решили добровольно сойти с их дороги и в угоду им идти покорно и беспрекословно в тюрьму!

— Я не могу сказать, что иду вполне добровольно, — возразил печально Отто, — нет, но, во всяком случае, я иду с полной готовностью; признаюсь вам, я всегда желал перемены в своей жизни, особенно же в последнее время, а теперь, как видите, мне предлагают ее! Неужели же мне отказаться от нее? Благодарение Богу, я еще не настолько лишен чувства юмора, чтобы делать трагедию из подобного фарса! — И он небрежно бросил указ на стол. — Вы можете известить их о моей готовности, — добавил он величественно и спокойно и отвернулся от стола.

— О, — воскликнула она, — вы гневаетесь больше, чем хотите сознаться!

— Я гневаюсь? О, madame! — воскликнул Отто. — Вы бредите! У меня нет никакого основания для гнева. Мне доказали во всех отношениях и мою слабость, и мою бесхарактерность, и мое безволие, и мою совершенную непригодность для жизни. Мне доказали, что я не что иное, как сочетание слабостей и сумма всевозможных недочетов, бессильный принц и даже сомнительный джентльмен! Да ведь даже и вы, при всей вашей снисходительности ко мне, вы уже дважды упрекнули меня весьма строго в том же, в чем меня обвиняют и другие: в безволии и бессилии! Могу ли я после того еще гневаться?! Я могу, конечно, глубоко чувствовать недоброе ко мне отношение, но я достаточно честен, чтобы признать справедливость причин, приведших к этому государственному перевороту.

— Это еще откуда у вас? Скажите, откуда вы все это взяли? — воскликнула удивленная фон Розен. — Вы думаете, что вы вели себя нехорошо? Но разве вы не были молоды и красивы? Разве вы не имели права на жизнь, как всякий другой? Права на радости жизни? А эти добродетели мне ненавистны! Все это ханжество или расчет! Разве у вас нет благородства, нет великодушия, нет благороднейших порывов и благородных чувств!.. Вы свои добродетели доводите до последней крайности, принц, и это они губят вас! А эта удивительная неблагодарность с ее стороны, разве она не возмутительна! Она бьет вас тем оружием, которое вы же дали ей в руки!

— Поймите меня, madame фон Розен, — возразил принц, краснея гуще прежнего, — в данном случае не может быть речи ни о благодарности, ни о гордости. Волею судеб и неизвестных мне обстоятельств, и несомненно движимая вашей беспредельной добротой и расположением ко мне, вы оказались приплетенной в мои семейные дела — дела, касающиеся только меня одного. Вы не имеете представления о том, что вынесла и выстрадала моя жена, ваша государыня, и потому не вам да и не мне судить ее. Я признаю себя глубоко виноватым и перед ней, и перед своей страной и народом; но если бы даже этого не было, то и тогда я назвал бы человека пустым хвастуном, если бы он говорил о своей любви к женщине и вместе с тем отступал назад перед небольшим унижением, перед уколом его самолюбия. Во всех прописях говорится о том, что человек должен

быть готов умереть в угоду возлюбленной им женщине, так неужели же он может отказаться пойти в тюрьму ради того, чтобы угодить ей!

— Любовь! Да при чем тут любовь! — воскликнула графиня. — Что общего между любовью и пожизненным тюремным заключением? — И она призывала и потолок, и стены в свидетели своего возмущения и негодования. — Одному Богу известно, что я думаю о любви не меньше других и ставлю ее очень высоко; я любила не раз и всегда любила горячо; моя жизнь может служить тому доказательством; но я не признаю любовь, по крайней мере, для мужчины, там, где она не встречает взаимности! Без взаимного ответного чувства любовь не более как призрак, сотканный лунным светом, самообольщением, самообманом.

— Я смотрю на любовь более отвлеченно и более широко, madame, хотя я уверен, что не более нежно, чем вы; вы женщина, которой я обязан так много, которая проявила ко мне столько душевной доброты, — сказал принц. — Однако все это бесполезные слова! Ведь мы здесь не для того, чтобы поддерживать прения, достойные трубадуров, не так ли?

— Да, но вы все же забываете об одном, а именно, что если она сегодня составила заговор с Гондремарком против вашей свободы, а быть может, и самой жизни вашей, то завтра она может с ним устроить заговор и против вашей чести.

— Против моей чести? — повторил принц. — Как женщина, вы положительно удивляете меня! Если мне не удалось заслужить ее любовь, если я не сумел заставить ее полюбить себя и я не сумел сыграть роль мужа, то какое же право я имею требовать что-нибудь от нее? И какая честь может устоять после столь полного поражения! Я даже не понимаю, о какой моей чести может быть еще речь; ведь я становлюсь ей совершенно чужим. Если жена моя меня совсем не любит, то почему мне не идти в ссылку и не дать ей этим той полной свободы, которой она ищет, которой она хочет? И если она любит другого человека, то где мне может быть лучше и спокойнее, чем в той тюрьме? В сущности, кто же виноват в этом, как не я сам? Вы говорите в данном случае, как большинство женщин, когда дело касается не их лично, а других их сестер; вы говорите языком мужчин! Предположим, что я сам поддался бы искушению (а вы лучше чем кто-либо знаете, что это очень легко могло случиться), я, может быть, дрожал бы за

свою судьбу, но я все же надеялся бы на ее прощение, и в таком случае мой грех перед ней был бы все же только изменой в чаду любви к ней. Но позвольте мне сказать вам, — продолжал Отто с возрастающим возбуждением и воодушевлением, — позвольте мне сказать вам, madame, что там, где муж своей пустотой, ничтожеством, своим легкомыслием и непростительными прихотями истощил терпение жены, там я не допущу, чтобы кто-либо, будь то мужчина или женщина, смел осуждать и клеймить ее. Она свободна, а человек, которого она считает достойным ее, ждет ее!

— Потому что она не любит вас! — крикнула графиня. — Вот вся причина! Но вы знаете, что она вообще совсем неспособна на подобные чувства.

— Вернее, я был рожден неспособным внушить их к себе, — сказал Отто.

На это фон Розен вдруг разразилась громким смехом.

— Безумец! — воскликнула она. — Вот до чего доводит человека ослепление любовью! Да я первая люблю вас!

— Ах, madame, — возразил, печально улыбаясь, принц, — вы полны сострадания ко мне, и этим объясняется все! Но мы напрасно тратим слова. Мое решение принято; у меня есть даже, если хотите, известная цель. И чтобы отплатить вам такой же откровенностью, я скажу вам, что, поступая так, как я намерен поступить, я поступаю согласно моим интересам. Поверьте, у меня тоже есть известная склонность к приключениям, а кроме того, вам хорошо известно, что здесь, при дворе, я находился в ложном положении, и общественное мнение громко заявляло об этом; так позвольте же мне воспользоваться этим представляющимся мне выходом из моего неприятного и тяжелого положения.

— Если вы бесповоротно решили, — сказала фон Розен, — то зачем я стану отговаривать вас, я вам открыто признаюсь, что от этого я только останусь в выигрыше. Идите с Богом в ссылку, в тюрьму и знайте, что вы унесете с собой мое сердце, или во всяком случае, большую его долю, чем бы я того сама хотела. Я буду не спать по ночам, думая о вашей печальной судьбе; но не бойтесь, я не желала бы переделать вас; вы такой прекрасный, такой героический безумец, что я невольно люблюсь вами; вы приводите меня в умиление, принц!

— Увы, madame! — воскликнул Отто. — Между нами есть нечто, что меня очень смущает и тревожит особенно в эти минуты — это ваши деньги. Я был не прав, я сделал дурно, что взял их, но вы обладаете таким удивительным даром убеждения, что устоять против вас положительно нельзя. И я благодарю Бога, что еще могу предложить вам нечто равноценное. Он подошел к камину и взял с него какие-то документы и бумаги. — Вот это документы и купчая на ту ферму. Там, куда я теперь отправляюсь, они, конечно, мне будут бесполезны, а у меня теперь нет никакого другого средства расплатиться с вами и нечем даже отблагодарить вас за вашу доброту ко мне. Вы ссудили меня без всяких формальностей, повинуюсь исключительно побуждениям вашего доброго сердца, но теперь наши роли, можно сказать, изменились; солнце принца Отто Грюневальдского уже совсем близко к закату, но я настолько знаю вас, что верю, что вы еще раз откинете в сторону все формальности и примите то, что этот принц еще в состоянии дать вам. Поверьте мне, что, если мне еще суждено испытывать какое-нибудь утешение, я буду находить в мысли, что старый крестьянин обеспечен до конца своей жизни, и что самый великодушный и бескорыстный друг мой не понес убытков из-за меня.

— Но, Боже мой, неужели вы не понимаете, что мое положение возмутительно, невыносимо! — воскликнула графиня. — Дорогой принц, ведь я на вашей гибели созидаю свое благополучие!

— Тем более было благородно ваше усилие склонять меня к сопротивлению, — сказал Отто. Это, конечно, не может изменить наших отношений, и потому я в последний раз позволю себе употребить по отношению к вам свою власть в качестве вашего государя и просить вас взять эти обеспечивающие вас бумаги в уплату моего долга. — И с присущей ему грацией и чувством достоинства принц насильно заставил ее взять бумаги.

— Мне ненавистно даже прикосновение к ним, к этим бумагам, — сказала фон Розен. — Ах, принц, если бы вы только знали, как мне вас жаль!

Наступило непродолжительное молчание.

— А в какое время, madame (если вам это известно), должны меня арестовать? — спросил Отто.

— Когда это будет угодно вашему высочеству! — ответила графиня. — А если бы вы пожелали изорвать этот указ, то и никогда!

— Я предпочел бы, чтобы это совершилось скорее, — проговорил он. — Я хочу только успеть написать одно письмо, которое прошу доставить принцессе.

— Хорошо, — сказала госпожа фон Розен. — Я вам советовала, я просила вас сопротивляться, но если вы, вопреки всему, решили быть безгласны и покорны, как овца в предстоящей жизни, это утешение стригущему ее, то мне остается только идти и принять необходимые меры для вашего ареста. Что за горькая насмешка судьбы! Я, которая готова была бы отдать жизнь, чтобы спасти вас от этого, я же должна руководить всеми подробностями этого ареста. Дело в том, что я взялась... — она на минуту замялась, — я взялась устроить все это дело, надеясь, поверьте мне, мой дорогой друг, надеясь быть вам полезной! Клянусь вам в том спасением моей души! Но раз вы не хотите воспользоваться моими услугами, то хоть, но крайней мере, окажите мне сами услугу в этом печальном деле. Когда вы будете готовы и когда вы сами того пожелаете, приходите к статуе Летящего Меркурия, к тому самому месту, где мы вчера встретились с вами. Для вас это будет не хуже, а для всех нас, я говорю вам вполне откровенно, это будет гораздо лучше! Вы согласны?

— Конечно! Как могли вы в том сомневаться, дорогая графиня! Если уж я раз решился на самое главное, то стану ли я спорить или говорить о подробностях. Идите с Богом и примите мою самую искреннюю, самую горячую благодарность; после того, как я напишу несколько строк, в которых прощусь с ней, я оденусь и немедленно поспешу к указанному месту. Сегодня ночью я не встречу там столь опасного молодого кавалера, — добавил он, улыбаясь с присущей ему милой любезностью.

Когда госпожа фон Розен ушла, Отто призвал на помощь все свое самообладание; он стоял лицом к лицу с затруднительным, горьким и обидным положением, из которого он хотел, если возможно, выйти с честью, сохранив свое чувство достоинства. Что касается самого важного факта, то в этом отношении он ни минуты не колебался и не раздумывал. Он вернулся к себе после своего разговора с Готтхольдом до того расстроенный, разбитый душевно, до того потрясенный и измученный, до того жестоко униженный и пристыженный, что теперь

он встретил эту мысль о заточении почти с чувством облегчения. Это был во всяком случае шаг, который, ему казалось, можно было считать безупречным, и кроме того, это был выход из его мучительного общественного положения.

Он сел и взял перо в руки, чтобы написать письмо Серафине; и вдруг в его душе вспыхнул гнев. Длинная вереница его снисхождений, его попустительств, его долготерпение вдруг воскресли в памяти; и все это теперь у него перед глазами превратилось в нечто чудовищное; но еще более чудовищными представлялись ему та холодность, тот черствый эгоизм и жестокость, какие были необходимы для того, чтобы вызвать подобное поведение. И перо так сильно дрожало теперь в его руке, что он принужден был подождать, прежде чем начать писать. Теперь он и сам был удивлен, даже поражен тем, как это его покорность судьбе вдруг разом исчезла и уступила место чувству глубокого возмущения; и несмотря на все свои усилия, он уже не мог вернуть себе прежнее спокойствие духа. Он прощался с принцессой в нескольких раскаленных, как раскаленное до бела железо, словах, прикрывая клокотавшее в его душе возмущение и отчаяние именем любви, и называл свое бешенство прощением... Затем он окинул прощальным взглядом свои комнаты; выйдя в сад, он взглянул на дворец, который столько лет был его дворцом и отныне перестал принадлежать ему, и поспешил к назначенному месту, сознавая себя добровольным пленником любви или собственной гордости.

Он вышел из дворца тем маленьким интимным ходом, которым он, бывало, так часто уходил в менее торжественные минуты. Привратник выпустил его, ничуть не удивленный его уходом. Отрадная прохлада ночи и ясное звездное небо встретили его за порогом родного дома, который он теперь покидал, вероятно, навсегда. Отто оглянулся кругом и глубоко вдохнул в себя ночной воздух, пропитанный ароматом земли. Он поднял глаза к небу, и беспредельный небесный свод подействовал как-то успокоительно на его душу. Его крошечная, ничтожная, чванливо раздутая жизнь разом съежилась до ее настоящих размеров, и он вдруг увидел себя, этого великого мученика с пламенеющим в груди сердцем — крошечной былинкой, едва приметной под беспредельным, холодным, ясным небом. При этом он почувствовал, что все жгучие обиды уже больше не жгли душу, что волновавшие его чувства улеглись в груди, что терзавшие его мысли как будто

разлетелись или заснули. Чистый свежий ночной воздух здесь, под открытым небом, и тишина уснувшей природы своим безмолвием как будто отрезвили его, и он невольно облегчил свою душу, прошептал: «прощаю ее, и если ей нужно мое прощение, то я даю его ей от всей души!.. Бог с ней!»

И быстрым легким шагом он бодро прошел через сад, вышел в парк и дошел до статуи Летящего Меркурия. В этот момент какая-то темная фигура отделилась от пьедестала и приблизилась к нему.

— Прощу извинения, сударь, — сказал мягкий мужской голос, — но я позволю себе спросить вас, не ошибаюсь ли я, принимая вас за его высочество принца Отто? Мне было сказано, что принц рассчитывает найти меня здесь.

— Мне кажется, что со мной говорит господин Гордон? — спросил Отто.

— Да, полковник Гордон, — отозвался офицер. — Это столь щекотливое дело, столь деликатное и столь неприятное для человека, на которого оно возложено, что для меня является громадным облегчением, что все идет так гладко до сих пор. Экипаж здесь, он ждет нас в нескольких шагах отсюда; разрешите мне, ваше высочество, следовать за вами?

— В настоящее время я дожил, полковник, до того счастливого момента в моей жизни, когда мне приходится получать разрешение, а не отдавать приказания, — сказал принц.

— Весьма философское замечание, ваше высочество, — промолвил полковник, — чрезвычайно уместное и меткое. Положительно, его можно было бы приписать Плутарху. К счастью, я совершенно чужд по крови и вашему высочеству, и всем в этом княжестве. Но даже и при этих условиях это возложенное на меня поручение мне очень не по душе. Однако теперь уже изменить этого нельзя и так как с моей стороны, мне кажется, должное уважение к особе вашего высочества ничем не было нарушено, насколько это в моей власти, а ваше высочество принимает все это так хорошо, то я начинаю надеяться, что мы прекрасно проведем время в дороге; да, положительно, прекрасно, я в том уверен! Ведь, в сущности, тюремщик тот же сотоварищ по заключению, если присмотреться поближе!

— Могу я вас спросить, господин Гордон, что побудило вас принять на себя эти опасения и, как мне кажется, неблагоприятные

обязанности? — спросил Отто.

— Весьма простая причина, как мне кажется, — совершенно спокойно ответил наемный офицер. — Я покинул родину и приехал служить сюда, чтобы заработать копейку, а на этом посту мне обещано двойное жалование.

— Ну, что же, я не стану вас осуждать, милостивый государь, — сказал принц, — у каждого человека свои соображения. А вот и экипаж!

Действительно, на перекрестке двух аллей парка стоял экипаж, запряженный четверкой, заметный среди темноты по зажженным фонарям, а несколько дальше, в некотором расстоянии от ожидавшего экипажа, в тени деревьев выстроилось человек двадцать улан в конном строю, назначенных для эскорта принца.

XIII. Спасительница фон Розен: действие третье — она раскрывает глаза Серафине

Когда госпожа фон Розен вышла от принца, она прямо поспешила к полковнику Гордону и, не удовольствовавшись передачей своих распоряжений и предписаний, лично проводила полковника к статуе Летящего Меркурия. Понятно, что полковник предложил ей руку, и разговор между этими двумя заговорщиками завязался громкий и оживленный. Дело в том, что графиня в этот вечер была, можно сказать, в угаре торжества и сильных впечатлений; все ей удавалось как нельзя лучше, и смех и слезы одинаково просились у нее сегодня наружу. Глаза ее горели и сияли гордостью и удовольствием, румянец, которого обыкновенно недоставало ее лицу, теперь горел у нее на щеках, делая ее необычайно красивой: еще немножко и Гордон был бы у ее ног, или, по крайней мере, так думала она и вместе с тем презрительно отвергала эту мысль.

Притаившись в темных кустах, она с особым интересом следила за всей процедурой ареста, жадно ловя каждое слово обоих мужчин и прислушиваясь к их удаляющимся шагам. Вскоре после того послышался шум колес экипажа и топот копыт сопровождавшего его эскорта, явственно раздававшийся в чистом ночном воздухе, но мало-помалу и этот шум, постепенно удаляясь, замер вдали. Принц уехал.

Госпожа фон Розен взглянула на часы и решила, что у нее остается то, что она приберегла себе сегодня на закуску, как самый лакомый кусок из всей программы сегодняшнего дня. С этой мыслью она поспешила вернуться во дворец и, опасаясь, что Гондремарк успеет прибыть туда раньше и помешать ее намерению, она, не теряя ни минуты, приказала доложить о себе принцессе с настоятельной просьбой принять ее безотлагательно. Так как ей прекрасно было известно, что ей, как графине фон Розен, просто неминуемо будет отказано в этом несвоевременном приеме, то она приказала доложить о себе как о посланной барона, в качестве каковой и была тотчас же допущена к принцессе.

Серафина сидела одна за маленьким столом, на котором был сервирован обед, и делала вид, будто она ест, но на самом деле у нее

куски останавливались в горле, и, кроме того, она не чувствовала ни малейшего аппетита. Щеки ее побледнели и осунулись, веки отяжелели; она не ела и не спала со вчерашнего дня; даже туалет ее не отличался обыкновенной тщательностью, а напротив того, был несколько небрежен. Словом, она была и нездорова, и невесела, и не авантажна, и на душе у нее было как-то тяжело, потому что совесть не давала ей покоя. Переступив порог, графиня сразу сравнила ее с собой и от сознания своего превосходства в этот момент красота ее засияла победнее и лучезарнее прежнего. Такова уж была эта женщина, любившая и умевшая всегда и везде побеждать и властвовать.

— Вы являетесь сюда, *madame*, от имени барона фон Гондремарка? — протянула принцесса. — Прошу садиться, я вас слушаю. Что вы хотите сказать?

— Что я хочу сказать, — повторила фон Розен. — О, много, очень много! Много такого, чего бы я предпочла не говорить вам, и много такого, о чем придется умолчать, хотя я бы охотно вам это сказала! У меня, видите ли, ваше высочество, такой нрав, что мне всегда хочется сделать то, что не следовало бы делать, или что я не должна была бы делать! Но будем кратки! Я вручила принцу ваш указ; в первый момент он не хотел верить своим глазам: «Ах, воскликнул он, — неужели это возможно! Дорогая *madame* фон Розен, я не могу этому поверить; я должен услышать об этом из ваших уст. Моя жена, бедная девочка, попавшая в дурные руки. Она во многом заблуждается, но она не глупая и не жестокая». — «*Mon prince*», — ответила я ему на это, — она девочка и потому жестока; дети давят мух, дети обрывают им крылья. — Но ему бедному, очевидно, было так трудно понять ваш поступок.

— *Madame* фон Розен, — сказала Серафина самым спокойным и сдержанным тоном, но с заметным нарастанием гнева в голосе и в выражении лица, — кто прислал вас сюда и с какой целью? Потрудитесь передать мне то, что вам было поручено.

— О, *madame*, я полагаю, что вы прекрасно понимаете меня, — возразила графиня. — Я не обладаю вашим философским складом ума, я ношу свое сердце у всех на виду, как брелок; оно такое маленькое, и я часто перевешиваю его с правой руки на левую, это все знают, — и она весело засмеялась.

— Из ваших слов я должна, по-видимому, заключить, что принц был арестован? — спросила Серафина, возвращаясь к главной теме разговора и перебивая свою собеседницу, и при этом она встала из-за стола, желая этим дать понять графине, что аудиенция кончена.

Но госпожа фон Розен оставалась все в той же небрежно-грациозной позе в низком кресле, в котором она сидела до сих пор, и на вопрос принцессы ответила:

— Да, пока вы здесь спокойно обедали! — и в голосе ее звучал едкий, вызывающий упрек.

— Вы выполнили возложенное на вас поручение, — сказала принцесса, стараясь сохранить свое спокойствие и свое чувство собственного достоинства, — и я вас больше не задерживаю.

— О, нет, *madame*, — возразила графиня, прошу меня извинить, я еще далеко не кончила, я еще далеко не все сказала вам. Я очень много вынесла сегодня, служа вам, — и говоря это, она раскрыла свой веер, и хотя пульс ее бился медленно и лениво, волнение сказывалось исключительно только в необычайном блеске глаз, в ярком румянце щек и в том же почти дерзком, торжествующем выражении, с каким она теперь смотрела на принцессу. Между этими двумя женщинами были старые счеты, соперничество во многих отношениях, так, по крайней мере, казалось графине фон Розен; и на этот раз она решила вкусить полностью радость торжества и победы над своею соперницей.

— Вы мне не слуга, *madame* фон Розен, — сказала Серафина.

— Нет, *madame*, я вам, действительно, не слуга, никогда ею не была и не намерена быть! Мы обе служим одному и тому же человеку, как это вам должно быть известно, а если же вам неизвестно, то я имею честь вас об этом уведомить. Ваше поведение до того легкомысленно, до того легкомысленно... — И она стала шевелить своим веером, грациозно перекидывая его из стороны в сторону, так что от этого движения получалось впечатление порхающей бабочки. — Вы, быть может, сами того не сознаете, а это еще опаснее, — добавила она и, сложив свой веер, она положила его на колени и несколько изменила свою небрежную позу на более строгую. — Право, я была бы очень огорчена видеть в подобных условиях и в таком странном двусмысленном положении любую молодую женщину. Вы вступили в жизнь со всеми преимуществами,

каких только можно было желать: с преимуществами положения, рода, состояния; вы вступили в брак, вполне соответствующий вашему сану, с человеком привлекательнейшей наружности и прекраснейшей души; при всем том, вы недурненькая. И что вы со всем этим сделали?! Посмотрите вы на себя и спросите себя, до чего вы дошли! Бедная девочка, страшно даже подумать о том, что вы с собою сделали! Да, ничто не может принести женщине столько вреда, как легкомыслие и необдуманность ее поступков, — наставительно заметила фон Розен в заключение и снова раскрыла свой веер и принялась им обмахиваться с самодовольным видом, в котором ясно чувствовалось сознание своего превосходства.

— Я не позволю вам продолжать так забываться со мной! — гневно крикнула Серафина. — Мне положительно кажется, что вы потеряли рассудок.

— О, нет, — возразила госпожа фон Розен, — во всяком случае мой рассудок еще настолько здрав, что позволяет мне сознавать, что сегодня вы не посмеете довести со мной дело до явного разрыва, и что я могу этим воспользоваться для своих целей. Я хочу вам сказать, что оставила моего бедного *prince charmant* плачущим из-за бесчувственной деревянной куклы, не стоящей ни единой его слезы! У меня сердце мягкое, и я люблю своего бедненького, хорошенького принца. Вы никогда не сумеете этого понять, но я настолько его люблю, что желала бы подарить ему эту куклу, чтобы осушить его слезы, чтобы увидеть его счастливым и довольным. Он так этого стоит! У него такая нежная душа и такое удивительно верное сердце... Ах, вы, незрелая слива! — воскликнула графиня, разом захлопнув свой веер и указывая им на Серафину, и веер задрожал теперь в ее руке, а глаза ее горели, и голос звучал задушевно, тепло и красиво. — Ах, деревянная кукла! Разве у вас есть сердце в груди! Разве у вас есть в жилах кровь! Разве в вас есть что-нибудь живое, человеческое! А этот человек, безумное дитя, этот человек любит вас! И такой любви вы не встретите другой раз в вашей жизни! Поверьте мне, это бывает не часто! Красавицы и умницы часто тщетно ищут такой любви и очень, очень редко находят ее; а вы, жалкий подросток, топчете ногами этот драгоценный алмаз! Если бы вы только знали, как вы глупы с вашим смешным честолюбием! Прежде чем браться управлять

государством, вам следовало бы научиться, как себя вести у себя дома, в своей семье! Потому что дом — это истинное царство женщины!

И графиня на минуту смолкла и рассмеялась странным жутким смехом, придававшим ее красивому лицу тоже какое-то странное, жуткое выражение.

— Я скажу вам, так и быть, одну из тех вещей, которые должны были оставаться несказанными, — продолжала графиня, — а именно, фон Розен лучше женщина, чем вы, принцесса, хотя вы, конечно, никогда не потрудитесь понять это и не захотите с этим согласиться. Но вот вам для примера одно маленькое доказательство: когда я вручила ваш указ принцу и посмотрела на него, на его милое, бледное лицо, вся душа во мне перевернулась, и, — о, я откровенна, сударыня, я не люблю скрывать того, что я делаю, — и я предложила ему найти утешение в моих объятиях, и предложила ему уничтожить этот позорный, этот возмутительный указ! — И говоря эти слова, она сделала шаг вперед, простирая вперед руки красивым царственным движением, и вся она была в этот момент такая величественная и гордая, и полная сознания своей силы и мощи. — Да, я раскрыла перед ним свои объятия и обещала дать ему забвение и отдых.

Серафина при этом невольно попятилась, а фон Розен насмешливо воскликнула:

— О, не бойтесь, madame, я не вам предлагаю это надежное убежище. В целом мире есть только один человек, который в нем нуждается, и этого человека вы убрали с своей дороги! — «Если это будет для нее радостью, я рад был бы принять даже мученический венец, — сказал принц, — я готов целовать свои тернии!» — И я говорю вам чистосердечно, я отдала ему в руки ваш указ и умоляла его противиться! Теперь вы, предавшая своего мужа, можете предать и меня Гондремарку! Но мой принц никого не хотел предать, никого! И поймите, — крикнула графиня, — поймите, что только благодаря его кротости и долготерпению, благодаря его бесконечной самоотверженной любви к вам, вы теперь еще сидите здесь, в его дворце, из которого вы изгнали его, из дворца, где он родился и жил, где жил и его отец, и все его предки! Поймите, что в его власти было переменить игру, я дала ему эту власть. Но он не воспользовался ею! Если бы он только захотел, он мог написать подобный же указ и уничтожить ваш; он мог обвинить вас перед лицом всего народа в

предательстве и государственной измене. Он прирожденный принц Грюневальда, а вы чужая здесь! А он не захотел и добровольно пошел в изгнание и в тюрьму вместо вас!

Теперь заговорила принцесса, и в голосе ее слышалось подавленное горе и отчаяние.

— Ваша запальчивость и ваши обвинения поражают и огорчают меня, но я не могу сердиться на вас за них, потому что они во всяком случае делают честь вашему доброму сердцу. Мне действительно следовало узнать все, о чем вы мне сейчас говорили, и я снизойду до того, что скажу вам, что я с громадным сожалением и неохотой вынуждена была решиться на этот шаг. Поверьте, я во многом ценю принца и отдаю должное многим его качествам. Я признаю его весьма приятным и привлекательным во многих отношениях. Это было большим несчастьем для нас обоих, быть может, в том была даже отчасти моя вина, что мы так мало подходили друг другу. Но я очень ценю и уважаю в нем некоторые его качества. И будь я частное лицо, я, вероятно, смотрела бы на него так же, как смотрите вы. Я знаю, что трудно считаться с требованиями государственных соображений, и, поверьте, я с глубоким возмущением покорилась требованиям высшего долга. Как только я получу возможность, безнаказанно для государственных интересов, вернуть свободу принцу, я обещаю вам сделать это немедленно; обещаю вам немедленно позаботиться об этом. Многие на моем месте не простили бы вам вашей вольности, но я стараюсь забыть о ней.

И она взглянула на графиню почти с состраданием. — Я не так уж бесчеловечна, как вы полагаете, — добавила она.

— И вы можете сопоставлять и сравнивать все эти государственные передряги и беспорядки с любовью человека?! — воскликнула фон Розен.

— Но ведь эти государственные беспорядки являются вопросом жизни и смерти для многих сотен людей и для принца, и, быть может, для вас самой в том числе, madame фон Розен! — сказала принцесса с достоинством. — Я научилась, хотя я еще очень молода, научилась в тяжелой школе уметь отводить своим личным чувствам всегда самое последнее место.

— О, святая простота! — воскликнула фон Розен. — Да неужели же это возможно, что вы ничего не знаете и не подозреваете? Неужели

вы не видите той интриги, в которой вы запутались, как муха в паутине?! Нет, право, мне вас жаль, сердечно жаль! Ведь, в сущности, мы обе женщины! Бедная девочка! Неужели же это в самом деле возможно! Такая наивность! Такое младенческое неведение!.. Впрочем, кто рожден женщиной, тот рожден неразумной и безрассудной! И хотя я ненавижу женщин вообще за их мелочность, за их узость взглядов, за их глупость и бессердечие, но во имя этого общего нашего безумия я прощаю вас!.. — И немного погодя она продолжала уже совершенно иным тоном: — Ваше высочество, — сказала она и при этом сделала глубокий, чисто театральный реверанс, — я намерена оскорбить вас и выдать с головой человека, которого называют моим любовником и не только моим, но и... И если вашему высочеству будет угодно воспользоваться тем оружием, которое я сейчас дам вам в руки, без всяких оговорок и условий, вы легко можете погубить меня; я это знаю и предоставляю себя всецело на вашу волю. О, Боже, что это за французская комедия или мелодрама разыгрывается у нас здесь! Вы предаете! Я предаю! Мы предаем! Теперь очередь за мной, я должна подавать реплику. Так вот она: письмо! — И госпожа фон Розен вынула из-за корсажа нераспечатанное письмо. — Взгляните на него, *madame*, вы видите, оно еще не распечатано; печать не тронута, и оно не вскрыто; таким, как вы видите письмо, я нашла его на моем столике у кровати сегодня утром; я не читала его, потому что была не в настроении, потому что я получаю этих писем так много, что они меня совсем не интересуют и не забавляют; такого внимания я удостоиваюсь слишком часто; чаще всего я их бросаю в камин. Но ради вас самих, ради моего бедного *prince charmant*, и даже ради этого великого государства, тяжесть которого ложится таким страшным грузом на вашу совесть, распечатайте это письмо и прочтите его.

— Неужели я должна понять из ваших слов, что в этом письме есть нечто, касающееся меня? — спросила принцесса.

— Вы видите, что я его еще не вскрывала и не читала, — ответила фон Розен, — но письмо это принадлежит мне, оно мне адресовано, и я прошу вас ознакомиться с его содержанием.

— Я не могу заглянуть в него раньше, чем это сделаете вы, — возразила Серафима настойчиво. — Ведь это частное письмо, и в нем может быть что-нибудь, чего мне не следует знать.

Тогда графиня при Серафине сорвала конверт, мельком пробежала глазами содержание письма и отбросила его от себя. Принцесса взяла его в руки и сразу узнала почерк Гондремарка. Затем она прочла с болезненным возмущением и чувством горькой обиды следующие строки:

«Драгоценная моя Анна, приходи сейчас же, Ратафия сделала то, что от нее требовалось: ее супруг будет запрятан в тюрьму сегодня же; это обстоятельство, как ты сама хорошо понимаешь, отдает ее всецело в мою власть. Теперь эта мартышка, эта жеманница в моих руках. *Le tour est joué!* Теперь она будет послушно ходить в хомуте, не то я буду знать, как с ней управиться. Приходи скорее!

Генрих».

— Овладейте собою, *madame!* Сделайте над собой усилие! — сказала фон Розен, не на шутку встревоженная при виде белого, как салфетка, лица Серафины. — Поймите, что вы тщетно стали бы бороться с Гондремарком. Сила он, а не вы! У него есть другие ресурсы, более важные и значительные, чем фавор при дворе. Он в дворе не нуждается, но двор очень нуждается в нем, потому что, если он только захочет, он завтра же сотрет весь этот двор с лица земли одним своим словом. Я не предала бы его, если бы я не знала Генриха. Он настоящий мужчина и всегда играет с подобными вам, как с марионетками, которых он заставляет плясать под свою музыку. Но теперь вы, по крайней мере, видите, ради чего вы пожертвовали моим принцем, *madame!* Вы такая умная, такая дальновидная, такая деловая женщина, которую первый умный и ловкий мужчина лъстивыми словами одурачил и провел, как глупого ребенка! *Madame?* Не дать ли вам вина? Я была жестока, простите!

— Нет, вы были не жестоки, вы были целительны, — сказала Серафина с бледной улыбкой. — Благодарю вас, мне не надо ничьих услуг. Меня это все поразило только в первый момент вследствие неожиданности; будьте добры, дайте мне несколько минут времени; мне нужно собраться с мыслями... мне нужно подумать... — И она взялась за голову обеими руками и погрузилась в созерцание невыразимого хаоса мыслей и чувств, бушевавших в ней.

— То, что я сейчас узнала, я узнала как раз тогда, когда мне это особенно важно было знать, — сказала она; — я не поступила бы так,

как поступили вы, но тем не менее я вам очень благодарна. Я весьма обманулась в бароне Гондремарке.

— О, madame, оставьте барона Гондремарка, подумайте лучше о принце! Он вам ближе должен быть! — досадливо воскликнула фон Розен.

— Вы опять говорите, как частный человек, а не как лицо общественное и официальное, — сказала принцесса. — Я вас не осуждаю, но поймите, что мои мысли отвлечены более важными вопросами. Но я вижу, однако, что вы действительно друг моему... — она замялась, — друг ему... друг принцу Отто, — выговорила она наконец. — Я вручу вам сейчас же указ о его освобождении. Дайте мне письменный прибор, вон там, с того стола... так, благодарю. — И она написала другой собственноручный указ, крепко опираясь рукой на стол, так как рука ее сильно дрожала. — Но помните, madame, — сказала она, передавая фон Розен указ об освобождении принца, — что этим указом вы не должны ни пользоваться, ни даже упоминать о нем в настоящий момент, то есть раньше, чем я не переговорю с бароном; всякий поспешный шаг может быть пагубным для всех нас. Я положительно теряюсь в мыслях и предположениях. Эта неожиданность выбила меня из колеи, я так потрясена...

— Я обещаю вам не пользоваться этим указом до того момента, когда вы сами дадите мне на то ваше разрешение, — сказала фон Розен, — хотя я бы очень желала уведомить о нем принца, это было бы для него таким утешением. Ах, да, я и забыла, ведь он оставил вам письмо. Дозвольте мне принести его вам. Кажется, эта дверь на половину принца? — и она хотела отворить ее.

— Дверь замкнута, — сказала Серафина, густо покраснев.

— О! О! — воскликнула графиня и отошла от двери.

Наступило довольно неловкое молчание.

— Я сама принесу сюда это письмо, — сказала Серафина, — а вас я попрошу теперь меня оставить; я очень благодарна вам, но чувствую потребность остаться одной и буду весьма признательна, если вы уйдете.

На это графиня ответила глубоким реверансом и удалилась.

XIV. В которой повествуется о причине и взрыве революции в Грюневальде

Несмотря на присущее ее характеру мужество и на свой смелый и решительный ум, в первый момент, когда она наконец осталась одна, Серафима принуждена была ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Ее маленький мир, вся ее вселенная рухнула разом со всех четырех сторон. Она, в сущности, никогда не любила и никогда не верила вполне Гондремарку и постоянно допускала возможность, что его дружба окажется ненадежной; но от этого до того, что ей пришлось сейчас узнать о нем, до полного отсутствия в нем всех тех гражданских доблестей, которые она читала и уважала в нем, до низкого интригана, пользовавшегося ею для своих личных целей, расстояние было громадное и разочарование потрясающее. Проблески света и моменты полного мрака сменялись одни другими в ее бедной голове. То она верила всему, что слышала и что узнала, то она отрицала возможность того, что ей пришлось узнать. Сама едва сознавая, что делает, Серафима стала искать глазами письмо, но фон Розен, которая не забыла захватить с собой документы и бумаги от принца, не забыла также захватить и письмо от принцессы. Дело в том, что фон Розен была старый вояка, и в моменты самого сильного волнения ум ее не затуманивался, а как будто еще более обострялся. Мысль об этом возмутительном письме напомнила другое письмо, письмо Отто. Она встала и поспешно прошла на половину принца; в голове у нее все еще путались мысли. Когда она вошла в оружейную, ту комнату, где он чаще всего проводил время, когда бывал дома, в ней шевельнулось какое-то странное детское чувство страха. Здесь находился, ожидая возвращения своего господина, старый камердинер Отто. При виде чужого лица, смотревшего, как ей казалось, на ее растерянное, расстроенное лицо, в ней заговорил гнев, и она сердито приказала:

— Уйдите!

И когда старик повернулся и покорно пошел к двери, она вдруг остановила его.

— Пойдите, — сказала она, — передайте, как только барон фон Гондремарк придет во дворец, чтобы его пригласили пожаловать сюда, — он застанет меня здесь.

— Слушаю-с, я передам в точности, — сказал старик.

— Да, тут должно быть письмо для меня... — начала она и вдруг остановилась на полуслове.

— Ваше высочество найдете это письмо на том столе, — сказал старый слуга. — Мне не было дано никаких распоряжений относительно него, иначе бы вашему высочеству не пришлось самой беспокоиться.

— Нет, нет, нет! — закричала она. — Благодарю вас, я найду, я желаю быть одна.

И как только дверь за стариком затворилась, как только она осталась одна, Серафина бросилась к столу и схватила письмо как добычу. В мыслях у нее все еще было смутно и туманно; ее рассудок, как месяц, который в облачную ночь то скрывался за тучами, то выплывал из них и ярко светил какое-то мгновение, а затем опять его заслоняли облака; так и ее мысли, то становились ясными, то их как будто заволакивал какой-то туман; и минутами она понимала, что читает, а минутами смысл слов ускользал от нее.

«Серафина, — писал принц, — я не напишу здесь ни слова упрека; я видел ваш собственноручный указ и я уйду, покоряясь вашей воле. А что оставалось мне делать? Я истратил, я израсходовал на вас напрасно весь запас горевшей во мне любви, и больше у меня ее не осталось! Сказать вам, что я вам прощаю, бесполезно; теперь мы с вами расстались, наконец, навсегда, по вашей воле, и этим вы освободили меня от моих добровольных уз. Я уйду в заточение свободным человеком. Я ушел теперь из вашей жизни, и вы можете, наконец, вздохнуть свободно, хотя мне казалось, что насколько это от меня зависело, я никогда не мешал вам жить и дышать свободно; теперь вы избавились от супруга, который позволял вам покидать и игнорировать себя, и от принца, который передал вам свою власть и свои права, которыми вы воспользовались для того, чтобы столкнуть его с того трона, на который он вас возвел, а также избавились вы и от влюбленного, который гордился тем, что всегда выступал вашим защитником у вас за спиной и никому не позволял не только оскорблять, но даже и злословить о вас за глаза. Чем вы мне за все

это отплатили, вам, вероятно, подскажет когда-нибудь ваше собственное сердце, гораздо громче, чем это могли бы сделать мои слова. Настанет день, когда ваши пустые мечты развеются, как дым, и вы увидите себя всеми покинутой; вы останетесь одна, и никто не пожалеет вас, никто не заступится за вас. Тогда вы вспомните

Отто».

Она читала эти последние строки с чувством невыразимого ужаса. Да, этот день уже настал! Она была одна. Она была лжива, неискренна, она была бессердечна и жестока, — и теперь раскаяние грызло ее. Но затем более резкой нотой врывался в ее душу, заглушая на время все остальное, голос честолюбия, голос ее оскорбленной гордости. Она была одурочена! Она оказалась беспомощной! Она обманулась сама, пытаясь обойти своего мужа! Да, не она обошла, а ее обошли! И все эти годы она жила, питаясь грубой лестью; она вдыхала в себя яд обмана, была шутком, дергунчиком в руках ловкого негодяя! Она, Серафина!.. И ее быстрый сообразительный ум видел уже перед собой последствия; она ясно предвидела свое падение, свой публичный позор и посрамление; она видела теперь всю гнусность, весь позор, все безрассудство и безумие своего поведения, и всю свою хвастливую чванливость и напыщенность своих тщеславных замыслов, ставших посмешищем и басней во всей Европе, при всех европейских дворах. Теперь ей вдруг припомнились все те гнусные толки и сплетни, которыми она пренебрегала в своем царственном величии, но теперь, увы! у нее уже не хватало смелости презирать их или встречать их с высоко и надменно поднятой головой. Слыть любовницей этого человека! Может быть, потому... И она невольно закрыла глаза, чтобы не видеть ужасающего будущего. С быстротою мысли она сорвала со стены сверкающий кинжал и радостно воскликнула:

— Нет, я увернусь, я уйду от всего этого! Уйду из этого мирового театра с его громаднейшей сценой, на которой все люди подвизаются как актеры на подмостках, на которых зрители смотрят и одним аплодируют, а глядя на других, качают головой, жужжат и перешептываются. И среди этих последних она теперь видела и себя, беспощадно бичуемую всеми. Но, слава Богу, еще одна дверь оставалась пред нею открытой; у нее был еще один выход, и какой бы то ни было ценой, путем каких угодно мук и страданий она задушит

этот жуткий смех издевательства. Она не станет посмешищем для всех. И она закрыла глаза, вознесла в одном глубоком вздохе молитву Богу и вонзила оружие себе в грудь. Но острая боль, причиненная уколом, заставила ее вскрикнуть, очнуться и, как бы пробудив, вернула к действительности. Как-то разом натянула нервы, отрезвила, и весь ее план самоубийства рухнул. И только маленькое алое пятнышко крови явилось единственным признаком этого поступка, вызванного безумным, безнадежным отчаянием.

В этот момент послышались номерные, размеренные шаги, которые приближались со стороны картинной галереи; и в них она сразу узнала шаги барона, которые так часто радостно приветствовала, и даже сейчас звук этих уверенных шагов подействовал на нее возбуждающе, как призыв к битве.

Она спрятала кинжал в складках своей юбки и, выпрямившись во весь рост, стояла прямо и гордо, сияя злобой и готовая встретить врага лицом к лицу.

Дежурный лакей доложил, и, на приказание просить, барон вошел как всегда уверенно и спокойно. Для него Серафина являлась ненавистной задачей, заданной ему строгим учителем, как стихи Виргилия для ленивого ученика, и потому у него не было ни времени, ни желания замечать ее красоту, но на этот раз, когда он вошел и увидел ее стоящей во всем блеске волновавших ее страстей, в нем вдруг проснулось новое чувство к ней, чувство невольного восхищения и, наряду с этим, мимолетная искорка желания. И то и другое он заметил в себе не без некоторого удовольствия; ведь это было тоже оружие, тоже средство для достижения цели! «Если мне придется играть роль влюбленного, — подумал он при этом, а эта мысль всегда очень заботила его, — то я, пожалуй, сумею теперь сыграть ее с некоторым подъемом. Это хорошо!» Тем временем он со своей обычной тяжеловатой грацией склонился перед принцессой.

— Я предлагаю, — сказала она странным, ей самой совершенно чуждым голосом, — освободить принца и не вступать в войну с соседями.

— Ах, madame, я так и знал, что это будет; я это предвидел! Я знал, что ваше сердце возмутится против этого, как только мы дойдем до действительно крайне неприятного, но совершенно необходимого шага. Поверьте мне, madame, я достоин быть вашим союзником,

говорю это не хвастаясь. Я знаю, что вы имеете такие качества, которые мне совершенно чужды, и их-то я считаю за лучшее оружие в нашем арсенале; это прежде всего — женщина в королеве! Жалость, нежность, любовь и смех, т. е. веселье; та чарующая улыбка, которая может дарить счастье и награждать людей. Я умею только приказывать; я хмурый, мрачный и гневный, а вы не только обладаете способностью привлекать и очаровывать, любить и жалеть, но вы еще умеете и управлять этими чувствами и подавлять их там, где это является необходимым, там, где этого требует ваш рассудок. Сколько раз я восторгался этим даже в вашем присутствии, и я не раз высказывал это вам. Да, вам! — добавил он с особою нежностью, подчеркивая эти слова и как будто уносясь мыслью к минутам более интимных восторгов и восхищений. Но теперь, madame...

— Но теперь, господин фон Гондремарк, время для таких деклараций прошло! — крикнула она. — Я хочу знать, преданы вы мне или вероломны? Загляните в свою душу и ответьте мне; я не хочу больше слышать одни пустые слова, я хочу знать, что у вас на душе!

— «Момент настал», — подумал про себя Гондремарк. — Вы, madame?! — воскликнул он, подавшись немного назад, как бы в испуге и в то же время с недоверчивой, почти робкой радостью в голосе. — Вы сами приказываете мне заглянуть в мою душу?!

— Неужели вы думаете, что я боюсь вашего ответа? — крикнула принцесса и посмотрела на него такими горящими глазами, с вспыхнувшим яркой краской лицом и такой необъяснимой улыбкой, что барон откинул в сторону все свои сомнения и решился выступить в новой роли перед принцессой.

— Ах, madame! — воскликнул он, опускаясь на одно колено. — Серафина! Так вы мне разрешаете? Значит, вы угадали мою заветную тайну? Неужели это так? Я с радостью отдам свою жизнь в ваши руки! Я люблю вас страстно, безумно, безрассудно! Люблю, как равную себе, как возлюбленную, как боевого товарища, как боготворимую, страстно желанную, очаровательную женщину! О, желанная невеста! — воскликнул он, впадая в патетический тон, — невеста разума моего, невеста души моей, невеста страсти моей! Сжальтесь, сжальтесь над моей любовью, если не надо мной, вашим покорным рабом!

Она слушала его с удивлением, с бешенством, с отвращением и презрением. Его слова вызывали в ней чувство гадливости и омерзения, а вид его в те минуты, когда он, такой огромный и неуклюжий, ползал перед ней на коленях по полу, вызывал в ней злобный дикий смех, каким мы иногда смеемся под влиянием кошмара во сне.

— Стыдитесь, — воскликнула она. — Неужели вы не понимаете и не чувствуете, что это глупо, пошло, смешно и отвратительно! Что бы сказала на это графиня?!

И великий политик, величественный и грозный барон фон Гондремарк остался еще некоторое время стоять на коленях в таком душевном состоянии, которое невольно вызвало бы в нас жалость, если бы мы могли вполне его себе представить. Его гордость в броне железной воли, можно сказать, кипела и истекала кровью. О, если бы он мог вымарать все это признание! Если бы он мог уйти, скрыться, провалиться в землю! Если бы он только не называл ее своей невестой, своей возлюбленной! У него шумело в ушах, а в голове, точно рой пчел, жужжали мысли, сшибались, сталкивались и всплывали на поверхность одни за другими отдельные слова и выражения его признания. Спотыкаясь, поднялся он на ноги, и в первый момент, когда немая попытка, наконец, вырывается у человека наружу и выражения в словах, когда язык помимо нашей воли и рассудка выдает самые сокровенные помыслы и чувства человека, у него вырвалась фраза, о которой он потом сожалел в течение целых долгих шести недель.

— Ага! — крикнул он нагло и дерзко. — Графиня?! Так вот в чем весь секрет вашего возбуждения, ваше высочество! Да, теперь я его понимаю! Графиня — помеха вам! Она вам стала поперек дороги? Ха, ха!!!

И эта лакейская дерзость, эта наглость слов была еще умышленно подчеркнута вызывающим тоном взбесившегося хама. При этом на Серафину нашло какое-то затмение, как будто черная грозовая туча гнева и бешенства затмила на мгновение ее рассудок; она не помнила, что она сделала в этот момент, но только услышала свой крик. Дикий, яростный крик раненой тигрицы, и, когда туман, застилавший ей глаза и рассудок, снова рассеялся, она отшвырнула от себя окровавленный кинжал, который до сего момента судорожно сжимала ее рука, сама того не чувствуя и не сознавая. В тот же самый момент она увидела

Гондремарка с широко раскрытым ртом, отшатнувшегося назад, зажимавшего обеими руками рану, из которой сочилась кровь. Но затем с градом ужаснейших проклятий, каких она еще никогда в своей жизни не слышала, этот ужасный, громадный человек кинулся на нее, совершенно озверев от бешенства; но в тот момент, когда она отступала перед ним, он вцепился в нее обеими руками и прежде, чем она успела оттолкнуть его, он пошатнулся и упал на пол. Она не успела даже испытать чувства страха, как он уже упал у самых ее ног.

Спустя секунду он еще раз приподнялся, опершись на один локоть, а она стояла неподвижно, вся побелев, как холст, с остановившимся взглядом, полным ужаса, и смотрела на него.

— Анна! — крикнул он приподнявшись. — Анна, помоги!..

И с этими словами голос его оборвался, и он упал навзничь без всяких признаков жизни. Тогда Серафина стала бегать и метаться взад и вперед по комнате; она ломала руки и задыхающимся голосом выкрикивала бессвязные слова. В мыслях и чувствах ее царил сплошной хаос и ужас и какое-то мучительное желание проснуться, очнуться от этого страшного кошмара, который давил и душил ее.

В этот момент послышался стук в дверь; тогда она одним прыжком подскочила к двери и стала крепко держать ее, навалившись на нее плечом и всем корпусом; она держала ее со всей силой безумия и отчаяния, пока, наконец, ей не удалось задвинуть засов. После этого она как будто несколько поуспокоилась. Она вернулась к тому месту, где упал барон, и посмотрела на свою жертву. Стук в дверь становился громче и как бы настойчивее. — «Он умер», — решила Серафина, глядя на Гондремарка, — «я его убила!» Она, которая своей слабой нерешительной рукой едва сумела нанести себе укол, из которого вышло всего несколько капель крови, как могла она убить одним ударом этого колосса! Откуда взялась у нее такая сила?

А между тем стук в дверь становился все громче, все тревожнее, все менее и менее соответствующий обычному спокойному течению жизни в этом дворце. Как видно, там за дверью ее ждал скандал и огласка и, Бог весть, какие ужасные последствия, предугадать которые она боялась. Теперь уже за дверью слышались голоса, и среди них она узнала голос канцлера. Он или кто другой, не все ли равно, кто-нибудь должен узнать первый.

— Господин фон Грейзенгезанг здесь? — спросила она, возвысив голос так, чтобы ее могли слышать за дверью.

— Ваше высочество, я тут! — отозвался старик. — Мы слышали здесь крик и падение. Не случилось ли у вас какого-нибудь несчастья?

— Ничего подобного, — уверенно и твердо ответила Серафина, — с чего вы взяли! Я желаю говорить с вами, отошлите отсюда всех остальных.

Она вынуждена была переводить дыхание между каждой отдельной фразой, но теперь мысли ее были совершенно ясны. Она опустила обе половинки тяжелой бархатной портьеры прежде, чем отворить дверь и впустить канцлера. Таким образом, ничей любопытный глаз не мог заглянуть в комнату и случайно заметить то, что здесь произошло. Впустив раболепного и трусливого канцлера, она снова задвинула засов дверей и успела выйти из-за опущенной портьеры одновременно со стариком, запутавшимся в тяжелых складках бархата.

— Боже мой! — воскликнул он. — Барон!..

— Я убила его, — сказала Серафина, — ну да, убила!

— Ах, как это прискорбно!.. — вымолвил старик. — И так необычайно... совершенно необычайно. У нас не бывало еще подобных инцидентов... Ссоры любовников, — продолжал он скорбным тоном, — конечно, возобновляются, но... — и он не договорил. — Но, дорогая принцесса, во имя святого благоразумия скажите мне, что же мы теперь будем делать? Ведь это чрезвычайно серьезный случай... чрезвычайно серьезный... с точки зрения морали, это ужасный, потрясающий случай! Я позволю себе на мгновение, ваше высочество, обратиться к вам, как к дочери, любимой и уважаемой дочери, и не утаю от вас, что этот прискорбный случай с точки зрения нравственности весьма предосудительный. А главная беда, что у нас теперь здесь мертвое тело! Что мы с ним будем делать?..

Все это время Серафина пристально смотрела на старого царедворца; ее надежда найти в нем советчика и помощника в эту тяжелую минуту ее жизни, в этом убийственном положении разом разлетелась и сменилась презрением к этому старому болтуну. Она брезгливо посторонилась от этой жалкой беспомощности мужчины, и

в тот же момент к ней вернулось все ее обычное присутствие духа, ее обычная решимость и рассудительность.

— Убедитесь, умер ли он! — приказала она, не считая нужным давать никаких объяснений этому жалкому человеку, а тем более оправдываться или защищаться перед ним. Кроме слов: «убедитесь, умер ли он» — она ничего больше не сказала и молча, гордо выпрямясь во весь рост, стояла и ждала ответа.

С самым сокрушенным видом канцлер приблизился к неподвижно распростертому на полу барону, и в тот момент, как он склонился над ним, Гондремарк повел ими из стороны в сторону.

— Он жив! — радостно воскликнул канцлер. — Madame, он еще жив! — обратился он уже прямо к принцессе.

— Так помогите ему, — приказала она, не меняя ни своей позы, ни тона голоса, — перевяжите его рану!

— Но у меня нет ничего под руками, никаких перевязочных средств, — возразил канцлер.

— Да разве вы не можете воспользоваться для этого, ну, хоть вашим платком, вашим галстуком, ну, словом, чем-нибудь! — досадливо воскликнула она. — И, говоря это, она одним ловким сильным движением оторвала волан своего легкого кисейного платья и, пренебрежительно швырнув его на пол, добавила: — Возьмите это! — И при этом она впервые взглянула прямо в лицо Грейзенгезангу.

Старый канцлер воздевал руки к небу и в страхе отворачивал голову от принцессы, стараясь смотреть в сторону. Сильные руки барона во время падения оборвали нежную отделку корсажа, волан с подола оторвала сама Серафина, чтобы перевязать им рану, и только теперь Грейзенгезанг заметил это.

— Ваше высочество! — воскликнул он в ужасе. — В каком невероятном беспорядке ваш туалет!

— Возьмите волан, — сказала она все так же гордо и надменно, — перевяжите рану, надо задержать кровь! Ведь пока вы тут разглядываете мой туалет, этот человек может умереть, может изойти кровью.

Грейзенгезанг тотчас же обернулся к раненому и стал неумело и неловко перевязывать рану, стараясь задержать кровь.

— Он еще дышит, — повторит он, — значит, еще не все потеряно: он еще не умер...

— Ну, а теперь, — приказала принцесса, все время не трогавшаяся с места и стоявшая гордо выпрямясь, как статуя на своем пьедестале, — если это все, что вы можете для него сделать, идите и приведите сюда людей для того, чтобы его сейчас вынести отсюда и тотчас же отнести домой.

— Madame! — воскликнул канцлер. — Если это печальное зрелище хоть на одно мгновение представится глазам населения столицы, то... то все государство погибнет! Все падет разом! О, Боже!.. Как тут быть?

— Во дворце должны быть крытые носилки, — сказала Серафина. — Уж это ваше дело, чтобы его доставили домой благополучно. Я возлагаю все на вас. Вы мне ответите за это вашей жизнью.

— Понимаю, понимаю, ваше высочество, — беспомощно и плаксиво залепетал старик, — я это слишком хорошо понимаю. Но как это сделать? Откуда я возьму людей? Каких людей? Разве что кого-нибудь из слуг принца. Они все были ему лично преданы, все его любили... эти, пожалуй, не выдадут...

— Нет, не их. Зачем звать слуг принца? — воскликнула Серафина. — У меня есть свои люди, возьмите, например, моего Сабра.

— Сабра! Что вы, ваше высочество! Этот Сабра, этот масон!.. Да если он только хоть одним глазом увидит и догадается о том, что здесь случилось, — да он сейчас же ударит в набат! Нас всех прирежут, как овец к празднику, сию же минуту начнется резня!

Слушая его, Серафина, не вздрогнув, измерила мысленно всю глубину своего падения.

— Так возьмите кого хотите, кого знаете, мне все равно, — сказала она, — только пусть принесут сюда скорее носилки.

Когда Грейзенгезанг вышел и Серафина осталась одна, она подбежала к барону и с замиранием сердца старалась остановить кровь. Но прикосновение к телу этого великого шарлатана вызывало в ней чувство глубокого возмущения; она вся дрожала. В ее глазах, столь неопытных в распознавании серьезности ран, рана барона Гондремарка казалась смертельной; но она совладала с собой и, не

взирая на внутреннюю дрожь, пробежавшую по всему ее телу, она с большим умением и ловкостью, чем старый канцлер, забинтовала кровоточащую рану. Беспристрастный зритель, наверное, залюбовался бы бароном в этот момент, когда он лежал на полу в глубоком обмороке. Он выглядел таким величественным, крупным и статным; теперь же он лежал неподвижно, и черты этого умного, строгого лица, с которого в настоящий момент сбежало неприятное льстивое, лукавое выражение и напускная мрачность и суровость, теперь казались такими правильными, строгими, спокойными, даже почти красивыми. Серафина же, глядя на него с ненавистью и злобой, видела его совсем другим. Как безобразно выглядела распростертая на полу ее жертва, слегка вздрагивавшая, с обнаженной широкой, богатырской грудью, и мысли ее невольно на мгновение перенеслись к Отто, который в эту минуту живо предстал ее воображению.

Тем временем во дворце поднялся непривычный суетливый шум; всюду слышались голоса, раздавались поспешные шаги; кто-то бежал куда-то, окликал кого-то, под высокими сводами лестницы гулким эхом раздавались какие-то смутные звуки суеты и смятения. Затем в галерее четко раздались быстрые тяжелые шаги нескольких пар ног, тяжело ступавших по паркету. То возвращался канцлер в сопровождении четверых лакеев принца, несших носилки. Когда они вошли в оружейную, они с невольным удивлением и недоумением уставились сперва на принцессу, пораженные ее растерзанным видом, затем на раненого Гондремарка, все еще находившегося в обморочном состоянии. Никто из них не проронил ни слова; этого они не посмели себе позволить, но зато в мыслях их проносились самые оскорбительные предположения. Гондремарка общими силами всунули в носилки и занавески на окнах опустили; носильщики подняли их и вынесли из дверей, а канцлер, бледный, как мертвец, пошел в двух шагах за носилками.

Как только это шествие покинуло комнату, Серафина подбежала к окну и, прижавшись лицом к стеклу, смотрела на террасу, где огни фонарей соперничали между собой, и далее — на длинный двойной ряд уличных фонарей по обеим сторонам аллеи, соединявшей город и дворец. А надо всем этим темная ночь, и кое-где на небе крупные яркие звезды. Вот маленькое шествие вышло из дворца, пересекло плац-парад и вступило в ярко освещенную, залитую светом аллею,

представлявшую собою главную улицу столицы. Она видела мерно кольшущиеся носилки с их четырьмя носильщиками и еле-еле плетущегося за ними в глубоком раздумье канцлера. Серафина следила за этим шествием, которое медленно продвигалось вперед, и тяжкие думы одолевали ее. Она мысленно представляла картину крушения всей ее жизни, надежд и расчетов. В целом свете не оставалось теперь ни единого человека, которому она могла бы довериться; никого, кто бы дружески протянул ей руку, или на кого она могла бы рассчитывать как на сколько-нибудь бескорыстно преданное ей существо. С падением Гондремарка распадалась и ее партия, а с ней и ее кратковременная популярность, и все ее планы и мечты. И вот она сидела теперь, скорчившись, на подоконнике, прижавшись лбом к холодному стеклу окна, в разодранном платье, висевшем на ней жалкими лохмотьями, едва прикрывавшими тело, в голове у нее проносились одни горькие и обидные мысли. Тем временем последствия быстро назревали; в обманчивой тишине ночи уже пробуждалось, шевелилось и предательски подкрадывалось к ней народное возмущение, грозное восстание и неминуемое ее падение! Вот носилки вышли из чугунных ворот и двинулись по улицам города. Каким ветром, каким необъяснимым чудом перелетели из дворца или передались по воздуху необычайное смущение и тревога, взволновавшие несколько времени тому дворец, каким образом передалось это смутное предчувствие беды или чего-то неладного мирным гражданам города, трудно объяснить. Но разные толки и слухи громким шепотом уже носились по городу и переходили из уст в уста. Мужчины выходили из дома, сами не зная, собственно, зачем, незаметно сходились они в кучки; вскоре эти отдельные кучки, рассеявшиеся вдоль бульвара, образовали одну толпу, и с каждой минутой эта толпа под светом редких фонарей и под тенью густых развесистых лип все разрасталась и становилась все чернее и чернее, все многочисленнее и многочисленнее.

И вот через эту неизвестно зачем собравшуюся, словно чего-то ожидающую толпу, должны были пройти приближавшиеся к ней закрытые носилки, представлявшие собою столь необычайное зрелище сами по себе, — носилки, за которыми то плелся, то трусил, как собачонка за хозяином, столь важный сановник, как сам канцлер Грейзенгезанг. Гробовое молчание воцарилось в тот момент, как это

необычайное шествие проходило через толпу, расступившуюся, чтобы дать носилкам дорогу; но едва только они прошли, как толпа зашептала, зашушукалась и зашипела, как перекипающий через край горшок с похлебкой. Теперь вся эта толпа, образовавшаяся из отдельных кучек, на мгновение как бы остолбенела, точно громом пораженная, а затем, как будто по команде, двинулась всей массой за закрытыми носилками с опущенными занавесками на окнах; двинулась чинно, медленно, точно провожающие в похоронной процессии. Но вскоре выборные, те, что были несколько посмелее остальных, стали осаждать канцлера вопросами. Никогда еще не имел он такой настоящей надобности во всем своем искусстве притворства и лживости, благодаря которым он так хорошо прожил всю свою жизнь, а между тем теперь-то это искусство как раз и изменяло ему. Он сбивался, запинаясь, потому что его главный господин и владыка, «страх», предавал его. К нему приставали, настаивали, и он становился непоследователен, трусил... Вдруг из колышавшихся носилок раздался стон, громкий, протяжный стон. В тот же момент в толпе поднялся шум и крики: вся она заволновалась и загудела, как потревоженный рой пчел. Предусмотрительный и чуткий канцлер мгновенно сообразил в чем дело; он, так сказать, уловил своим чутким слухом задержку перед боем часов и угадал опасность прежде, чем пробил час рокового переворота. И на секунду, всего, быть может, на одну секунду, он позабыл о себе, и за это ему, вероятно, простится много грехов! Он дернул одного из носильщиков за рукав и, задыхаясь, шепнул ему:

— Пусть принцесса бежит! Все погибло!

А в следующий момент он уже извивался и крутился в толпе, как катящийся шар, который сбивают ногою, и всячески отстаивал свою жалкую старческую жизнь.

Пять минут спустя в оружейную принца ворвался, как ураган, слуга с выпученными, обезумевшими глазами и крикнул:

— Все погибло! Канцлер прислал сказать, чтобы вы бежали!

В этот самый момент Серафина, взглянув в окно, увидела, что толпа черной шумящей массой уже хлынула в железные ворота и начинала наводнять освещенную фонарями аллею, ведущую ко дворцу.

— Благодарю вас, Георг, — сказала она внешне спокойно, — благодарю вас. Идите! — И так как слуга продолжал все еще стоять, вероятно, ожидая каких-нибудь приказаний, она повторила еще раз: — Идите! Спасайтесь сами! Я сама позабочусь о себе!

И она спустилась вниз в сад по той же самой интимной лестнице половины принца, по которой ровно два часа тому назад спустился ее муж, покидая, как и она теперь, навсегда этот дворец. По этой самой лестнице сходила теперь Амалия-Серафина, последняя принцесса Грюневальда, и по ней же еще так недавно уходил из этого дворца навсегда и Отто-Иохан-Фридрих, последний принц Грюневальдский.

ЧАСТЬ III. СЧАСТЬЕ В НЕСЧАСТЬЕ

I. Принцесса Золушка

Привратник, привлеченный шумом и тревогой, царившими во дворце, ушел, оставив дверь незапертой, мало того, даже совершенно раскрытой, и через нее на Серафину глянула темная ночь. В то время как она бежала вниз по террасам сада, шум голосов и громкий топот сотен ног, ворвавшихся во дворец и на плац-парад и быстро приближавшихся ко дворцу, слышался все ближе и ближе и становился все громче и громче. Этот натиск толпы походил на атаку кавалерии; над общим шумом и гулом выделялся звон стекла разбиваемых фонарей, а еще громче раздавалось из толпы ее собственное имя с самыми оскорбительными эпитетами, выкрикиваемое наглыми голосами, быть может, сотнями голосов. У дверей Кордегардии прозвучал сигнал; затем раздался один залп, заглушенный дикими криками освирепевшей толпы, и одним дружным натиском Миттвальденский дворец был взят приступом. Подгоняемая этими дикими голосами, принцесса неслась по саду, по темным тенистым аллеям и залитым звездным светом мраморным ступеням лестниц все вперед и вперед, по направлению к парку. Затем через весь парк, который в этом месте не так широк, как в других, прямо в темный лес, примыкающий к нему почти вплотную. Таким образом, Серафина разом, одним махом, так сказать, покинула уютный, ярко освещенный бесчисленными веселыми огнями дворец, с его вечерними собраниями и развлечениями и разом перестала быть царствующей особой, перед которой преклонялся весь двор. Она упала с высоты своего земного величия и даже с высоты цивилизации и комфорта и очутилась в жалком положении одинокой бродяжки, оборванной Золушки в темном, глухом лесу среди ночи.

Она шла все прямо, по прорубленной в лесу просеке, поросшей кустами терновника, репейником и всякой дикой растительностью, но здесь ей, по крайней мере, светили звезды. А там, впереди, было, казалось, совершенно темно из-за сплетавшихся между собой косматых ветвей высокой сосновой чащи, образовавшей почти непроницаемый свод над головой. В это время здесь царила кругом мертвая тишина; все ужасы ночи, казалось, водворились здесь, в этой укрепленной цитадели леса; но Серафина продолжала продвигаться

вперед ощупью, поминутно натыкаясь на стволы деревьев и, напрягая свой слух, жадно ловила хоть какой-нибудь звук, но, увы, напрасно!

Но вот она заметила, что лесная дорога как будто подымается в гору, и это обрадовало ее; она надеялась выйти на более открытое место. И, действительно, вскоре она увидела себя на скалистой вершине, возвышавшейся над морем темных сосен, над их красивыми, зубчатыми верхушками. Кругом, куда ни погляди, всюду вырисовывались вершины гор и холмов, высокие и низкие, между ними опять черные долины сосновых лесов, а над головой распахнулось тоже темное небо, сверкающее блеском бесчисленных звезд, а там, на краю западного горизонта — смутные силуэты гор. Чудесная красота ночного неба невольно очаровала беглянку; теперь ее глаза светились так же, как звезды, светились непривычным, неведомым ей восторгом; она глубоко вздохнула, и этот вздох принес успокоение ее наболевшей душе; ей казалось, что она погрузилась в упоительную прохладу и лучистое сиянье далекого неба, совершенно так же, как она погрузила бы свою горячую руку в воду холодного ручья; ее трепещущее сердце стало биться ровнее и спокойнее. Лучезарное солнце, победно шествующее над нами, заливающее своими золотыми и живительными лучами поля и луга и озаряющее своим сиянием безбрежное пространство полдневной лазури небес, являющееся благодетелем миллионов людей, — ничего не говорит горю одинокого человека, тогда как бледный месяц, подобно скрипке, воспекает и оплакивает только частные наши радости и горести. Только одни звезды, эти мигающие и мерцающие искорки, весело нашептывающие нам что-то таинственное и неведомое, только они навевают нам неясные сны и предчувствия и действуют на нас успокоительно, как участие близкого нежного друга. Они, улыбаясь, внимают нашим горестям и скорбям, как разумные старики, много видавшие на своем веку, полные снисхождения, терпимости и примирения, и, благодаря удивительной двойственности своего масштаба, благодаря тому, что они так малы для глаза и так необъятно велики в нашем воображении, они являются как бы прообразом одновременно двойственного характера человеческой природы и человеческой судьбы.

И принцесса сидела и с восторгом смотрела на несравненную красоту этих звезд и черпала в них успокоение и совет. Яркими

живыми картинами, отчетливо как на холсте, вырисовывались теперь перед ее мысленным взором отдельные эпизоды минувшего вечера: она видела перед собой графиню с ее подвижным, выразительным веером; громоздкого, громадного барона Гондремарка на коленях перед ней, и кровь на ярко вылощенном паркете, и стук в дверь, и колыхание носилок вдоль аллеи, идущей от дворца, и канцлера, и крики, и шум штурмующей дворец толпы. Но все это казалось ей теперь далеким, фантастическим, и сама она все время не переставала живо ощущать мир и спокойствие и целительную тишину этой чарующей прекрасной ночи. Она взглянула в сторону Миттвальдена, и из-за вершины горы, скрывавшей его теперь от ее взора, она увидела красное зарево, зарево пожара. — «Лучше так!» — подумала при этом она. — «Лучше сидеть здесь, чем погибнуть в трагическом величии при свете пламени пылающего дворца!» Она не чувствовала ни малейшей искры жалости к Гондремарку, ее совершенно не тревожила судьба Грюневальда. Тот период ее жизни, когда она всем на свете готова была пожертвовать ради того и другого или, вернее, ради своего личного честолюбия, был окончательно забыт. Теперь у нее была только одна мысль: — бежать! И еще другая, менее ясная, менее определенная, наполовину отвергнутая, но тем не менее властная, — бежать в направлении Фельзенбурга. Она была обязана освободить Отто, так ей подсказывало сердце или, вернее, холодный рассудок, а сердце ухватывалось за эту обязанность с особой страстностью, потому что теперь ее охватила жажда ласки, потребность сердечной доброты и участия.

Наконец она очнулась, словно пробудилась от долгого сна. Встала начала спускаться под гору, где темный лес вскоре обступил ее со всех сторон и скрыл в своей зеленой чаще. И снова она шла торопливо все вперед и вперед, наугад. Лишь кое-где сквозь просветы между соснами мигали две-три звездочки, да какое-нибудь одинокое дерево выделялось среди соседей необычайной мощью и резкостью своих очертаний, да тут и там гуща кустов в одном каком-нибудь месте образовывала среди окружающей темноты еще более темное, совсем черное, жуткое пятно, или же в поредевшем лесу вдруг получалось более светлое, туманно-сумеречное пятно, и это как будто еще более подчеркивало давящий мрак и безмолвие леса. Временами эта бесформенная тьма как будто вдруг сгущалась еще более, и тогда ей

начинало казаться, что ночь своими черными недобрыми глазами со всех сторон жадно смотрит на нее, сопровождая каждый ее шаг, подстерегая каждое ее движение. Серафима останавливалась, а безмолвие леса росло и росло до того, что начинало спирать ей дыхание. Тогда она принималась бежать, спотыкаясь, падая, цепляясь за кусты, но все спеша вперед и вперед, словно чувствуя за собою погоню. И вдруг ей стало казаться, что и весь лес сдвинулся с места и теперь бежит вместе с ней. Шелест и шум ее собственных шагов и движений, раздававшийся среди царящей здесь жуткой тишины, пробуждал повсюду слабое, сонное эхо, наполняя и самый воздух, и обступившую ее со всех сторон густую чащу леса смутными, бесформенными ужасами. Ее преследовал панический страх, страх деревьев, простиривших к ней со всех сторон свои косматые, колючие ветви, страх темноты, населенной бесчисленными чудовищами, призраками и безобразными лицами. Она задыхалась и бежала, чтобы уйти от этих ужасов, а между тем ее бедный беспомощный рассудок, загнанный всеми этими страхами в свою последнюю цитадель, еще слабо светился оттуда и шептал, что ей надо остановиться, и она чувствовала, что он прав, но не в силах была повиноваться ему, потому что ее толкала вперед какая-то непостижимая, злая сила, и она бежала и бежала все дальше и дальше, выбиваясь из последних сил.

Она была положительно близка к помешательству, когда перед нею вдруг открылась узкая просека, и одновременно с этим шум ее шагов стал как будто громче и отчетливее, и она увидела впереди какие-то смутные очертания и фигуры. Еще минута, и перед нею развернулись белевшие среди ночи поля и луга. Но вдруг земля под ней как будто расступилась, и она упала, но тотчас же опять вскочила на ноги; при этом она испытала какое-то необъяснимое, беспричинное потрясение, и в следующий момент потеряла сознание. Когда Серафина опять пришла в себя, то увидела, что стоит чуть не по колени в ледяной воде шумного потока, несшегося откуда-то с гор; она прислонилась к мокрой скале, с которой небольшим водопадом низвергался этот поток; брызги его, разлетавшиеся во все стороны, смочили ее волосы; она взглянула кверху и увидела белый пенящийся каскад, а внизу — шумящую воду в неглубоком бассейне, образовавшемся в месте падения потока, и на этой воде дрожали звезды, а по обе стороны потока, словно часовые на посту, стояли высокие темные сосны,

спокойно отражаясь в воде и любуясь звездным сиянием. Теперь, когда мысли ее несколько успокоились, когда волновавшие и терзавшие ее страхи улеглись, Серафина с радостью прислушивалась к плеску водопада, низвергавшегося в дрожащий бассейн. Вся промокшая, она стала выбираться из воды, но, сознавая теперь свою слабость и полное истощение сил, она поняла, что пуститься снова бродить по темной чаще леса в таком состоянии грозило гибелью ее жизни или рассудку, тогда как здесь, вблизи потока, где звезды лили с высоты свой ласковый свет, где теперь из-за леса только что выплывал бледный месяц, здесь она могла спокойно и без тревоги ожидать рассвета.

Прогалина, образовавшаяся здесь, в темной чаще леса, где стройные сосны расступились, чтобы дать дорогу шумливому потоку, шла круто под гору, извиваясь далеко-далеко, между двух стен соснового леса. Прогалина эта была гораздо шире, чем было нужно для потока, и местами темный лес то выдвигался вперед, суживая в этом месте береговую полосу лугов, то отступал назад, давая место открытым полянкам и лужайкам, на которых мирно дремал лунный свет. На одной из таких полей Серафина остановилась и стала терпеливо дожидаться утра. Она медленно ходила по ней взад и вперед; взгляд ее невольно поднялся кверху на горы, откуда несся с такой быстротой веселый поток, перескакивая на своем пути с уступа на уступ и образуя целый ряд каскадов, а затем спокойно бежал дальше в своих зеленых берегах по ровной пологой полянке, широко разливаясь между тростником и как бы отдыхая в этом затишьи; он безмолвно глядел на далекое небо, неустанно любуясь его красотой, которую так заманчиво отражали в себе его тихие, спокойные в этом месте воды. С вечера было прохладно, но ночь была мягкая и теплая, а из глубины леса веяло приятным теплом, словно от дыхания мирно спящего там великана; на траве тяжелыми алмазными каплями лежала роса, и бесчисленные белые маргаритки на лугу плотно свернули свои нежные лепестки и как будто дремали, сомкнув свои ясные золотые очи. Это была первая ночь, которую принцесса Серафина проводила под открытым небом; и теперь, когда страхи ее улеглись, она чувствовала себя растроганной до глубины души ласковым миротворным спокойствием этой тихой, ясной ночи. А там, высоко в небесах бесчисленная звездная рать кротко, ласково и любовно смотрела со своей недостижимой высоты на бедную, странствующую,

бездомную бродяжку-принцессу, и светлый ручей у ее ног не находил для нее иных слов, кроме слов нежного утешения.

И вдруг Серафина почувствовала чудесное перерождение всего, что она видела вокруг себя. То, что представлялось теперь ее глазам, было до того великолепно, что пожар Миттвальденского дворца по сравнению с этим был не более как вспышка игрушечного пистона. Даже самые сосны как будто иначе глядели теперь на нее, и трава, еще совсем молодая, казалось, начала робко улыбаться, и вся восходящая лестница потока с ее резвыми каскадами и падениями как будто вдруг повеселела, и от нее повеяло какой-то особенной отрадной свежестью. Все кругом приняло необычайно торжественный и нарядный вид. Это постепенное радостное перерождение во всем начало мало-помалу проникать и в нее, начало действовать благотворно и на душу, наполняя ее каким-то странным, никогда еще не испытанным ею трепетом. Серафина посмотрела вокруг, и на нее как будто глянула, как будто заглянула ей в глаза вся природа, таинственная, многозначительно приложившая палец к устам. Серафина взглянула на небо — там уже почти не было звезд, а те, что еще виднелись кое-где, заметно бледнели, догорали и гасли, словно таяли в прозрачном голубом эфире. Самое небо стало теперь не то, каким оно было раньше: цвет его был теперь какой-то удивительный; прежний густосиний цвет как будто расплылся, смягчился и посветлел, точно его сменил светлый лучистый туман или дымка, которой нет названия и которую никогда больше видеть нельзя, кроме как только в момент нарождающегося утра, как предвестник близкого рассвета.

— О, — воскликнула Серафина, и радость перехватила ей дыхание, — о, ведь это рассвет!

Мгновение — и она, подобрав юбки, перебралась через поток и побежала вперед, вниз по прогалине, где еще царил предрассветный сумрак и туман. А в это время в соседних кустах и в лесу трещали и звенели щебечущие голоса бесчисленных птиц, звучавшие лучше всякой музыки: сладко проспав всю ночь в своем крошечном, напоминающем блюдечко гнездышке, приютившемся где-нибудь в разветвлении двух толстых сучков, проспав, плотно прижавшись друг к другу, точно двое влюбленных, эти счастливые птички просыпались теперь, быстроглазые и веселые, чуткие и восторженные певцы; они просыпались и радостно приветствовали нарождающийся день. И

сердце принцессы дрожало и рвалось к ним, полное любви и умиления, а они со своих маленьких и высоких веточек срывались из-под самого лесного купола, как камень летели и, можно сказать, почти падали к ее ногам на зеленый мох и траву, чуть не задевая ее своими крылышками, в то время как она, эта принцесса в лохмотьях, мелькала между деревьев, мчась вперед.

Вскоре она добралась до вершины лесистого холма и теперь могла видеть далеко перед собой и следить за безмолвным, победным шествием дня. Там, далеко на востоке, разливался бледный свет, который затем заметно белел, повсюду мрак точно дрогнул и спешил уступить место свету, звезды все уж погасли, словно уличные фонари в городе с наступлением дня. Белый свет стал переходить в сияющий серебряный, а серебряный, как будто раскаляясь, постепенно становился золотым, а золото разгоралось и становилось огнем, ярким пылающим огнем, а затем повсюду разливался румяный, розовый отблеск зари. Наконец проснувшийся деньдохнул живительной прохладой на всю природу, и на многие мили в округе темный лес тоже глубоко вздохнул, и по нему пробежала как бы легкая дрожь. Еще момент и солнце вдруг разом выкатилось из-за горизонта, точно выплыло на поверхность, и первая стрела лучезарного светила ударила прямо в лицо пораженной и очарованной принцессе, которая при этом вдруг почувствовала нечто похожее на робость, смешанную с восторгом. Повсюду тени выползали из своих тайников и ложились, расстилались по земле. День настал, яркий, блестящий, сияющий, и солнце там, на востоке, продолжало победное свое шествие, подымаясь медленно и величественно все выше и выше.

Серафина, однако, переутомилась; она чувствовала, что ослабевает, и опустилась на траву, прислонясь спиной к дереву; а веселый лес как будто смеялся над ней, над ее ночными страхами. Теперь и эти ужасы, и радостная перемена близящегося рассвета были пережиты: но под палящим взором яркого дня она тревожно оглядывалась, боясь не призрачных ужасов ночи, а живых людей. И невольно тяжело вздыхала. На некотором расстоянии, среди низкорослого леса, она увидела поднимающуюся к небу и тающую в воздухе тонкую струйку дыма, то появлявшуюся на золотисто-голубом фоне неба, то минутами исчезающую. Там, наверное, были люди, собравшиеся вокруг очага. Руки человеческие сложили эти сучья, человеческое дыхание раздуло

маленький огонек в яркое пламя и теперь это пламя весело озаряет лицо того, кто его вызвал к жизни. При этой мысли она почувствовала себя такой одинокой, озябшей, затерянной в этом необъятном Божием мире. И теперь поразившее и оживившее ее, как искры электрического тока, первые золотые лучи восходящего солнца, и неповторимая красота этих лесов начинали досаждают ей, раздражали, даже пугали ее. И кров, и уют дома, приятное уединение в комнате, равномерный, умеренно яркий огонь камина, удобная мебель, словом, все то, что красит и придает приятность жизни культурного человека, начинало тянуть ее к себе неудержимо. Теперь столб дыма, очевидно, под влиянием движения воздуха начал клониться в сторону наподобие крыла и, как бы приняв это изменение в направлении дымка за призыв или приглашение, Серафина снова вступила в лабиринт лесной чащи с намерением добраться до жилья.

Здесь, в лесу, еще было сумрачно и прохладно, как на рассвете; сюда еще не успели проникнуть горячие, обогревающие и освещающие все своим светом лучи солнца, и ее охватила голубоватая мгла и холодок ночной росы. Но тут и там верхушка высокой сосны уже светилась под яркими лучами золотившего ее солнца, а там, где прерывалась цепь холмов, яркие лучи солнца победно врывались в царство тени и мглы и длинной широкой полосой ложились между частыми стволами деревьев, словно прокладывая в лесу золотую дорогу. Серафина спешила по лесной тропинке, и хотя теперь дымка ей больше не было видно, но она придерживалась желаемого направления по солнцу. Вот еще и новые признаки подтвердили присутствие и близость человека; это были срубленные стволы, белые щепки, собранные в вязанки зеленые ветки и поленицы дров. Это придавало ей мужества, и она смелее и бодрее пошла вперед. Наконец она вышла на расчищенное от леса место, откуда подымался дымок. У самого ручья, который весело перепрыгивал через небольшие пороги, стояла избушка, и на пороге, в самых дверях, виднелась фигура загорелого дровосека с грубыми жесткими чертами лица. Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел на небо.

Серафина, не задумываясь, прямо направилась к нему, — прекрасное, но дикое и странное видение с блестящими глазами, в жалких лохмотьях когда-то драгоценного наряда, с парюю бриллиантов в ушах, сверкавших, как капли росы на солнце. На ходу, от движения,

одна из ее небольших грудей то показывалось, то скрывалась под тонким кружевом ее разорванного лифа. В такое время дня, да еще прямо из леса, где все молчало, не успев пробудиться от сна, это видение смутило дровосека, и он попятился от принцессы, как от какой-нибудь лесной волшебницы.

— Я озябла, — сказала Серафина, — и я устала. Дайте мне отдохнуть и обогреться у вашего очага.

Дровосек, видимо, смутился, но ничего не ответил и стоял, как столб, глядя исподлобья на свою необычную посетительницу.

— Я заплачу, — сказала Серафина и тотчас же раскаялась в этих словах, быть может, уловив в его взгляде искорку скрытого страха. Но как всегда ее мужество только возросло при этой первой неудаче. Не дожидаясь приглашения, она оттолкнула его в сторону и вошла в избу, а он последовал за нею в суеверном страхе и недоумении.

В избе или, вернее, в лачуге было неуютно и темно, но на большом камне, служившем очагом, весело трещали сучья, и красивое яркое пламя веселило взгляд. При виде огня Серафина как-то сразу успокоилась; она опустилась на земляной пол и присела на нем у самого очага, слегка вздрагивая и подставляя пламени свои руки и лицо. А дровосек стоял над ней все в таком же недоумении и не сводил с нее глаз; он не мог надивиться на лохмотья дорогого наряда, на обнаженные плечи и руки, на клочки тонкого кружева и сверкающие бриллианты в ушах своей странной гостьи и не находил слов.

— Дайте мне поесть, — сказала принцесса, — здесь, у огня.

Он молча повернулся и минуту спустя поставил перед ней глиняный кувшин с простым домашним кислым вином, краюху хлеба, кусок сыра и большую пригоршню сырых луковых головок. Хлеб был черствый и кислый, сыр походил на кожаную подошву, и даже лук, занимающий здесь место трюфелей, едва ли был кушаньем, достойным принцессы, особенно в сыром виде. Но тем не менее она поела всего, и если нельзя сказать, что с аппетитом, то во всяком случае с мужеством, а поев, она не побрезгала и содержимым глиняного кувшина. За всю свою жизнь она ни разу не пробовала грубой пищи и никогда еще не пила из кружки, из которой только что перед ней, в ее присутствии, пил другой человек. Но надо сказать правду, что мужественная и решительная женщина всегда скорее примиряется с переменной обстановкой, чем даже самый

мужественный мужчина. В продолжение всего этого времени дровосек ни на минуту не переставал исподтишка наблюдать за ней, и в глазах его отражались попеременно разные низкие мысли и суеверный страх, и алчность, и Серафина читала эти мысли на его лице и сознавала, что ей надо как можно скорее уходить отсюда.

Она встала и подала ему монету в один флорин.

— Достаточно вам этого? — спросила она.

И вдруг он заговорил; способность речи разом вернулась к нему.

— Я желаю получить больше этого, — сказал он.

— Очень жаль, но это все, что я имею, — ответила принцесса, — все, что я могу вам дать. — И с этими словами она спокойно вышла из лачуги, пройдя мимо него.

Но вместе с тем сердце ее дрогнуло, потому что она видела, как он протянул к ней руку, чтобы удержать ее, и при этом его блуждающий взгляд упал на топор. Протоптанная тропинка вела на запад от избы, и Серафина, не задумываясь, пошла по ней. Она не оглядывалась назад, но как только за поворотом тропинки она почувствовала, что скрылась, наконец, из глаз дровосека, она тотчас свернула с тропинки в целину и, скользя между стволами, как змейка, бросилась бежать что было мочи. Она бежала до тех пор, пока наконец не почувствовала себя в безопасности, тогда только она остановилась и перевела дух.

Тем временем солнце поднялось уже высоко, и его горячие лучи проникали повсюду, даже в самую чащу леса и пронизывали ее в тысяче местах, и заливали светом и теплом этот приют тени и прохлады, и горели алмазами в каплях росы на траве и во мху. Смола этих громадных деревьев наполняла воздух душистым ароматом; казалось, что не только каждый ствол, но и каждый сук, и каждая из этих бесчисленных зеленых игл выделяли из себя этот целебный аромат; пригретые жарким солнышком в это веселое ясное утро, они как будто курили фимиам Своему Творцу. Время от времени по лесу пробегал ветерок, и тогда эти душистые великаны начинали качаться, и тени и свет дрожали и мигали на траве, как проворные ласточки, и в лесу пробуждался вдруг шелест и шепот сотен и тысяч зеленых ветвей, пробуждался и затем снова смолкал надолго.

А Серафина все шла и шла, то в гору, то под гору, то по солнцу, то в тени, то высоко по голому хребту гор, среди камней и утесов, где грелись на солнце проворные юркие ящерицы, и пробирались под

папоротниками ленивые змеи; то низом по ущельям и оврагам, поросшим густым лесом, куда не проникало солнце, и где старые стволы стояли, как колонны древних храмов. То она шла извилистой лесной тропой в лабиринте лесистой долины, то опять подымалась на вершину холма или горы, откуда ей открывался вид на дальние цепи гор, где она видела громадных птиц, парящих в воздухе, или там, вдали, приютившееся на пригорке селение, и она обходила кругом, чтобы миновать его. Спустившись снова вниз, она следила за течением речек, пенистых горных потоков, шумно бежавших по долине; видела, где они зарождались чуть заметными ручейками или били родничками из земли; видела, как местами целая семья таких ручейков сливалась в один общий поток, образуя в месте своего слияния маленькое озеро, в котором прилетали купаться воробьи; в другом месте такие же ручейки, падая со скалы хрустальными струйками, звенели и журчали по камням; и на все это Серафина смотрела, спеша все вперед и вперед, смотрела с жадным восхищением, с удивлением, и сердце ее замирало от радости. Все это было для нее так ново, так глубоко трогало и волновало ее, все так благоухало, так манило, так влекло и ее чувства, и ее воображение, и все это как будто утопало в голубой лазури сияющего небесного свода, раскинувшегося надо всем высоким светлым куполом.

Наконец, когда она почувствовала себя совсем усталой, она подошла к большому мелкому болотному озерку, среди которого виднелись большие камни, как островки, а по берегам росли тростники; все дно было устлано иглами сосен, тех сосен, что своими горбатыми узловатыми корнями образовывали мысы, вдающиеся в эту лужу, а сами гляделись в ее водяную поверхность, как в зеркало, отражавшее их красивый темно-зеленый наряд, их стройные силуэты и гордые вершины Серафина подползла к самой воде и с удивлением увидела в ней свой отражение; это был какой-то бледный, тощий призрак с большими блестящими и ясными глазами, призрак, на котором еще уцелели лоскутья придворного наряда. Но вот ветерок зарябил воду, и ее образ задрожал и заколыхался вместе с водой. Она видит свое лицо; то она видит его обезображенным морщинками, и это смешит ее; она улыбается, и вода отражает эту улыбку; Серафина видит ее, и теперь ее лицо кажется милым и добрым, каким она его никогда не видела раньше. Она долго сидит у воды, пригретая

солнышком, и жалостно смотрит на свои маленькие исцарапанные и израненные руки и удивляется, видя их такими грязными. Теперь ей положительно не верится, что она могла пройти такое громадное расстояние, и что она столько времени шла в таком ужасном виде и до сих пор не подумала привести себя хоть немного в порядок. Серафина вздохнула и принялась приводить в порядок свой туалет с помощью большого лесного зеркала, так ласково улыбавшегося ей. Она начала с того, что обмыла всю грязь и следы крови от ссадин и царапин и брызги крови, попавшие на нее во время ее приключения в оружейной принца. Обмывшись, она сняла с себя все драгоценности и бережно завернула их в платок, в свой тоненький носовой платок; после того она привела в порядок, насколько это было возможно, те лохмотья, которые еще уцелели на ней от ее бывшего дорогого наряда, и поправила волосы. Когда она распустила их, то посмотрела на себя в таком виде и невольно улыбнулась. «Они пахнут, как лесные фиалки», — припомнила она, что когда-то ей сказал Отто, и при этом воспоминании она приблизила их к своему лицу, и потянула в себя воздух, словно желая убедиться в справедливости того, что говорил принц, и при этом она уныло покачала головой и усмехнулась про себя бледной, печальной улыбкой. Нет, она не только усмехнулась, но даже тихонько засмеялась, и вдруг на ее смех, точно эхо, ответил серебристый детский смех. Она подняла голову, обернулась и увидела двух малюток, с любопытством смотревших на нее. Это были маленькая девочка и мальчик, что, точно игрушечные, стояли, прижавшись друг к другу; стояли они с улыбающимися личиками на самом краю озера, под высокой развесистой сосной; совсем как в сказке. Серафина никогда не любила детей, но теперь эти малютки испугали ее до того, что у нее сердце забилось, как у пойманной птички.

— Кто вы такие? Откуда вы взялись? — крикнула она сердито.

Малыши вместо ответа прижались плотнее друг к другу и, как стояли обнявшись, так и стали обнявшись пятиться назад, не спуская с нее глаз. Теперь ей стало жалко, что она так без всякой причины напугала своим сердитым окриком этих бедных малюток, таких крошечных и таких безобидных и вместе с тем таких чутких и впечатлительных. Она невольно сравнила их с птичками и опять взглянула на них; они были, пожалуй, немного больше птичек, но

много безобиднее и невиннее их; на их открытых детских личиках она ясно читала изумление и чувство страха и боязни, и ей стало жаль этих малышек; ей захотелось теперь приласкать их, и она поднялась на ноги, чтобы подойти к ним.

— Подите сюда, детки, — сказала она, — не бойтесь меня! — И она сделала шаг вперед по направлению к ним. Но, увы! При первом ее движении малышки повернулись и, ковыляя как молодые утята, бросились бежать от принцессы. Видя это, сердце молодой женщины защемило от боли; ей было всего только двадцать два, впрочем, нет, скоро двадцать три года, и ни одно живое существо не любило ее, ни одно, кроме Отто! Но и он может ли, даже он, простить ей когда-нибудь то, что она сделала? Слезы душили ее, но она напрягла все свои силы, чтобы подавить их. Только не плакать! Если она расплачется теперь здесь, в этом лесу, одна, это может окончиться для нее помешательством, — мелькнуло у нее в голове, и она поспешила отогнать от себя черные мысли, поспешила отбросить их от себя, как горящую бумагу, и, закрутив наскоро свои длинные и густые волосы тяжелым узлом на затылке, подгоняемая ужасным опасением, с сильно бьющимся сердцем она снова пустилась в путь, стараясь заглушить движением осаждавшие и пугавшие ее мысли.

Часов около десяти утра она какими-то судьбами вышла на большую проезжую дорогу, пролежавшую в этом месте по горе, между двух стен зеленого стройного леса. Дорога шла в гору, вся залитая солнцем; тут было так тепло, так приветливо и так хорошо, а Серафина чувствовала смертельную усталость и, долго не задумываясь над возможными последствиями, а скорее ободренная этим присутствием цивилизации, этим сооружением рук человеческих, она расположилась на траве, под тенью развесистого дерева, на самом краю дороги, и почти тотчас же заснула. В первую минуту она боролась со сном; ей казалось, что он должен перейти в глубокий обморок, но затем она невольно поддалась ему, и он ласково принял ее в свои успокаивающие объятия.

И вот эта бедная, измученная, истомленная и исстрадавшаяся молодая женщина хоть на время была укрыта и избавлена от всех мучительных тревог и волнений, горя и печалей, и бедная душа ее, наконец, вкусила покой, а молодое тело нашло желанный отдых здесь, на краю большой проезжей дороги. В роскошных лохмотьях, в

золотистом уборе ее густых, рассыпавшихся по плечам волос, она лежала здесь, забыв про целый мир, а птицы со всех сторон слетались из лесу посмотреть на нее и носились над ней и, сзывая других птиц, совещались с ними на своем птичьем языке, обсуждая это странное, необычайное явление в их зеленом лесном царстве.

Между тем солнце продолжало свой дневной путь. Тень, ложившаяся на откос дороги от ног Серафины, заметно вытягивалась и подымалась все выше и выше, и собиралась уже совершенно исчезнуть, когда стук колес приближающегося экипажа взволновал птиц, и они принялись быстро сновать взад и вперед поперек дороги, извещая своих сородичей о новом событии. Дорога в этом месте круто поднималась в гору, а потому экипаж приближался чрезвычайно медленно, и прошло добрых десять минут, прежде чем из-за подъема показался пожилой господин, шедший степенной, старческой, хотя и довольно бодрой походкой, по обочине дороги, поросшей низкой, мягкой, зеленой травой. Он шел не торопясь, с видимым удовольствием оглядываясь по сторонам; время от времени он приостанавливался на минуту, доставал из кармана записную книжку и вписывал в нее несколько строк карандашом. Если бы поблизости оказался кто-нибудь, желающий понаблюдать за ним, то увидел бы, что этот пожилой господин бормочет что-то вполголоса про себя, точно стихотворец, подбирающий рифмы и созвучия. Шум колес экипажа все еще слышался довольно слабо; как видно, экипаж приближался очень медленно и был еще довольно далеко; путешественник namного опередил его, отдав вознице приказание следовать за ним шагом, чтобы дать отдохнуть лошадям. Сам же пожилой господин подходил все ближе и ближе к тому месту, где на краю дороги расположилась Серафина; думы его были далеко, и он больше смотрел на небо, на верхушки деревьев, чем на дорогу, шагая почти механически. Но вот он подошел совсем близко к принцессе, которая все еще крепко спала, и только теперь взгляд его случайно упал на спящую. Увидев ее, он невольно остановился, спрятал в кармане свою записную книжку и осторожно приблизился к ней. Неподалеку от того места, где она спала, лежал большой, старый жернов, на который наш путешественник присел и принялся спокойно разглядывать принцессу. Она лежала на боку, свернувшись, скорчившись, в полном изнеможении: голова ее покоилась на обнаженной руке; другая же рука

была вытянута и лежала бессильно, упав на траву. Ее прекрасное молодое тело производило впечатление выкинутого или брошенного кем-нибудь по дороге ненужного предмета и казалось безжизненным. Даже дыхание не волновало ее груди и беззвучно вылетало из ее уст. Все говорило о смертельной усталости, о полном изнеможении этого бедного молодого тела. Глядя на нее, путешественник грустно усмехнулся. И, словно перед ним лежала мраморная фигура, он принялся оценивать ее красоту и недостатки: в этой бессознательной, непринужденной позе красота ее форм поразила его; легкий румянец разгоревшегося во сне лица шел к ней, как красивый убор из ярких цветов.

— Клянусь честью, — подумал он, — я никогда не предполагал, что она может быть так красива! И какая досада, что я обязался ни единым словом не упоминать о ней!

При этом он слегка коснулся спящей кончиком своей палки. От этого прикосновения Серафина проснулась и, слегка вскрикнув, села и блуждающим взглядом уставилась в неподвижно сидевшего на камне путешественника.

— Надеюсь, ваше высочество изволили хорошо почивать? — спросил он, дружелюбно кивая головой. Но она издала ответ только какие-то несвязные звуки.

— Успокойтесь, придите в себя, — сказал пожилой господин, подавая ей благой пример своим поведением. — Мой экипаж здесь близко, и если вы пожелаете, то на мою долю, вероятно, выпадет, как я надеюсь, странная честь увезти владетельную принцессу.

— Сэр Джон! — промолвила она, наконец узнав своего собеседника.

— К услугам вашего высочества! — отозвался он.

Она разом вскочила на ноги и как будто вдруг встрепенулась и ожила.

— О! — воскликнула она. — Вы из Миттвальдена?

— Да, я выехал оттуда сегодня утром, — ответил сэр Джон, — и если есть на свете человек, который менее всего захочет туда вернуться, кроме, конечно, вашего высочества, то это я, — добавил англичанин.

— А барон? — начала было она и замолчала, не договорив.

— Madame, — сказал, улыбаясь своею несколько саркастической улыбкой, сэр Джон, — ваше намерение было прекрасно, и я могу сказать, вы настоящая Юдифь, но по прошествии всего этого времени вы, вероятно, все-таки будете рады услышать, что он жив, и что ему даже не грозит никакая серьезная опасность. Я справлялся о его здоровье сегодня поутру, перед моим отъездом, и узнал, что ему довольно хорошо, но что он очень сильно страдает. Я слышал его стоны в третьей комнате.

— А принц? — спросила она. — Слышно о нем что-нибудь в городе?

— Говорят, — ответил ей на это сэр Джон все с той же приятной медлительностью, — что об этом вашему высочеству всего лучше должно быть известно: ни в городе, ни во дворце его никто не видел.

— Да, — сказала принцесса, — но, сэр Джон, вы сейчас были так великодушны, что упомянули о вашем экипаже и предлагали мне воспользоваться им, так будьте же столь добры, умоляю вас, отвезти меня в Фельзенбург. У меня там есть очень важное, очень спешное дело.

— Я ни в чем не могу отказать вам, ваше высочество, — отозвался сэр Джон весьма серьезно и сдержанно. — Все, что в моей власти, и все, что я могу сделать для вас, я сделаю с величайшей готовностью и с полным удовольствием. Как только мой экипаж подъедет сюда, он будет в полном вашем распоряжении и отвезет вас, куда вы только прикажете. Но, — вдруг добавил он, снова переходя к своему обычному слегка насмешливому тону, — я замечая, что вы ничего не спросили меня о дворце.

— Меня он не интересует, — сказала она, — мне безразлично, какая участь постигнет его. Если я не ошибаюсь, мне казалось, что я видела его в огне нынче ночью.

— Удивительно! Невероятно! — воскликнул баронет. — Возможно ли, чтобы мысль о гибели сорока новых туалетов оставляла вас совершенно спокойной и равнодушной? Если так, то я положительно преклоняюсь перед вашим геройством и мужеством. И государство, вероятно, тоже преклоняется перед ним. Когда я уезжал, новое правительство уж заседало в городской ратуше, — новое правительство, в числе которого вы нашли бы два знакомых вам лица, а именно: Сабра, который, если не ошибаюсь, воспитался на службе

вашего высочества, насколько помню, в должности выездного лакея, не правда ли? И затем наш старый приятель, бывший канцлер фон Грейзенгезанг, состоящий теперь, как и подобает, на низшей ступени общественного положения, так как при такого рода государственных переворотах первые всегда становятся последними, а последние первыми.

— Сэр Джон, — сказала Серафина, по-видимому, вполне просто и искренно, — я уверена, что вы действуете из самых лучших побуждений, но, право, все это меня теперь нисколько не интересует.

Баронет до того был сбит с толку и выбит из колеи этими ее словами, что он искренно обрадовался, завидев наконец свой экипаж, и крикнул кучеру подъехать. При этом, желая придать себе хоть сколько-нибудь развязный вид, предложил принцессе, главным образом для того, чтобы сказать что-нибудь, — пойти навстречу экипажу. Она выразила свое согласие, и они пошли. Когда экипаж остановился, он предупредительно подсадил Серафину со всей присущей придворному человеку любезностью, затем сам поместился рядом с ней и принялся из разных сумочек и кармашков кареты, чрезвычайно хорошо приспособленной для дальних путешествий, доставать фрукты, паштеты с трюфелями, белый хлеб, дорожный стаканчик и хорошее старое вино. Всем этим он принялся потчевать Серафину с внимательной заботливостью отца, уговаривая ее отведать того и другого, увещевая ее всеми мерами подкрепить свои силы, и за все это время, как бы сдерживаемый законами гостеприимства, он не позволил себе ни единой, даже самой легкой насмешки. Действительно, его доброжелательство к ней казалось настолько искренним и непритворным, что Серафина была глубоко тронута им и сердечно благодарна сэру Джону.

— Сэр Джон, — сказала она наконец, — я знаю, что в душе вы ненавидите и презираете меня: почему же вы так добры ко мне?

— Ах, сударыня, — отозвался он, не пытаясь протестовать против возведенного на него обвинения, — это объясняется, может быть, тем, что я имею честь быть другом вашего уважаемого супруга и большим его почитателем.

— Вы! — воскликнула она с непритворным удивлением. — А мне говорили, что вы писали самые возмутительные вещи о нас обоих.

— Да, это совершенно верно, и именно на этой почве, как это ни странно, родилась и выросла наша дружба, — сказал сэр Джон. Я написал особенно много жестокого, или, если вы предпочитаете это выражение, «возмутительного» о вашей прекрасной особе, и ваш супруг, несмотря на это, вернул мне свободу, снабдил меня пропуском, распорядился предоставить мне свой экипаж, который приказал тотчас же заложить и подать к фазаньему домику, и затем с чисто юношеским порывом и благородством побуждения вызвал меня драться с ним. Зная его супружескую жизнь и ваше к нему отношение, признаюсь, я счел этот его поступок в высшей степени благородным и прекрасным. При этом я не могу забыть простоты, искренности и сдержанной горячности этого порыва и тех скорбных нот, которые звучали в его голосе когда он, желая убедить меня драться с ним, сказал: «Вы не бойтесь, в случае, если бы я был убит, никто не хватится меня, ведь я здесь никому не нужен». Как видно, вы впоследствии подумали то же самое. Но, простите, я уклонился, — когда я стал доказывать ему, что не могу с ним драться, то он воскликнул: «Даже и в том случае, если я ударю вас?» — и это вышло у него так горячо, так искренно и так забавно! Я очень сожалею, что не могу занести этой сцены в мою книгу, но я скажу вам, что принц Отто положительно покорила меня; я почувствовал к нему величайшее уважение, и в угоду ему, тут же на его глазах уничтожил все, что мною было написано нелестного, или, как вы говорите, «возмутительного» о вас. И это одна из тех многочисленных услуг, которыми вы обязаны вашему мужу.

Серафина сидела молча, забившись в угол кареты, и когда сэр Джон кончил, она продолжала молчать еще некоторое время. Она легко мирилась с ложным и невыгодным для нее мнением тех лиц, кого она презирала, или кем она пренебрегала; она не обладала присущей Отто потребностью похвал и одобрений своих поступков: она шла прямо и неуклонно своим путем, высоко подняв голову, невзирая на клевету и порицания. Но сэру Джону, после того, что он сказал, и как другу мужа, она была готова дать ответ.

— Что вы думаете обо мне, сэр Джон? — вдруг спросила она.

— Я уже сказал вам, — ответил он уклончиво, — я думаю, что вам следует выпить еще один стаканчик моего доброго вина.

— Полноте, — сказала она, — это непохоже на вас: вы никогда, кажется, не боялись говорить людям в глаза правду. Вы только что

сказали, что цените и уважаете моего мужа, так ради него, прошу вас, будьте правдивы и откровенны со мной.

— Я восторгаюсь вашей смелостью и вашим мужеством, madame, — сказал баронет, — а в остальном, как вы сами угадали и даже высказали, наши натуры не симпатизируют друг другу.

— Вы упомянули, кажется, о скандале, о нелестных отзывах обо мне; скажите, этот скандал и эти отзывы были очень возмутительны?

— В весьма достаточной мере! — отозвался сэр Джон.

— И вы им верили? — снова спросила она.

— О, madame, — уклончиво промолвил сэр Джон, — зачем такой вопрос?

— Благодарю вас за ответ! — воскликнула Серафина. — Ну, а теперь послушайте меня, я скажу вам, и готова поручиться за это своею честью, готова поклясться спасением моей души, что, вопреки всем слухам, вопреки всем очевидностям на свете, я была всегда самая верная жена своему мужу!

— Мы, вероятно, не сойдемся с вами в определении, — заметил сэр Джон.

— О, — воскликнула принцесса, — я сознаюсь, что я относилась к нему возмутительно, я это знаю, но я говорю не об этом! И так как вы утверждаете, что восхищаетесь моим мужем, что считаете себя его другом, то я настаиваю на том, чтобы вы поняли меня! Я хочу сказать, что могу смело смотреть в лицо моему мужу, не краснея.

— Весьма возможно, madame, — сказал сэр Джон, — да я и не осмеливался думать иначе.

— Вы не желаете мне верить! — воскликнула она, ярко вспыхнув. — Вы считаете меня преступной женой? Вы думаете, что он был моим любовником?

— Madame, — возразил баронет, — когда я на глазах вашего мужа изорвал все, что я написал о вас и о ваших семейных делах, я обещал вашему уважаемому супругу впредь не заниматься и не интересоваться более вашими супружескими отношениями, и в последний раз позволю себя уверить вас, что я отнюдь не желаю быть вашим судьей.

— Но вы не желаете также и оправдать меня! О, я это прекрасно вижу, — воскликнула Серафина. — Но он оправдает меня, я в том уверена! Он лучше меня знает!

Сэр Джон невольно улыбнулся.

— Вы улыбаетесь при виде моего отчаяния? — спросила принцесса.

— Нет, при виде вашего женского хладнокровия и вашей уверенности, — сказал сэр Джон. — Едва ли бы мужчина нашел в себе достаточно смелости для такого восклицания при данных условиях, тогда как у вас оно вышло, я хочу сказать, оно вырвалось, совершенно естественно и непосредственно, и я ничуть не сомневаюсь, что это сущая правда. Но заметьте, madame, раз вы уж делаете мне честь говорить со мной серьезно о таких вещах, — я не чувствую никакого сострадания к тому, что вы называете вашим отчаянием. Вы все время были в высшей степени эгоистичны, можно сказать, прямо-таки возмутительно эгоистичны, и теперь вы пожинаете плоды этого эгоизма. Если бы вы хоть всего один только раз подумали о своем муже, вместо того, чтобы думать исключительно только о себе, вы бы не были теперь так совершенно одиноки, такой несчастной беглянкой на большой дороге, с руками, замаранными человеческой кровью, и вам не пришлось бы выслушивать от старого брюзги англичанина такой правды, которая горче всякой клеветы и всяких пересуд.

— Благодарю вас, — сказала она, вся дрожа, — все это истинная правда; не потрудитесь ли вы приказать остановить экипаж.

— Нет, — решительно возразил сэр Джон, — не раньше, чем вы совершенно успокоитесь и овладеете собой.

За этим последовало довольно продолжительное молчание. Экипаж тем временем продолжал катиться то лесом, то между голых скал.

— Ну, а теперь, надеюсь, вы согласитесь, что я в достаточной мере успокоилась, — сказала, наконец, Серафина с легким оттенком горечи в голосе. — Прошу вас, как джентльмена, приказать остановить лошадей и позволить мне выйти.

— Мне кажется, что вы поступаете неразумно, — заметил сэр Джон. — Прошу вас продолжать пользоваться моим экипажем.

— Сэр Джон, — возразила принцесса, — если бы смерть сидела вот на этом камне и подстерегала меня, клянусь вам, я предпочла бы пойти ей навстречу. Я не осуждаю вас, напротив того, я благодарю вас, потому что теперь я вижу, какую я представляюсь другим, и в каком свете меня видят люди; до сих пор я об этом мало думала и, вероятно, заблуждалась под влиянием льстивых людей, но мне трудно дышать,

сидя рядом с человеком, который может думать обо мне так дурно. Нет, о нет, это свыше моих сил! — крикнула она и разом смолкла.

Сэр Джон дернул шнур, надетый петлей на руку кучера, и когда тот остановил лошадей, он вышел и предложил руку принцессе, чтобы помочь ей выйти. Но она не приняла его руки, а легко и проворно соскочила на землю без посторонней помощи.

Дорога, которая долгое время шла низом, извиваясь в долине, теперь достигла высшей точки гребней гор, по которым она шла дальше, извиваясь, как змея, переползая с одного гребня на другой, по обрывистому скалистому кряжу, служившему северной границей Грюневальда. То место, где они остановились, находилось на возвышенном месте кряжа, на большой скалистой вершине, где торчало несколько старых косматых сосен, изведавших немало горя от ветров и непогоды. Там вдали голубая долина Герольштейна раскинулась на громадном протяжении и сливалась там, на краю горизонта, с небесной лазурью; а впереди, прямо перед сэром Джоном и Серафиной тянулась и развевалась дорога; рядом смелых зигзагов она шла вверх, туда, где виднелась на высокой скале старая темная башня, заслонявшая собою пейзаж.

— Вон там, — сказал баронет, указывая на башню, — ваша тюрьма, Фельзенбург. Желаю вам приятно пути, и весьма сожалею, что не могу ничем больше служить вам.

Он почтительно поклонился, сел в экипаж и уехал.

Серафина осталась одна на краю дороги; она смотрела вперед, не видя ничего перед собою. О сэре Джоне она уже успела окончательно забыть; она теперь ненавидела его, и этого с нее было достаточно, чтобы совершенно забыть о его существовании. Все, что она презирала или ненавидела, мгновенно превращалось для нее в минимальнейшую величину, совершенно изглаживалось из ее мыслей и переставало существовать для нее. Но у нее была теперь иная забота: ее последнее свидание с Отто, которого она до сих пор не могла еще ему простить, теперь представлялось ей в совсем ином свете. Ведь он пришел к ней тогда, еще весь дрожа от только что пережитого оскорбления, не успев еще отдышаться после тяжелой борьбы, в которой он геройски отстаивал ее честь.

Теперь, когда она знала все это, их разговор, все его слова получали совсем новый смысл и значение. Да, несомненно, он любил ее, он защищал ее и готов был защищать ее честь ценою своей жизни! Значит, это было смелое, благородное чувство, а не слабоволие, не легкая блажь избалованного ребенка. А она сама, разве она не была способна любить? Оно во всяком случае могло казаться так, и при этом у нее в горле стояли слезы; она глотала эти слезы и чувствовала неудержимое влечение, непреодолимое желание увидеть Отто,

объяснить ему все, на коленях просить его простить ей ее горькую ошибку и ее вину перед ним; она хотела умолять его о жалости, и если все другое было теперь уже безвозвратно потеряно для нее, если она не могла больше надеяться загладить прошлое, то по крайней мере она хотела во что бы то ни стало вернуть ему свободу, которой лишила его.

И она быстро пошла вперед по большой дороге, и по мере того, как эта дорога извивалась то в ту, то в другую сторону вокруг скалистых утесов, то спускалась под откос в ущелье, то снова взбиралась на самые вершины каменистого кряжа, Серафина минутами то видела перед собой темную башню, то теряла ее из вида, а затем башня опять как будто грозно выростала перед ней, возвышалась высоко на крутой одинокой скале, как мрачный великан, окутанный прозрачным горным воздухом в румянном отблеске золотившего его солнца.

II. Рассуждения о христианской добродетели

Когда Отто сел в свою передвижную тюрьму, т. е. в карету, которая должна была отвезти его в Фельзенбург, он уже нашел в ней другого пассажира, плотно прижавшегося в уголок переднего сиденья. Но так как этот пассажир низко опустил голову, а яркие каретные фонари светили вперед, но не освещали самой кареты, то принц мог только различить, что этот неожиданный спутник был мужчина. Вслед за пленным принцем вошел в карету и полковник Гордон и захлопнул за собой дверцу; в тот же момент четверка коней разом подхватила экипаж и быстрой рысью понеслась вперед по дороге.

— Господа, — сказал полковник после непродолжительного молчания, — если уж нам суждено путешествовать в строжайшем молчании, то почему бы нам не чувствовать себя здесь, в этой карете, как дома, и не позволить себе кое-какое удовольствие. Я, конечно, являюсь в данный момент в гнусной роли тюремщика, но тем не менее я человек со вкусом, не без образования, большой любитель и ценитель хороших книг и серьезных поучительных бесед; но, к несчастью, я обречен на всю жизнь проводить свои дни в казармах или в караульном помещении. Господа, сегодня для меня представляется счастливый случай; не лишайте же меня возможности воспользоваться им! Сейчас здесь со мной весь цвет двора, кроме очаровательных дам. Здесь со мной большой ученый и автор ценных трудов, в лице доктора.

— Готтхольд! — воскликнул принц.

— По-видимому, так, — отозвался доктор с горечью, — приходится нам отправляться вместе, ваше высочество. Как видно, вы на это не рассчитывали?

— На что ты намекаешь? — воскликнул Отто. — Неужели ты думаешь, что я отдал приказ тебя арестовать?

— Мне кажется, что этот намек разгадать не трудно, — заметил Готтхольд.

— Полковник Гордон! — сказал принц. — Окажите мне услугу и разъясните это недоразумение между доктором фон Гогенштоквицем и мною.

— Господа, — сказал полковник, — оба вы были арестованы мною на основании одного и того же указа: именно и собственноручного

указа принцессы Амалии-Серафины, законной правительницы Грюневальда, за ее печатью и подписью, скрепленной подписью первого министра барона фон Гондремарка, и помеченного числом вчерашнего дня. Заметьте, что я выдаю вам, господа, служебную тайну, на что я, в сущности, не имею права, — добавил он.

— Отто, прошу тебя простить мне мое недостойное подозрение! — воскликнул доктор.

— Извини меня, Готтхольд, — но я не вполне уверен в том, что смогу исполнить твою просьбу, — промолвил принц слегка дрогнувшим голосом.

— Ваше высочество, я в том глубоко убежден, слишком великодушны, чтобы колебаться в данном случае! — сказал полковник Гордон. — Но позвольте, мы сейчас поговорим о способах примирения и, с вашего разрешения, господа, я предложу вам сейчас вернейший из всех способов.

С этими словами полковник зажег яркий фонарь, который он прикрепил к одной из стенок кареты, а из-под переднего сиденья вытащил довольно большую корзину, из которой торчали длинные горлышки бутылок. «*Tu spem redneis*», — а как дальше, доктор? — весело спросил он, — вам это, вероятно, должно быть, известно! Я здесь в некотором смысле хозяин, а вы мои гости, и я уверен, что и его высочество, и господин доктор слишком хорошо сознаете всю затруднительность моего положения, чтобы отказать мне в этой чести, о которой я прошу вас, в чести распить вместе со мной стаканчик, другой доброго вина!

Говоря это, он наполнил стаканы, также оказавшиеся в корзине, вином, и, подняв свой, громко возгласил:

— Господа, я пью за принца!

— Полковник, — отозвался Отто, — мы должны считать себя счастливыми, что имеем такого веселого и приятного хозяина, так радушно угощающего своих гостей, а потому я пью за полковника Гордона!

Все трое стали пить, добродушно похваливая вино и хозяина, перекидываясь веселыми шутками и замечаниями, и в то время, как они пили, карета, описав полукруг поворота, выехала на большую дорогу и понеслась еще быстрее и ровнее прежнего.

В карете было светло и уютно; выпитое вино разрумянило щеки доктора Готтхольда. Смутные очертания деревьев мелькали и заглядывали в окна кареты; клочки темного звездного неба, то большие во все окно, то узкие в просвете между верхушками леса, быстро проносились мимо окон; в одно из них, опущенное, врывался живительный лесной воздух, с ночной свежестью и запахом ночных фиалок; а шум катящихся колес и стук конских копыт эскорта звучали как-то бодряще, даже весело в ушах путешественников, находившихся в карете. Тост следовал за тостом, и стакан за стаканом выпивался, и мало-помалу собутыльниками начали овладевать те таинственные чары, под влиянием которых продолжительные минуты тихой задумчивости прерывались звуком спокойного, доверчивого смеха.

— Отто, — сказал наконец доктор после одной из таких пауз, — я не прошу тебя простить меня; я хорошо понимаю и сознаю, что, если бы я был на твоём месте, я тоже не мог бы тебя простить.

— Постой, — сказал Отто, — ведь это, собственно говоря, общепринятая фраза, которую все мы охотно употребляем; но я могу, и я уже давно простил тебя; только твои слова и твоё подозрение саднят мою душу, и не твои одни, — добавил он. — Бесплезно было бы, имея в виду то поручение, которое теперь возложено на вас, полковник Гордон, скрывать от вас мой семейный разлад. Он, к несчастью, достиг теперь таких пределов, которые сделали его всеобщим достоянием; достоянием толпы, достоянием целого народа. Ну, так вот, скажите мне, господа, как вы думаете, могу ли я простить мою жену? Да, могу, и, конечно, прощаю; но в каком смысле? Понятно, что у меня нет мысли отомстить ей, я не мог бы унизиться до этого, но также верно и то, что я не могу думать о ней иначе, как о человеке, изменившемся до неузнаваемости в моих глазах.

— Позвольте, — возразил полковник, — я надеюсь, что все мы здесь добрые христиане, и что я теперь обращаюсь к христианам. Ведь все мы в душе сознаем, как я полагаю, что каждый из нас грешен.

— Я отрицаю сознательность, — заявил доктор Готтхольд. — Согретый благородным напитком, я безусловно отвергаю ваш тезис.

— Как, сударь? Неужели вы никогда не совершили ничего дурного? Никогда не сознавали в душе, что это дурное, содеянное вами, было дурно? Но ведь я только что слышал, как вы просили прощения, и не у

Господа Бога, а у такого же смертного и грешного брата вашего, у такого же человека, как вы! — воскликнул полковник Гордон.

— Признаюсь, вы меня поймали, — добродушно согласился доктор, — вы весьма опытны в аргументации, как я вижу, полковник, и это очень меня радует.

— Ей Богу, доктор, я весьма польщен, слыша от вас подобный отзыв, — сказал полковник. — Когда-то я получил хороший фундамент образования и знаний в бытность мою в Абердине, но все это было очень давно и давно быльем поросло, потому что жизнь моя сложилась совсем иначе, чем я предполагал. Что же касается вопроса о прощении, то мне кажется, доктор, что оно истекает главным образом из свободных взглядов (столь опасных вообще), а также от правильной жизни, тогда как крепкая вера и дурная нравственность являются корнем мудрости. Вы, господа, оба слишком хорошие люди для того, чтобы быть всепрощающими.

— Это, пожалуй, несколько форсированный парадокс, — заметил Готтхольд.

— Извините меня, полковник, — сказал в свою очередь Отто, — я с величайшей готовностью допускаю, что вы не имели никакого намерения обидеть меня, но, право, ваши слова бичуют, как злая сатира. Как вы полагаете, уместно ли теперь называть меня хорошим человеком и приятно ли мне слышать применение этого определения к моей личности, теперь, в то самое время, когда я расплачиваюсь, так сказать, и подобно вам, охотно признаю эту расплату справедливой и заслуженной, расплачиваюсь за мой продолжительный ряд проступков и заблуждений?..

— О, простите меня великодушно, ваше высочество! — воскликнул полковник. — Вы без сомнения иначе понимаете мое определение «хорошего человека» и это объясняется тем, что вы в своей жизни никогда не были изгнаны из среды порядочных людей; вы никогда не переживали крупного, потрясающего перелома в своей жизни, а я его пережил! Я был разжалован за крупную неисправность, за нарушение военного долга. Я скажу вам всю истинную правду, ваше высочество, я был горчайшим пьяницей, и это сделалось главной причиной обрушившихся на меня несчастий. Я пил запоем; теперь этого со мной никогда не бывает. Но, видите ли, человек, познавший на горьком опыте преступность своей жизни и свои пороки, как познал

это я, пришедший к тому, что стал смотреть на себя, как на слепой волчок, крутящийся в тесном пространстве и поминутно натыкающийся на самые разнородные явления жизни, отбрасываемый из стороны в сторону, поневоле научается несколько иначе смотреть на право прощения. Я посмею только тогда заговорить о праве не простить другому какую ни на есть вину его, когда я сумею простить самому себе, — не раньше; а до этого, думается мне, еще очень далеко! Мой покойный отец, досточтимый Александр Гордон, занимавший довольно высокий пост в церковной иерархии, был хороший человек и жестоко клял и упрекал других, ну а я-то, что называется, дурной человек, и потому являюсь естественною противоположностью моего отца и в остальном. Человек, который не может простить другому что бы то ни было на свете, еще новичок в жизни, — добавил Гордон с глубоким вздохом и замолчал.

— А между тем, я слышал, полковник, что вы не раз дрались на дуэли, — заметил Готтхольд.

— О, это другое дело, доктор, — отозвался вояка. — Это ничто иное как профессиональный этикет... И мне кажется, что в этом нет даже антихристианского чувства.

Вскоре после этих слов полковник Гордон заснул крепким спокойным сном, а его спутники переглянулись и улыбнулись.

— Странная личность, — заметил Готтхольд.

— И еще более странный страж и тюремщик, — сказал принц; — но то, что он сказал, правда!

— Если правильно посмотреть на вещи, — принялся рассуждать про себя вполголоса доктор, — то это мы себя простить не можем, когда отказываем в прощении нашим ближним. Потому что в каждой обиде или ссоре замешана частица нашей собственной виновности, — докончил Готтхольд.

— Но скажи, разве нет таких обид, которые делают прощение недопустимым, потому что оно унижает или позорит прощающего? — спросил Отто. — Разве нет обязательств, налагаемых на нас чувством самоуважения?

— А ты скажи мне по совести, Отто, уважает ли себя в самом деле хоть один человек? — спросил в свою очередь доктор, отвечая вопросом на вопрос. Конечно, этому бедному отбросу, этому авантюристу мы с тобой можем казаться уважаемыми людьми, но нам

самим, если мы отнесемся к себе хоть немного серьезно и строго, чем мы покажемся самим себе, как не картонною декорацией извне и сочетанием всевозможных слабостей внутри!

— Я, да! — отозвался Отто. — Я о себе не говорю, но ты, Готтхольд, ты такой бесконечно трудолюбивый работник, ты с твоим живым и пронизательным умом, ты, автор стольких книг, ты, трудящийся на пользу человечества, отказывающий себе в удовольствиях и развлечениях, отвращающий свое лицо от всех искушений, — ты не можешь сказать этого о себе! — Ты не поверишь, Готтхольд, как я тебе завидую!

— Завидуешь? Не стоит, Отто! Я скажу тебе всего только одно слово о себе, но сказать это слово горько и трудно: — Я тайный пьяница! Да, я пью слишком много, гораздо больше, чем бы следовало. И эта роковая привычка лишила даже самые те книги, за которые ты меня восхваляешь и превозносишь, тех достоинств, какие они могли бы иметь, если бы я был человек воздержанный. Эта привычка испортила мой характер; и когда я говорил с тобой в тот раз, кто может сказать, сколько пыла и горячности следовало приписать требованиям добродетели, и сколько лихорадочному возбуждению от выпитого вчера на ночь вина? Да, как сказал вот этот мой сотоварищ по пьянству (а я еще так тщеславно его опровергал), все мы жалкие грешники, брошенные сюда, в этот мир, на короткий миг, знающие, где добро, и что добро и зло, и избирающие добровольно зло, и стоящие нагие и пристыженные перед своим Творцом и Господом.

— Так ли это? — усомнился Отто. — В таком случае, что же мы такое? Неужели и лучшие из людей...

— По-моему, лучших среди людей вообще нет! — перебил принца Готтхольд. — Я не лучше тебя и, вероятно, не хуже тебя, и так же не лучше и не хуже вон того спящего бедняги. — До сих пор я был просто мистификатор, ну а теперь ты меня знаешь, каков я на самом деле, вот и все!

— И тем не менее, это не изменяет моей любви к тебе, это не мешает мне любить тебя по-прежнему, — мягко сказал принц. Как видно, наши дурные поступки, наши ошибки и заблуждения не изменяют нас. Наполни свой стакан Готтхольд, и давай выпьем с тобой от всей души за все, что есть хорошего и доброго в этом злом и страшном мире! Выпьем за нашу старую дружбу и привязанность, а

затем, прости причиненные тебе ею столь незаслуженно обиды, и выпей за мной за мою бедную жену, за Серафину, к которой я так дурно относился, которая так дурно относилась ко мне и которую я оставил, как я теперь начинаю опасаться, в большой и серьезной опасности. Что из того, что мы все скверны, если несмотря на это, другие подобные нам еще могут любить нас, и мы сами тоже можем любить их, несмотря на все их недостатки, пороки и вины!

— Ах, да! — воскликнул доктор. — Это ты прекрасно сказал! Это лучший ответ пессимисту и это неизменное чудо в жизни человечества, которым оно живо по сие время. Итак, ты еще любишь меня, Отто, еще можешь простить свою жену? А если так, то мы можем заставить молчать нашу совесть, мы можем крикнуть ей: «Молчи, пес!», как бы мы крикнули дурно воспитанной Жучке, лающей на тень.

После этого они оба замолчали. Доктор некоторое время постукивал пальцами по своему пустому стакану, а принц откинулся в угол кареты и закрыл глаза, но не спал. Между тем экипаж выехал из долины на открытые вершины скалистого горного кряжа, служившего естественной границей Грюневальда. Отсюда открывался на все стороны обширный вид; вправо — на зеленые леса Грюневальда, а влево от дороги — на плодородную равнину Герольштейна. Далеко внизу белел серебристой струей водопад, как будто улыбающийся звездам, среди зеленой опушки леса спускавшегося по скату горы, а там внизу, еще ниже водопада, царила над равниной ночь. По другую сторону фонари кареты освещали крутой обрыв и низкорослые карликовые сосны, росшие на каменистой почве, на мгновение сверкали, залитые звездным светом, всеми своими иглами, и затем исчезали вместе с дорожной колеей. Колеса и копыта лошадей громко стучали теперь по гранитной дороге, которая поминутно круто извивалась, так что Отто по временам на поворотах мог видеть сопровождавший его экипаж эскорт, скакавший на той стороне ущелья в стройном порядке, как на плац-параде, под покровом темной ночи, над обрывами и ущельями, точно кавалькада ночных призраков. А вот и Фельзенбург показался вдаль, на высоком выступе скалы, и своей темной массой заслонял часть звездного неба.

— Посмотри, Готтхольд, — сказал Отто, — вот наше место назначения.

При этих словах принца Готтхольд пробудился как от транса, хотя он и не спал.

— Я все время думал, — сказал он. — Если ты полагал, что ей грозит опасность, почему ты не воспротивился? Мне сказали, что ты добровольно подчинился изгнанию; а разве тебе не следовало бы быть там, чтобы в случае надобности помочь ей?

Отто ничего не ответил, но краска сбежала с его лица, и он побледнел так сильно, что даже при свете фонаря это бросилось в глаза.

III. Спасительница фон Розен. Действие последнее, в котором она ускакала

Когда энергичная графиня вышла от принцессы Серафины, то можно было смело сказать, что она испытывала нечто похожее на действительный испуг. Она остановилась на минуту в коридоре и стала припоминать все свои слова и действия, думая при этом о Гондремарке. Она принялась энергично обмахиваться веером, но ее тревожное состояние не поддавалось благотворному влиянию ее кокетливого опахала.

— Эта девчонка потеряла голову, это несомненно! — думала фон Розен. — Я, пожалуй, зашла слишком далеко! — досадливо продолжала она, и тут же решила удалиться на время из города. Непрístupною крепостью госпожи фон Розен, ее Mons Sacer'ом, была небольшая лесная дача в прекрасной местности в некотором расстоянии от города, прозванная ею в минуту нахлынувшего на нее поэтического настроения «Чары Сосен», но для всех остальных носившая просто название «Клейнбрунна».

Туда-то помчалась теперь она в ожидавшем ее у подъезда дворца экипаже; помчалась с такой поспешностью, будто ее дача горела; на самом же деле горела почва у нее под ногами. При выезде из аллеи, ведущей от дворца в город, она столкнулась с экипажем Гондремарка, ехавшего во дворец, но сделала вид, что не видела его. Так как «Клейнбрунн» находился на расстоянии добрых семи миль от столицы, в глубине узкой лесной долинки, то графиня провела там спокойно ночь, в полном неведении всего того, что происходило в это время в Миттвальдене. До нее не дошли даже слухи о народном восстании и о пожаре дворца, потому что и самое зарево пожара было скрыто от нее заслоняющими вид на город горами. Однако несмотря на тишину и уединение ее загородной дачи, несмотря на все окружающие ее здесь удобства, госпожа фон Розен плохо спала эту ночь. Ее серьезно тревожили и беспокоили могущие быть последствия так превосходно проведенного ею вечера, доставившего ей столько разнообразных переживаний и столько торжества. Она уже видела себя обреченной на весьма продолжительное пребывание в ее уединенном «Клейнбрунне», в этой безлюдной пустыне, в этой лесной берлоге, и кроме того,

вынужденной на весьма длинную оборонительную переписку, прежде чем можно будет решиться снова показаться на глаза Гондремарку после всего того, что она в этот вечер натворила. Ради отвлечения от этих дум, она принялась рассматривать документы, относящиеся к покупке «Речной фермы» и отданные ей в качестве уплаты за долг. Но и тут она нашла причину для некоторого огорчения или разочарования: в такое тревожное время она, в сущности, вовсе не была расположена к приобретению земельной собственности, и кроме того она была почти уверена, что Отто, этот великодушный мечтатель, заплатил за эту ферму много дороже того, что она действительно стоит, — так что покупка эта была едва ли выгодной операцией. От этих рассуждений и мыслей, связанных с принцем, она естественно перешла на мысль о нем, и вспомнила об указе о его освобождении. При этом ей неудержимо захотелось воспользоваться им как можно скорее. Этот указ положительно жег ей пальцы.

Как бы то ни было, но на следующее утро элегантная и красивая наездница, в щегольском верховом костюме и живописном сомбреро (широкополой мягкой шляпе), на кровном скакуне подъехала к воротам Фельзенбурга. Не то чтобы у графини было какое-нибудь определенное намерение, нет, но она просто как всегда последовала, с одной стороны, влечению своего сердца, а с другой, своим экстраординарным взглядам на жизнь. Вызванный полковник Гордон поспешил выйти к воротам и с рыцарской любезностью приветствовал всемогущую графиню; она положительно была поражена и внутренне дивилась, каким старым казался днем этот галантный полковник; вчера вечером он представлялся ей много красивее и много моложе, но madame фон Розен, конечно, не показала вида, и не дала ему заметить своего разочарования.

— А, комендант! — воскликнула она с самой очаровательной улыбкой. — У меня есть весьма важные новости для вас!

И она многозначительно подмигнула ему.

— О, madame, оставьте мне только моих пленников, — сказал он. — И если бы вы пожелали присоединиться к нашему маленькому обществу, то, ей Богу, я ничего лучшего в жизни не желал бы?

— Ведь вы избаловали бы меня? Не правда ли? — спросила она.

— Во всяком случае, постарался бы, как только я могу! И он помог ей соскочить с седла и предложил ей руку.

Она приняла его руку, другой подобрала свою амазонку и плотно прижалась к нему, причем шепнула ему на ухо:

— Я приехала повидать принца. Ну, конечно, по делу, — добавила она лукаво, грозя пальчиком Гордону. У меня есть поручение от этого противного Гондремарка, который гоняет меня, положительно, как курьера. Ну, разве я похожа на курьера, скажите, господин Гордон! И она впилась в него своими большими задорно смеющимися глазами.

— Вы похожи на ангела, madame! — ответил комендант с особенно подчеркнутой любезностью.

Графиня весело рассмеялась.

— На ангела в амазонке! Да где вы это могли видеть, полковник! Право, я никогда еще не слыхала ничего подобного! И как скоро это все у вас рождается, положительно непостижимо!

— В этом нет ничего удивительного, — возразил он. — О вас можно с полным правом сказать: пришла, увидела и победила! — рассыпался в любезностях полковник Гордон, весьма довольный собой и своей находчивостью и остроумием. Мы пили за вас вчера в карете, madame, и могу сказать, распили не один стакан доброго вина за прекраснейшую из дам, и за прекраснейшие глаза в целом Грюневальде! Поистине, подобных глаз как ваши, я ни у кого не встречал, кроме одной, единственной девушки у меня на родине, когда я еще был юным студентом. Девушку эту звали Томаенна Хайг; эта была первейшая красавица во всем округе и даю вам слово, что она была так похожа на вас, как две капли воды.

— Так значит, вы весело провели время в дороге? — спросила госпожа фон Розен, грациозно и умело скрывая и маскируя зевоту.

— О, да! У нас был очень интересный разговор, могу сказать, даже задушевный, но мне думается, что мы все выпили, пожалуй, одним стаканчиком больше того, сколько обыкновенно привык выпивать его высочество, наш очаровательный принц, — шутливо заметил комендант Фельзенбурга, — а потому мне показалось, что сегодня его высочество принц был утром как будто не совсем в своей тарелке. Впрочем, я уверен, что он скоро совершенно оправится, и как говорится, «разгуляется»... Вот дверь его комнаты.

— Благодарю, — прошептала контесса. — Только дайте мне отдышаться, подождите немного отворять. Держите дверь наготове, и когда я сделаю вам знак, то распахните ее разом в тот же момент!

Поняли вы меня? — все тем же таинственным шепотом сказала она, и, приняв вдохновенную позу, она завела своим прекрасным звучным, превосходно обработанным голосом: «*Lascria chio pianda*», и когда она дошла до того места, где изливала в поэтических вздохах и жалобах свою тоску по свободе, то по ее знаку дверь распахнулась, и она предстала перед принцем сияющая, с блестящими и сверкающими как искры глазами, с несколько повышенным вследствие пения цветом лица, что так удивительно шло к ней, словом, во всеоружии своей красоты, — и бледному, печальному пленнику, изнывавшему в тоске, ее появление показалось лучезарным видением, ворвавшимся в его унылую тюрьму как яркий ослепительный и радостный луч солнца.

— *Madame*, — радостно воскликнул Отто, подбегая к ней. — Вы здесь? Какая радость!

Госпожа фон Розен многозначительно оглянулась на Гордона, стоявшего в дверях, и тот поспешил отретироваться и запереть за собой дверь. Едва только это было сделано, как графиня порывистым движением обняла принца и повисла у него на шее.

— Боже мой! Видеть вас здесь!.. — простонала она, прижимаясь к нему с доверчивой лаской.

Но Отто держался несколько деревянно, явно сдерживаясь в этот завидный для многих момент, и графиня тотчас же почувствовала это и, быстро овладев собой и подавив свой порыв непрощенной нежности, легко и свободно перешла на другой тон.

— Бедный, бедный мальчик, — заговорила она ласковым тоном любящей матери, обращаясь к своему баловню, — сядьте вот здесь, подле меня, и расскажите мне все, все... У меня сердце обливается кровью, когда я смотрю на вас, когда я вижу вас в этой ужасной обстановке. Ну, как же у вас здесь проходит время?

— Ах, *madame*, — сказал Отто, садясь подле нее и вернув себе свою обычную любезность и приветливость, — теперь время будет лететь для меня слишком быстро до вашего отъезда, но зато после оно потащится томительно, медленно и скучно. Однако я должен попросить вас сообщить мне последние придворные новости; я горько упрекал себя потом в моем вчерашнем поведении, в моей пассивной покорности... Вы разумно советовали мне воспротивиться этому указу, вы были правы — это был мой долг протестовать, и не идти, как овца на заклание! Вы, только вы одна дали мне добрый совет, а других

советников у меня не нашлось! Впоследствии я вспоминал, что вы настаивали на этом, и дивился в душе. Да, у вас благородное сердце, графиня... Теперь я это знаю!

— Отто, — остановила она его, — пощадите меня, я даже не знаю, хорошо ли я тогда поступила. Ведь у меня тоже есть свои обязанности, бедное дитя мое, об этом вы, по-видимому, совершенно забываете, — но когда я вижу вас, я тоже забываю о них и все мои благие намерения разлетаются как дым!

— А мои, как видно, всегда приходят слишком поздно, — сказал Отто, подавляя тяжелый вздох. — О, чего бы я теперь не дал чтобы вернуть назад свое решение, чего бы я не дал чтобы снова быть свободным!

— Ну, а что бы вы дали? — спросила фон Розен и при этом раскрыла большой пунцовый веер, из-за которого, как из-за крепостной стены, сверкали теперь одни ее глаза, с любопытством следившие за ним.

— Я? Вы спрашиваете меня? Что вы хотите этим сказать? О, madame, у вас есть какие-нибудь новости для меня! — вдруг крикнул он. — Да, да, я это чувствую, я это вижу!

— О-о! — протянула она недоверчиво.

Но он уж был у ее ног.

— Бога ради, не шутите, не играйте моими робкими надеждами! — молил он. — Скажите мне, дорогая madame фон Розен, скажите мне, прошу вас, все! Вы не можете быть жестоки, вы не умеете быть жестоки, это не в вашей натуре... Вы спрашиваете меня, что я могу вам дать? Я ничего решительно дать не могу; у меня нет ничего, вы это знаете! Я могу только просить Христа ради! Просить во имя милосердия!

— О, не делайте этого! Это нехорошо, — сказала она. — Не просите вовсе, ведь вы знаете мою слабость, Отто, пощадите меня! Будьте и вы великодушны!

— О, madame, — сказал он с горечью. — Великодушной можете быть вы, потому что вы можете чувствовать ко мне жалость, а я... Пожалейте меня! И он взял ее руку и крепко пожал ее и затем снова просил ее с лаской и с мольбой. Она с удовольствием выдержала довольно продолжительную бутафорскую осаду и, наконец, сдалась.

Она вскочила на ноги, порывисто расстегнута корсаж, вынула указ принцессы и бросила его на пол.

— Вот! — крикнула она. — Я силой вырвала его у нее! Я принудила ее дать его мне! Воспользуйтесь им и это будет моей погибелью! При этом она отвернулась как будто для того, чтобы скрыть свое душевное волнение.

Отто схватил указ и, пожирая его глазами, громко воскликнул:

— О, да благословит ее Бог! Да благословит ее Бог за это!

И он порывисто поднес указ к своим губам и умиленно целовал подпись жены.

Графиня фон Розен была в высшей степени добродушная и терпимая женщина, но этого даже и она не в состоянии была снести. Это оказывалось свыше ее сил.

— Неблагодарный! — крикнула она с глубоким возмущением. — Я положительно силой вырвала у нее этот указ! Я обманула ее доверие ко мне, я нарушила свое слово ради вас, и вот она, ваша благодарность!

— О, неужели вы осуждаете меня за это? — мягко и виновато спросил принц. — Ведь вы же знаете, как я ее люблю.

— Я это вижу! — довольно жестко и гневно отозвалась фон Розен. — Ну, а я? — спросила она.

— А вы, madame, — сказал Отто, подходя к ней и беря ее за руку, которую он медленно, почти благоговейно поднес к своим губам, — вы мой самый дорогой и самый великодушный друг! Вы были бы идеальнейшим другом, если бы вы не были так очаровательно прекрасны. Вы слишком умны, чтобы не сознавать своих чар, и по временам вы забавляетесь и играете со мной, рассчитывая на мою мужскую слабость; временами и я нахожу удовольствие в этой игре и часто рискую даже забыться, но только не сегодня! Сегодня я не могу!.. Я прошу вас, мой прекрасный, мой дорогой друг, будьте сегодня моим истинным, серьезным, мужественным и сильным, благородным и великодушным другом и помогите мне забыть и не видеть, что вы так прекрасны, а я так слаб! Позвольте мне сегодня всецело положиться на вас!

И Отто, улыбаясь, протянул ей руку и ждал. Она взяла ее и, дружески пожав, тряхнула по-мужски.

— Клянусь, вы околдовали меня, ваше высочество, — сказала она, — я не узнаю себя! Вы делаете меня другим человеком, другой женщиной, чем я есть! Кроме того, я должна отдать вам справедливость, вы превосходно вышли из очень затруднительного положения; не легко было найтись, что сказать в данный момент, а вы сказали прекрасно! Право, вы настолько же ловки и тактичны, дорогой принц, насколько я, по вашим словам, очаровательна и прекрасна!

И как бы в подтверждение своей последней фразы она подчеркнула свой комплимент низким придворным реверансом, сопровождая его очаровательной улыбкой.

— Вы едва ли строго придерживаетесь нашего уговора, *madame*, — сказал Отто с шутливым упреком, — когда прельщаете меня такой грацией и такой поистине чарующей улыбкой, — и он ответил на ее реверанс почтительным поклоном.

— Простите меня, принц: это была моя последняя стрела, — шутливо заявила графиня. — Теперь я совершенно безоружна. Но ведь все это холостые заряды, *top ringse*, вы это знаете точно так же, как я. А теперь я говорю вам совершенно серьезно, указ в ваших руках, и вы, если хотите, можете покинуть Фельзенбург хоть сейчас. Но помните, что это будет моей погибелью. Решайте!

— Я уже решил, *madame фон Розен*! — воскликнул принц. — Я еду! Этого требует от меня мой долг, тот долг, которым я по своему легкомыслию пренебрег, как всегда. Но вы не бойтесь, вы от этого нисколько не пострадаете, я предлагаю вам взять меня с собой, как медведя на цепи, и отвезти меня к барону Гондремарку как вашего пленника. Как видите, я неразборчив в средствах, и для того, чтобы спасти мою жену, я сделаю решительно все, чего он от меня потребует. Даю вам слово, что он будет удовлетворен превыше всякой меры, будь он прожорлив как левиафан и жаден как могила! Я удовлетворю его, чего бы мне это ни стоило! А вы, добрая фея нашей печальной пантомимы, вы пожнете лавры!

— Решено! — воскликнула графиня. — Превосходно придумано! Теперь вы уже не только «*Prince Charmant*», вы положительно принц— колдун, принц-чародей, и мудрый Соломон!.. Так идем сию же минуту! Впрочем, постойте, у меня есть к вам одна большая просьба — вы не можете, не должны отказать мне в ней: — позвольте мне, дорогой принц, вернуть вам ваши документы на ферму, они мне, право, ни к

чему! Ведь эта ферма полюбилась вам, а я ее никогда не видела даже. Это вы желаете облагодетельствовать старика крестьянина, которого я совсем не знаю, а кроме всего того, — добавила она слегка комическим тоном, — признаюсь вам, ваше высочество, я предпочла бы получить с вас чистоганом!

И оба они рассмеялись.

— Так, значит, я опять становлюсь фермером¹ — сказал принц, принимая из рук графини документы. — Но, увы, фермером, обремененным долгами превыше своей головы.

Графиня подошла к звонку и позвонила; в дверях почти тотчас же появился сам полковник Гордон.

— Господин комендант, — заявила madame фон Розен, — я собираюсь бежать с его высочеством принцем. — Результат нашего разговора привел нас к полнейшему соглашению обеих сторон, и наш «соур d'Etat» благополучно окончен. Вот вам указ принцессы!

Полковник Гордон укрепил у себя на носу пенсне и внимательно ознакомился с содержанием указа.

— Да, — сказал он, — это собственноручный указ принцессы, совершенно верно. Но указ об аресте, позволю вам заметить, был еще кроме того скреплен подписью господина премьер-министра.

— Ну, да, там действительно была подпись Генриха, но в данном случае вместо этой подписи являюсь я, его представительница, и я полагаю, что это равносильно!

— Итак, ваше высочество, я должен вас поздравить с тем, что я теряю! Вас освобождает и извлекает отсюда прелестнейшая женщина, меня же она оставляет здесь в горе и в полном одиночестве. Правда, мне остается в утешение доктор: probus, doctus, lepidus и jucundus книжный человек. Ему честь и слава!

— Как, — воскликнул принц с непритворным сокрушением, — разве в этом указе ничего не сказано о бедном Готтхольде?

— Но ведь доктор последнее утешение коменданта, — заметила madame фон Розен. — Неужели же вы хотите лишить полковника и этой последней утехи!

— Смею ли я надеяться ваше высочество, — обратился Гордон к Отто, — что за короткое время вашего пребывания под моею опекой, так сказать, вы нашли, что я исполнял возложенные на меня обязанности со всем подобающим вашему высочеству почтением и

уважением, и смею даже прибавить, с известным тактом? Я позволил себе вчера умышленно принять несколько веселый тон, потому что полагал, что в подобных случаях веселость, даже и напускная, и стакан доброго вина всегда являются наилучшими средствами для облегчения и смягчения всякой душевной горечи и обиды.

— Полковник, — сказал Отто — одного вашего приятного общества уже было достаточно, чтобы скрасить, насколько возможно, горькие минуты, и я не только благодарю вас за ваше милое и любезное отношение и приятную беседу, но и, кроме того, за кое-какие прекрасные философские поучения, которые мне были необходимы. Надеюсь, что я вижу вас не в последний раз, а в данный момент позвольте мне поднести вам на память о нашем более близком знакомстве и о тех странных обстоятельствах, при которых оно произошло, вот эти стихи, написанные мною здесь, в этих стенах, под впечатлением всего только что пережитого мною, и в том числе и нашей вчерашней беседы. В сущности я вовсе не поэт, и эти железные решетки в окнах весьма дурно вдохновляли меня, и стихи эти, вероятно, очень плохи, но они могут все же претендовать на значение своего рода курьеза.

Лицо полковника просияло в тот момент, когда он принял из рук принца исписанный им листок бумаги; поспешно насадив на нос свое пенсне, он тут же принялся читать эти стихи.

— Аа... Александрийский стих! Трагический размер, можно сказать! — воскликнул Гордон. — Поверьте, я буду хранить этот листок как святыню; и ничего более ценного и более подходящего к данному случаю, вы, ваше высочество, не могли подарить мне. «Dieux de l'immense plaine et des vartes forets» [note 1](#) — ну разве это не прекрасно! — воскликнул он: — «Et du geolier lui-meme apprendre des lecons»? [note 2](#) — ей Богу, очень хорошо!

— Ну, довольно, комендант! — крикнула графиня. — Вы успеете прочитать эти стихи, когда мы уедем, а теперь распорядитесь лучше, чтобы нам открыли ваши скрипучие ворота.

— Прошу извинить меня, — оправдывался полковник, — но для человека с моим характером и моими вкусами эти стихи, это милое упоминание так дороги, могу вас уверить... Позвольте предложить вам эскорт?

— Нет, нет, не беспокойтесь, эскорта нам на надо, мы отправимся инкогнито, как и прибыли сюда. Мы едем вместе верхами. Принц возьмет лошадь моего грума, — потому что другой здесь нет к его услугам. Все, чего мы желаем, господин полковник, это поспешность и секрет!..

И она с плохо скрываемым нетерпением пошла вперед. Но Отто желал еще проститься с Готтхольдом, и комендант считал своим долгом следовать за ним, держа в одной руке листок со стихами, в другой — свое пенсне. Он все повторял вслух один за другим всякому, кто ему попадался навстречу, отдельные стихи, которые ему удавалось разобрать на ходу. И по мере того, как труд его подвигался вперед, энтузиазм его возрастал, и, наконец, он воскликнул с видом человека, который наконец-то открыл великий секрет:

— Даю слово! Эти стихи напоминают мне Робби Бернса!

Но так как всему на свете когда-нибудь приходит конец, то и этому, столь досадному для графини промедлению, тоже пришел конец, и принц Отто шел подле *madame фон Розен* по горной дороге, довольно круто спускающейся вниз, а грум графини следовал за ним в некотором расстоянии, ведя в поводу обеих лошадей. Все кругом было залито ярким солнцем, птицы пели и щебетали, весело проносясь над ними, и легкий ветерок нес прохладу и аромат лесов, и всюду было столько воздуха и света, такой простор, такой обширный вид во все стороны, куда не погляди. Тут и дремучий лес, и голые скалистые утесы, с их острыми причудливыми башнями и минаретами, и шум горных потоков, стремящихся в долину, а там внизу, далеко, зеленая долина, сливающаяся на краю горизонта с лазурью неба.

Первое время они шли молча. Отто упивался сознанием свободы и красотами природы, к которым он всегда был очень чуток, и, вместе с тем, минутами он мысленно готовился к встрече и разговору с Гондремарком. Но когда они, наконец, обогнули первый крутой выступ горы, на которой стояла старая башня, и грозный Фельзенбург скрылся из глаз за этим выступом, госпожа фон Розен остановилась.

— Теперь, — сказала она, — я брошу здесь моего бедного Карла, а вы и я, мы сядем на коней и пришпорим их хорошенько! Я безумно люблю бешеную скачку, особенно с хорошим компаньоном!

Но в то время, как она говорила, из-за поворота дороги, под ними показался экипаж, медленно и с трудом поскрипывая на ходу,

взбирающийся в гору, а на некотором расстоянии впереди экипажа шел степенной неторопливой походкой пешеход с записной книжкой в одной руке и палкой в другой.

— Это сэра Джон, — сказал Отто и окликнул его.

Баронет поспешил спрятать в карман свою записную книжку, посмотрел вверх в свой бинокль, и, узнав принца, приветствовал его движением руки. После того он с своей стороны, а графиня и принц с их стороны, несколько ускорили шаги, и встретились у нового поворота дороги, в том месте, где небольшой ручеек, брызгая на скалу, обдавал, словно дождем, ближайшие кусты. Баронет раскланялся с принцем с преувеличенной почтительностью, графине же он поклонился как бы с насмешливым удивлением.

— Возможно ли, madame, что вы находитесь здесь, когда на свете творятся такие поразительные вещи! Неужели вы не знаете такой громадной новости?

— Какой новости?! — воскликнула графиня.

— Выдающейся, можно сказать, новости! — ответил баронет: — Революции в княжестве Грюневальде, провозглашения республики, сожжения дворца, сгоревшего до основания, бегства принцессы, и серьезные раны Гондремарка.

— Генрих ранен?! — вскрикнула госпожа фон Розен.

— Да, ранен и сильно страдает, — сказал сэра Джон. — Его стоны...

Но в этот момент у графини вырвалось такое звучное проклятие, что в другой момент и при иных условиях, услышав его, присутствующие наверное бы привскочили чуть не до потолка, и, не слушая далее баронета, она бегом кинулась к своей лошади, без помощи грума, не успевшего опомниться, вскарабкалась в седло с ловкостью кошки, и, не дав себе времени оправиться в седле, помчалась бешеным галопом под гору, мимо своих спутников, которым она крикнула:

— Я к нему!

После минутного недоумения и нерешимости грум последовал за своей госпожой, пытаясь нагнать ее; но госпожа фон Розен неслась вперед с такой безумной скоростью, что лошади, впряженные в экипаж сэра Джона, шарахнулись в сторону в тот момент, когда она проносилась мимо них с быстротой ветра, и чуть было не увлекли за собой экипаж под откос. Невзирая ни, на что, она неслась вперед; звук

копыт ее коня о каменистый грунт дороги гулко раздавался в воздухе и горное эхо вторило ему, а бедный грум напрасно полосовал хлыстом ребра своего коня, силясь догнать графиню; ее, казалось, подхватил ураган и уносил вперед неудержимо. За одним из поворотов дороги она чуть было не сшибла с ног женщину, медленно шедшую ей навстречу и с трудом взбирающуюся в гору. Невольно вскрикнув, она едва успела отскочить в сторону, чтобы не попасть под копыта пущенного во весь опор коня; но неустрашимая наездница даже не оглянулась на несчастную, ей было не до нее, она неслась вперед, словно за нею гнались фурии. Между скал и утесов, в гору и под гору, мчалась она, распустив поводья, самоуверенная и прекрасная, окрыленная одним желанием, одним страстным стремлением, скорее очутиться подле него, а злополучный грум выбивался из сил, чтобы следовать за нею.

— В высокой степени импульсивная женщина, — заметил сэр Джон, глядя ей в след. — Кто бы мог думать, что она его так любит... Ведь она головы своей для него не жалеет...

Но прежде чем сэр Джон успел договорить свою мысль, он принужден был отбиваться от принца, который в порыве нервного возбуждения теревил его, добиваясь ответа на невысказанные еще им вопросы, касающиеся его жены.

— Сэр Джон, что с нею? Где моя жена?.. Что случилось с принцессой?.. Ах, Боже мой! Боже мой!

— Успокойтесь, ваше высочество, принцесса здесь, на этой дороге, ведущей в Фельзенбург. Я оставил ее всего каких-нибудь двадцать минут тому назад, там внизу, при начале подъема, — отвечал, задыхаясь, англичанин, которому Отто не давал времени перевести дух. И едва только он успел выговорить эти слова, как очутился один, удивленный и недоумевающий. Принц несся со всех ног под гору, бегом, как маленький мальчик, несся почти с такой же бешеной быстротой, как madame фон Розен на своем коне.

Баронет постоял некоторое время, глядя ему в след, покачал головой и умиленно улыбнулся.

IV. В лесу

Между тем как принц продолжал бежать все так же быстро вперед, как в первый момент, его сердце, рвавшееся навстречу жене с неудержимой силой в первые минуты, теперь начинало мало-помалу как бы замедлять свое рвение; словно какое-то сомнение сдерживало и подкашивало его сердечный порыв. Не то, чтобы в нем утихла жалость к постигшему ее несчастью, или умерло страстное желание увидеть ее, нет! Но воскресшее в его памяти воспоминание о ее неумолимой, жестокой холодности по отношению к нему пробудило в нем его обычное недоверие к себе, эту присущую ему трогательную скромность, которая так часто мешала ему в жизни, и которая истекала у него от врожденного ему чувства крайней деликатности. Если бы он дал сэру Джону время рассказать ему все, если бы он знал хотя бы только то, что Серафина спешила в Фельзенбург, к нему, он, вероятно, кинулся бы к ней с распростертыми объятиями; но теперь ему опять уже стало казаться, что он проявляет по отношению к жене непозволительную навязчивость, что он как будто неделикатно пользуется ее несчастьем, и в момент ее падения навязывает ей свою любовь и ласку, которыми она пренебрегала в то время, когда была на вершине благополучия. И при мысли об этом болезненная рана, нанесенная его самолюбью, начинала гореть и причиняла ему жестокие страдания. И снова в нем начинал разгораться гнев, находивший выражение в побуждениях враждебного великодушия. Он, конечно, простит ей все, он даже поможет ей, чем только в силах, спасет и укроет ее от врагов, постарается утешить эту нелюбящую его женщину, как бы постарался утешить и успокоить и всякую другую женщину в таком положении, но сделает все это с полной сдержанностью, со строгим самоотречением, заставив замолчать свое сердце, щадя и уважая в ней, в Серафине, ее отсутствие любви к нему, как он пощадил бы невинность ребенка.

И вот, когда Отто наконец обогнул один из выступов дороги и увидел в некотором расстоянии от себя Серафину, то первой его мыслью было уверить ее в чистоте своих намерений. Он тотчас же замедлил свои шаги, а затем остановился и ждал ее. Она же, радостно вскрикнув, побежала к нему, но, увидев, что он остановился, тоже

остановилась в свою очередь, смущенная своими угрызениями, и затем медленно и с виноватым видом стала приближаться к тому месту, где он стоял.

— Отто, — сказала она, — я погубила вас!

— Серафина! — чуть не с рыданием вырвалось у него; но при этом он не тронулся с места, отчасти потому, что его удерживало принятое им решение, отчасти же потому, что он был поражен ее измученным, растерзанным видом, поражен до того, что утратил на мгновение всякую способность соображать. Если бы она продолжала стоять молча перед ним, вероятно, что минуту спустя они были бы в объятиях друг друга, но она тоже заблаговременно подготовилась к этой встрече, и потому должна была отравить эти первые, золотые минуты свидания горькими словами признания и раскаяния.

— Я все погубила, все! — продолжала она. — Но, Отто, будь снисходителен и выслушай меня! Я не оправдываться хочу, я хочу сознаться перед тобой в моей вине и в моих заблуждениях! Жизнь дала мне такой жестокий урок; у меня теперь было достаточно времени, чтобы одуматься, чтобы отдать себе отчет во всем, и теперь я все вижу в другом свете. Я была слепа, слепа как крот! Свое настоящее, истинное счастье я упустила; я безрассудно отбросила его от себя и жила одними призраками: но когда мои мечты рушились, я пожертвовала тобой, предала тебя ради этих призраков. Когда я думала, что убила человека... — Тут она перевела дух и затем добавила: — Ведь я думала, Отто, что я убила Гондремарка, — и она густо покраснела при этом, — тогда я поняла, что я осталась одна, как ты предсказывал, и тогда я почувствовала всю горечь этого одиночества.

Упоминание имени Гондремарка пробудило великодушие принца, и он выступил защитником жены, против нее самой.

— И всему этому виной я! — воскликнул он. — Мой долг был оставаться подле тебя, вопреки всему; любимый или нелюбимый, я все же оставался твоим мужем, твоим естественным охранителем и защитником. Но я был трус, прятаясь от неприятностей, обид и оскорблений своих чувств и самолюбия; я предпочел удалиться, вместо того, чтобы противиться; мне, казалось, легче поддаться, чем сопротивляться! Я не умел, я не мог завоевывать любовь, как это делают другие, я ждал и желал, чтобы мне ее подарили, как дарят

гостинцы или цветы, но я любил! Всею душой любил! А теперь, когда это наше игрушечное государство, когда наше княжество пало, главным образом, по причине моей неспособности и неумения княжить, а затем по твоей неопытности в делах управления государством, теперь, когда мы оба встретились здесь на большой дороге, оба бездомные и нищие, уже не владетельный принц и не владетельная принцесса, а просто мужчина и женщина, просто муж и жена, умоляю тебя, забудь мою слабохарактерность, и положишься на мою любовь! Доверься моей любви!.. Но, Бога ради, не истолковывай ложно мои слова! — вдруг воскликнул он, видя, что Серафина раскрыла рот, желая что-то сказать или возразить, и при этом он движением руки поспешил остановить ее. — Не думай, — продолжал он, — что я навязываю тебе мою любовь! О, нет, моя любовь к тебе уже не та, что была прежде, она совершенно переродилась. Она чиста и свободна от всяких супружеских притязаний; она ничего больше не требует, ни на что не надеется, ничего не желает взамен; ты смело можешь теперь забыть о той роли, в которой я казался тебе столь неприятным, и принять без колебаний и недоверия ту чисто братскую привязанность, которую я предлагаю тебе.

— Ты слишком великодушен, Отто! — сказала молодая женщина. — Я знаю, что я потеряла право на твою любовь, и принять от тебя такую жертву я не могу. Лучше оставь меня. Иди своей дорогой и предоставь меня моей судьбе!..

— О, нет! — воскликнул Отто. — Прежде всего нам следует покинуть это сорочье гнездо, в которое я тебя привез! К этому меня обязывает моя честь. Я только что сказал, что мы теперь бедны и бездомны, но нет! Невдалеке отсюда у меня есть собственная моя ферма, и туда я отведу тебя; там ты будешь в полной безопасности. Теперь, когда не стало принца Отто, быть может, охотнику Отто выпадет на долю больше счастья! Скажи мне, Серафина, что ты меня прощаешь, и в доказательство, давай займемся вместе тем, что для обоих нас в данный момент всего важнее, т. е. планом нашего бегства из этой страны. И если уж нам надо бежать, то постараемся, по крайней мере, бежать с легким сердцем и с надеждой на лучшее будущее. Ты не раз говорила, что, кроме как муж и как государь, я являлся в твоих глазах довольно приятным человеком; если так, то теперь, когда я ни то и ни другое, может быть, мое общество не

покажется тебе неприятным. Во всяком случае бежим скорее отсюда. Ведь не желательно и досадно было бы теперь быть схваченными и арестованными по приказанию нового правительства Грюневальда. Но, быть может, ты не в состоянии идти дальше?.. Нет, ты чувствуешь себя в силах? В таком случае, вперед!

И Отто бодро зашагал по дороге, указывая путь жене, потому что ему здесь все дороги и даже все тропинки были давно знакомы.

Немного ниже под гору от того места, где они встретились, им пересекал путь довольно большой горный поток; красивой дугой падал он с уступа на уступ и затем, прорвавшись между двух темных диких скал, стремился дальше вниз, пенясь и шумя, покуда, наконец, не разливался широким озером в зеленых, мшистых и мягких, как губка, берегах. Из этого красивого озерка поток вытекал уже спокойным серебристым ручьем, бегущим весело по живописному месту среди леса, где он опрокинул на своем пути немало мощных темных сосен для того, чтобы проложить себе дорогу, но зато он же развел по своим берегам целые цветники душистых лесных ландышей и подснежников и целые заросли верб и серебристых ив, а кое-где взлелеял и вырастил небольшие группы стройных и нарядных красавиц, наших любимиц, березок. Велики были усилия горного ручья, пока ему не удалось пробить себе путь между диких скал и утесов, но не менее велики и отрадны были и достигнутые им результаты его усилий. На всем пути ему неотступно сопутствовал верный товарищ и спутник, узенькая тропа, проложенная смелыми людьми, по самому его берегу, тропа, по которой теперь спускались наши беглецы. Впереди шел Отто, останавливаясь заботливо на всех затруднительных местах дороги, чтобы помочь своей молодой спутнице, непривычной к таким рискованным и примитивным путям сообщения.

Серафина шла за ним молча, но всякий раз, когда он останавливался и оборачивался назад, чтобы поддержать ее или помочь ей, лицо ее озарялось радостной улыбкой, а глаза, казалось, молили его почти безнадежно о любви, о ласке. Он видел это выражение в ее глазах, но боялся, не смел поверить ему. — «Нет, — говорил он себе, — она не любит меня. Это в ней говорит теперь раскаяние, а может быть, и чувство благодарности; я был бы недостойн имени джентльмена, и даже мужчины, если бы вздумал воспользоваться этой жалкой, невольной податливостью с ее стороны,

податливостью, вызванной столь неблагоприятными, столь тяжелыми для нее условиями только что пережитых ею минут и событий». — И Отто всеми силами старался подавить в своей душе пробуждавшееся чувство нежности к жене.

Немного дальше бежавший теперь по узкой долинке горный ручей принимал на своем пути многочисленные ручейки, несшие ему свои воды, и вздувался до весьма внушительных размеров настоящей речки; здесь он был задержан незатейливой плотиной, и одна треть его воды была отведена с помощью довольно примитивного деревянного желоба в сторону. Весело журча, бежала чистая светлая вода ручья по этому деревянному желобу, дно и края которого она покрыла изумрудно-зелеными водорослями и травами. Тропинка, по которой следовали наши развенчанные принцы, шла параллельно этому водопроводу, пролегая через густую чащу цветущего шиповника и боярышника. Вдруг невдалеке, в нескольких саженях впереди них, появилась коричневая крыша или верхушка мельницы, а вскоре показалось и ее громадное колесо, метавшее во все стороны алмазные брызги, заслоняя собой всю ширину узкой долинки. Одновременно с этим равномерный шум лесопильни нарушил царившую до сих пор кругом тишину.

Мельник, услышав приближающиеся шаги, или, быть может, заметив из своего окна еще издали путников, вышел на порог своего жилища, чтобы посмотреть на прохожих, и вдруг и он и принц одновременно остановились удивленные друг перед другом.

— С добрым утром, мельник! — сказал весело и приветливо Отто. — Ведь вы были правы тогда, мой друг, а я был, как видно, неправ! Вот теперь я первый принес вам эту весть. Сообщаю вам эту приятную для вас новость, и приглашаю вас отправиться немедленно в Миттвальден. Мой престол пал, и его падение было великим торжеством для ваших друзей. Теперь ваши союзники и приятели, члены знаменитого «Феникса» стоят во главе правления и верховодят всем. Дай Бог, чтобы вам всем теперь жилось лучше!

Слушая принца, краснокожий мельник представлял собою воплощенное удивление; казалось, он не верил ни своим ушам, ни своим глазам.

— А ваше высочество? — задыхаясь спросил он.

— А мое высочество, — шутливо ответил Отто, — как видите, бежит без оглядки за пределы этой страны, бежит куда глаза глядят!

— Как! Вы покидаете Грюневальд?! — воскликнул мельник. — Вы покидаете навсегда наследие ваших предков, престол вашего отца! Нет, этого допустить нельзя! Никак нельзя!

— Нельзя? Что же, значит, вы арестуете нас? — улыбаясь спросил принц.

— Арестую! Я вас?! — воскликнул крестьянин. — За кого вы меня принимаете, ваше высочество! Да что я, я готов хоть сейчас головой поручиться, что в целом Грюневальде не найдется ни одного человека, который бы решился поднять руку на ваше высочество.

— Не ручайтесь, — сказал принц с легким оттенком грусти в голосе, — найдутся, и даже очень многие! Но от вас я этого не опасаясь, и теперь, в момент моего падения, я безбоязненно иду к вам, хотя во время моей власти вы были смелы и даже дерзки со мной. Я считаю вас прямым, честным и справедливым человеком, а ведь теперь ни я, ни жена моя, мы уже больше не мешаем вашему благополучию и благополучию этой страны, и потому вам нет никакого основания желать причинить нам зло, от которого вам не будет никакой пользы.

При этих словах принца лицо мельника из клюквенно-красного, приняло свекольно-красный оттенок.

— Вы вполне можете положиться на меня, ваше высочество. Всем, чем я могу, я рад служить вам, — сказал он. — А пока, прошу вас и вашу супругу войти в мой дом и отдохнуть.

— У нас нет времени на это, — возразил принц; — но если вы принесете нам сюда по стаканчику вина, то доставите нам большое удовольствие и вместе с тем окажете нам хорошую услугу.

Мельник при этом опять густо побагровел, но поспешил исполнить желание своих посетителей. Спустя минуту он вернулся с большим жбаном своего лучшего вина и тремя хрустальными стаканами, сверкавшими на солнце. Наливая вино в стаканы, он сказал:

— Ваше высочество не должны думать, что я закоренелый пьяница. В тот раз, когда я имел несчастье встретиться с вами, я, действительно, был несколько под хмельком; вышел такой случай, и я выпил лишнее, признаюсь. Но в обычной моей жизни, я могу вас уверить, вы едва ли найдете более трезвого человека и более воздержанного во всех отношениях, чем я, и даже вот этот стакан

доброе вино, который я теперь хочу выпить за вас (и за вашу даму), является для меня совершенно необычайным угощением.

После этого вино было распито с обычными простонародными любезностями и пожеланиями как в самой дружеской компании, а затем, отказавшись от всякого дальнейшего угощения и гостеприимства, Отто и Серафима пошли дальше, продолжая спускаться вниз по долинке, которая теперь начинала постепенно расширяться и уступать место красивым, высоким деревьям, вместо кустов шиповника, боярышника и жимолости.

— Я должен был доставить этому мельнику случай примириться со мной; я был неправ по отношению к нему. Когда судьба столкнула нас однажды на пути в столицу, я обидел его своею резкостью и хотел теперь загладить эту обиду. Может быть, я в данном случае сужу по себе, но я начинаю думать, что никто не становится лучше от пережитого унижения.

— Да, но многих следует этому научить, — заметила Серафина, — потому что они, раньше никогда об этом не думали.

— Оставим это, — сказал Отто с болезненным смущением, — и позаботимся лучше о нашей безопасности. Мой мельник очень мил, и, может быть, даже искренен, но все же я бы не положился слепо на него. Лучше не доводить его до греха! Если мы пойдем вниз вдоль этого потока, то этот путь приведет нас лишь после бесчисленных излучин и поворотов к моему домику, тогда как здесь, вверх по этой просеке, пролегает тропинка, идущая наперерез большой дороге прямо к моей ферме; тропа эта идет все время глухим лесом; даже олень, и тот редко заглядывает сюда, пробираясь чащей. Можно подумать, что тут конец света!.. Ты не слишком устала, чтобы пробираться этой тропой? Чувствуешь ли ты себя в силах совершить подобный переход?

— Веди меня, куда ты знаешь, Отто, я последую за тобой всюду, — сказала Серафина.

— Нет, зачем, — возразил он, — я ведь предупреждаю тебя, что эта тропа очень затруднительна, она пролегает целиной, через самую чащу леса, ложбиной, заросшей терном и орешником; по ней трудно идти, но зато ближе почти на половину.

— Веди, — сказала Серафина, — ведь на то ты охотник, Отто! Я не отстану от тебя.

И они пошли дальше. Пробравшись сквозь густую завесу кустов и мелколесья, они вышли на небольшую открытую полянку среди леса, зеленую и смеющуюся, окруженную со всех сторон высокой стеной деревьев. На опушке Отто невольно остановился, очарованный этим прелестным лесным пейзажем; в следующий момент он перевел взгляд на Серафину, которая стояла на фоне этой лесной картины, словно в раме из зелени самых разнообразных тонов, и смотрела на него, на своего мужа, с необычайным, загадочным выражением во взгляде. В этот момент Отто вдруг ощутил какую-то беспричинную слабость, физическую и душевную; его как будто клонило ко сну; все струны его напряженных нервов и мускулов как-то разом ослабли, и он не в состоянии был вести глаз от жены.

— Отдохнем здесь, — сказал он слабым голосом и, усадив ее на траву, сам сел подле нее.

Она сидела неподвижно, опустив глаза и перебирая пальцами мягкую зеленую травку подле себя, точно молоденькая крестьяночка, ожидающая признания своего возлюбленного. Между тем ветер, проносясь над верхушками деревьев, налетал, шелестя листвой и ветвями в лесу, и затем замирал, точно вздох, но затем снова как будто пробегал по кустам близко-близко над Отто и Серафиной и замолкал где-то вдали тихим шепотом. Где-то близко в зеленой чаще ветвей маленькая птичка издавала боязливые отрывистые звуки. И все это казалось какой-то таинственной прелюдией к человеческому любовному шепоту. По крайней мере Отто казалось, что вся природа кругом ждет, чтобы он заговорил; но, несмотря на это чувство, гордость долго заставляла его молчать. И чем дольше он смотрел на тоненькую, бледную ручку, перебиравшую пальчиками зеленую траву, тем труднее, тем тяжелее становилось ему бороться во имя своей гордости против другого, более мягкого, более нежного, но отнюдь не менее властного чувства.

— Серафина, — сказал он наконец не громко, а как-то робко, — мне думается, что я должен сказать тебе это для того, чтобы ты знала... Я никогда...

Он хотел сказать, что он никогда не сомневался в ней, но в этот самый момент в его душе родился вопрос: «Так ли это в самом деле? А если так, то хорошо ли, великодушно ли было с его стороны говорить теперь об этом». И, не договорив своей фразы, он замолчал.

— Прошу тебя, скажи мне то, что ты хотел сказать, — взмолилась она, — скажи, если ты хоть немного жалеешь меня, скажи!

— Я хотел только сказать тебе, — начал он, — что я все понял, и что я тебя не осуждаю... Я понял теперь, какими глазами должна была смотреть сильная, смелая женщина на слабовольного, бездеятельного мужчину. Я думаю, что в некоторых вещах ты была не совсем права, но я старался растолковать себе и это, и мне кажется, что теперь я все понял... Я не имею надобности ни забывать, ни прощать, потому что я понял! Этого вполне достаточно.

— Я слишком хорошо знаю, что я сделала, — ответила она; — я не так малодушна, чтобы позволить ввести себя в обман хорошими, ласковыми словами. Я знаю, чем я была, я теперь все это прекрасно вижу! Я не заслуживаю даже твоего гнева; я не стою его, а еще менее заслуживаю я прощения. Но во всем этом падении и несчастье я, в сущности, вижу только тебя и себя; тебя таким, каким ты всегда был, а себя такую, как я была раньше, до этого момента, до того момента, когда у меня вдруг раскрылись глаза. Да, я вижу себя и ужасаюсь, и не знаю, что мне думать о себе!

— О, если так, то поменяемся ролями! — сказал Отто. — Вчера ночью один приятель сказал мне одно очень хорошее слово; он сказал, что это мы сами себя не можем простить, если не можем простить другому, своему ближнему, который в чем-либо виновен перед нами! И ты видишь, Серафина, как охотно и как легко я простил себя. Неужели же я не буду прощен? — И он ласково улыбался, глядя ей в глаза. — Итак, прости себе и мне!

Она не могла ничего ответить на это; у нее не было слов. Ее душа была потрясена и растрогана; и вместо ответа она порывисто протянула ему руку. Он взял эту ручку, и в тот момент, когда ее нежные пальчики очутились в его руке, горячее, живое чувство нежности и любви, словно электрический ток, пробежало по их сердцам, охватило все их существо и слило их души, их чувства и желания воедино.

— Серафина, — воскликнул он, — забудем прошлое! Позволь мне служить тебе и охранять тебя, позволь мне быть твоим рабом и твоим защитником, позволь мне постоянно быть подле тебя, дорогая, и этого с меня будет довольно! Не гони меня от себя! — Все это он говорил поспешно, торопясь скорее все высказать, как это делает испуганный

ребенок. — Я не прошу у тебя любви, — продолжал он, — нет, и одной моей любви довольно!

— Отто! — воскликнула Серафина, не будучи долее в состоянии сдержать свое чувство, и в одном этом болезненном, полном нежного упрека возгласе вылилось у нее целое признание.

Он невольно взглянул на нее, и на ее лице он прочел такой живой непритворный экстаз нежности и муки и в каждой черте, особенно в ее потемневших, совершенно изменившихся глазах такое выражение ярко вспыхнувшей любви, что вся она, казалось, совершенно преображенной.

— Серафина?! — вырвалось у него как бы вопросом. — Серафина? — повторил он затем почти беззвучно, потому что у него вдруг разом упал голос.

— Посмотри вокруг, — сказала она. — Видишь ты эту лесную полянку, видишь эти молодые листочки на деревьях, эти светло-зеленые побеги, эти цветы на лугу! Вот где мы встретились с тобой впервые! Так сладко забыть все, и возродиться для новой жизни! О, какой бездонный колодец уготован для всех наших прегрешений! Это Божеское милосердие и человеческое забвение!

— Да, пусть все, что было, будет предано нами забвению и Божескому милосердию к нам, грешным! Пусть все, что было, будет обманом чувств, кошмаром, мимолетным сном! Позволь мне все начать сначала, как если бы я был тебе чужой. Мне снился сон, долгий, продолжительный сон. Я обожал, я боготворил прекрасную, но жестокую женщину, женщину, стоящую во всех отношениях выше меня, но холодную как лед. И снова мне снилась она, но мне казалось, будто она таяла и разгоралась, и обращала лицо свое ко мне, ласковое и лучезарное. И я, за которым не было никаких иных достоинств, кроме способности свято любить, любить раболепно и молитвенно, я лежал подле нее близко, близко и боялся шевельнуться из опасения пробудиться от этого сна...

— Лежи близко, близко... Этот сон не разгонит и пробуждение! — сказала она глубоко дрогнувшим голосом.

И в то время, как Отто и Серафина так изливали в словах свою душу друг перед другом, в это самое время в Миттвальдене, в здании городской ратуши, была провозглашена республика.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИПISКА В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ РАССКАЗУ

Конечно, читатели хорошо знакомы с новейшей историей и не станут спрашивать меня о дальнейшей судьбе этой республики. Самые подробные и вернейшие сведения можно найти, без сомнения, в мемуарах г. Грейзенгезанга или нашего мимолетного знакомого, лиценциата Редерера. Однако следует заметить, что Редерер с излишней авторской вольностью делает из господина Грейзенгезанга настоящего героя этих событий, выставляя его в качестве центральной фигуры и рисуя его настоящим громовержцем, что, как известно нашим читателям весьма далеко от истины. Но, снисходя к этой авторской слабости, можно сказать, что в остальном его книга представляется весьма полной и заслуживающей внимания.

С сильными, яркими и хлесткими страницами книги сэра Джона читатель уже, вероятно, успел познакомиться (два тома, лондонское издание, — Лонгмана, Херста, Риса, Орма и Брауна). Хотя сэр Джон в оркестре, разыгравшем эту историческую симфонию, исполнял партию, написанную для губной гребенки, но в своей книге он как будто играет на фаготе. В его книге ярко вылился весь его характер и все особенности его нрава. Симпатии и благорасположение сильных мира сего обеспечили ей успех и среди публики. Впрочем, книга эта несомненно не лишена интереса. Тут необходимо, однако, одно маленькое разъяснение. Читатель, вероятно, помнит, что глава, в которой сэр Джон пишет о Грюневальдском дворе, была уничтожена автором собственноручно, в присутствии принца Отто, в его дворцовом саду. Каким же образом могло случиться, что эта самая глава, чуть не полностью от начала до конца, фигурирует на страницах моего скромного рассказа или романа?

Объясняется это очень просто. Дело в том, что этот во всех отношениях очень почтенный литератор был человек предусмотрительный и чрезвычайно методичный; «Ювенал по двойной бухгалтерии», как его в насмешку назвал какой-то злой шутник; и он мне говорил впоследствии, что когда он уничтожил в саду эту часть своей рукописи, то он сделал это скорее из потребности проявить каким-нибудь эффектным драматическим жестом

искренность своих намерений, чем с намерением уничтожить в действительности эти страницы. В то время кроме арестованной рукописи у него было две черновых тетради его путевых заметок и еще один набело переписанный экземпляр. Тем не менее он сдержал свое обещание и честно выполнил добровольно принятое им на себя обязательство и не включил главы о Грюневальдском дворе в свою книгу «Мемуаров» о различных дворах европейских государей. Но он предоставил ее в мое распоряжение и дал мне разрешение ознакомить публику с ее содержанием.

Дальнейшие библиографические справки позволяют нам заглянуть еще дальше в жизнь тех лиц, чья судьба интересует нас. Сейчас у меня под рукой, на моем письменном столе лежит небольшой томик: сборник стихотворений, без обозначения имени издателя или издательской фирмы, с припиской на передней странице: «Не для широкой публики, а для интимного кружка друзей». Называется эта книга так: «Poesies par Frederie et Amelie» (Стихотворения Фридриха и Амалии»). Мой экземпляр приобретен мною от мистера Бэна на Хаймаркете. Это дарственный экземпляр с собственноручной подписью автора, сделанной рукой самого принца Отто. На первой белой страничке книги значится имя первого владельца этого томика, и следующий скромный эпитафия, который также может быть с большой вероятностью приписан автору: «Le rime n'est pas riche». [note 3](#)

Что касается меня, то я должен сказать, что стихи этого сборника как-то уж чересчур проникнуты личными чувствами автора, и мне они показались весьма скучными и до крайности однообразными. Те же из них, о которых, как я полагал, можно было предположить, что они принадлежали перу принцессы, были особенно скучны и добросовестны, и совершенно лишены всякого вдохновения и увлечения. Это, однако, не помешало маленькой книжонке иметь большой успех в том кругу читателей, для которых она предназначалась. Впоследствии я случайно попал на след даже вторичной такой попытки, т. е. еще другого нового издания творений тех же авторов; приобрести этот второй том их произведений я не имел возможности. Впрочем, едва ли это могло сказать нам что-нибудь новое о Фридрихе и Амалии, и потому мы здесь простимся с Отто и Серафиной или Фридрихом и Амалией, стареющими вместе под мирным кровом дворца родителей Серафины, при дворе которых они

поселились после пережитой ими катастрофы, и где они проводят время, нанизывая французские рифмы и корректируя взаимно свои творения.

Продолжая просматривать списки появившихся за последнее время книг, я вижу, что некий мистер Свинберн посвятил свои лирические песнопения и звонкие сонеты памяти Гондремарка. Это имя встречается по меньшей мере два раза в патриотических фанфарах Виктора Гюго, в числе упоминаемых великих патриотов; а в последнее время, когда я уже считал свой труд совершенно законченным, я случайно попал на след этого великого политика и его прекрасной графини. В интересном труде, озаглавленном «Дневник Джона Хогга Коттерилля, эсквайра», я прочел, что мистер Коттерилль, будучи в Неаполе, 27 мая, был представлен барону и баронессе фон Гондремарк; барон — человек, наделавший когда-то в свое время много шума в Европе, а баронесса все еще прекрасная и очаровательная женщина с несомненными следами былой редкой красоты; оба прекрасные, остроумные собеседники. Она очень любезно превозносила мое знание французского языка, уверяла, что никогда бы не подумала, что я англичанин; сказала, что знавала моего дядю сэра Джона при одном из германских дворов, где он был проездом, и признала во мне общую фамильную черту с ним: многие манеры и изысканную учтивость. В заключение она пригласила меня посетить их. Далее (30 мая) читаю:

«Посетил баронессу фон Гондремарк; была очень довольна, и я также. Это несомненно в высшей степени умная, утонченная и многосторонняя женщина, женщина старого закала, тип, ныне, увы! совершенно исчезающий. Она прочла мои „Заметки о Сицилии“, говорит, что они ей очень напомнили моего дядю, но что они написаны в более мягких тонах, менее резко и желчно. Я высказал опасение, что, вероятно, они кажутся ей также и менее яркими и выпуклыми, но она поспешила меня успокоить: — „О, нет, только способ изложения и изображения более мягкий, более литературный, если хотите, но та же острота наблюдательности, то же умение отличить существенное от несущественного, та же сила и яркость мысли“. Я был весьма польщен и, признаюсь, почувствовал большое уважение к этой прекрасной патрицианке. Очевидно, знакомство это продолжалось довольно долго, и когда мистер Коттерилль должен был уехать из Неаполя в свите

лорда Протоколь на флагманском судне адмирала Ярдарм, как он о том подробно сообщает в своем дневнике, то главной причиной его сожаления о необходимости покинуть этот город была необходимость расстаться „с этой в высшей степени умной и симпатичной дамой, которая уже стала смотреть на меня как на младшего брата“.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Note1

Бога огромной равнины и просторных лесов.

Note2

И от самого тюремщика получать уроки.

Note3

Рифмы не богаты.